

The book cover features a close-up of a woman's face with red lips on the left side. The background is a warm, golden-brown color. A large, white, multi-petaled flower is in the foreground, partially obscuring the text. The title is written in blue, and the subtitle is in red. The genre is in black, and the age rating is in a gold circle.

ИСАБЕЛЬ
АЛБЕНДЕ

ЯПОНСКИЙ
ЛЮБОВНИК

РОМАН

18+

Annotation

В «Японском любовнике» чувствуется то же самое мощное дыхание, что и в предыдущих книгах Исабель Альенде, разлетевшихся по миру миллионами экземпляров... С удовольствием рекомендуем к прочтению!

The Washington Post

В своем новом долгожданном романе «Японский любовник» Исабель Альенде раскручивает удивительную сагу, где звучат мотивы судьбы, военных невзгод и любви, способной выдержать испытание временем. В канун Второй мировой войны маленькую Альму отправляют из Польши к родственникам в Сан-Франциско. Там она влюбляется в мальчика-японца, сына садовника. Но после бомбардировки Пёрл-Харбора семью садовника, как и многих японцев, осевших в США, высылают в лагерь для интернированных. Дети обречены на разлуку. И долгие годы им приходится скрывать свою любовь от мира. Уже в наши дни об этой истории узнают внук Альмы и ее помощница Ирина. В цепочке загадочных событий, «что движутся любовью», возникают все новые повороты.

-
- -
 - [ЛАРК-ХАУС](#)
 - [ФРАНЦУЗ](#)
 - [АЛЬМА БЕЛАСКО](#)
 - [НЕВИДИМЫЙ ЧЕЛОВЕК](#)
 - [ПОЛЬСКАЯ ДЕВОЧКА](#)
 - [АЛЬМА, НАТАНИЭЛЬ И ИЧИМЕИ](#)
 - [ИРИНА БАСИЛИ](#)
 - [СЕТ БЕЛАСКО](#)
 - [СЕМЬЯ ФУКУДА](#)
 - [ЖЕЛТАЯ УГРОЗА](#)
 - [ИРИНА, АЛЬМА И ЛЕННИ](#)
 - [УЗНИКИ](#)

- [АРИЗОНА](#)
- [БОСТОН](#)
- [ВОСКРЕСЕНИЕ](#)
- [МЕЧ СЕМЬИ ФУКУДА](#)
- [ЛЮБОВЬ](#)
- [СЛЕДЫ ПРОШЛОГО](#)
- [СВЕТ И ТЕНЬ](#)
- [АГЕНТ УИЛКИНС](#)
- [ТАЙНЫ](#)
- [ИСПОВЕДЬ](#)
- [ТИХУАНА](#)
- [ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ](#)
- [ОСЕНЬ](#)
- [ГАРДЕНИИ](#)
- [НЕРОДИВШИЙСЯ РЕБЕНОК](#)
- [ПАТРИАРХ](#)
- [САМУЭЛЬ МЕНДЕЛЬ](#)
- [НАТАНИЭЛЬ](#)
- [ЯПОНСКИЙ ЛЮБОВНИК](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)

- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)

ИСАБЕЛЬ АЛЬЕНДЕ

ЯПОНСКИЙ ЛЮБОВНИК

РОМАН

Издательство «Иностранка» МОСКВА

*Моим родителям, Панчите и Рамону,
мудрым старикам*

Виденье робкое любви, стой!
Стой, призрак ускользящего рая,
из-за кого, от счастья умирая,
я в горести путь продолжаю свой^[1].

Сестра Хуана Инес де ла Крус

ЛАРК-ХАУС

Ирина Басили попала в Ларк-Хаус, неподалеку от Беркли, в 2010 году. Ей исполнилось двадцать три года, и у нее почти не осталось иллюзий: девушка перескакивала с работы на работу, из города в город с пятнадцати лет. Она не могла представить, что замечательно устроится в этом пансионе для людей преклонного возраста и что следующие три года проживет так же счастливо, как в детстве, еще до того, как жизнь ее пошла наперекосяк. Ларк-Хаус, основанный в середине 1990-х годов как достойное пристанище для небогатых стариков, сразу же, по неизвестным причинам, полюбился прогрессивным интеллектуалам, практикующим эзотерикам и художникам невысокого полета. Со временем пансион во многом переменялся, однако все так же взимал с постояльцев плату сообразно их доходам — теоретически, чтобы поддерживать расовое и социальное разнообразие. На практике все постояльцы были белыми представителями среднего класса и разнообразие сводилось к незначительным различиям между вольнодумцами, искателями духовных путей, политическими и экологическими активистами, нигилистами и немногочисленными хиппи — из тех, что все еще жили в бухте Сан-Франциско.

На первом собеседовании Ганс Фогт, директор этой общины, объявил девушке, что она слишком молода для работы на ответственной должности, однако, поскольку возникла срочная необходимость заменить сотрудницу в отделе администрации и обслуживания, Ирина может временно исполнять эти обязанности, пока не появится достойная кандидатура. Ирина подумала, что могла бы сказать то же самое о самом директоре: это был толстощекий юнец, до времени плешивый, которому руководящая должность была определено велика. Со временем девушка поняла, что на расстоянии и при плохом освещении ее впечатление оказалось обманчивым: Гансу было сорок шесть лет и он превосходно справлялся с работой администратора. Ирина сразу заверила, что отсутствие образования в ее случае компенсируется опытом в обращении со стариками, полученным в Молдавии, ее родной стране.

Робкая улыбка соискательницы смягчила директора, он позабыл спросить у Ирины рекомендательное письмо и перешел к перечислению ее обязанностей. Их можно было определить совсем коротко: облегчать жизнь клиентам второго и третьего уровня. Клиенты первого уровня в компетенцию Ирины не входили: они жили как независимые обитатели многоквартирного дома; не следовало заниматься и четвертым уровнем с метким названием «Парадиз»: эти люди дожидались перемещения на небеса, почти все время проводили в полусне и не нуждались в услугах, которые могла предоставить Ирина. В ее задачи входило сопровождать постояльцев на консультации к врачам, адвокатам и бухгалтерам, помогать с заполнением медицинских карт и налоговых деклараций, возить их за покупками и в другие места. Единственное, что будет связывать Ирину с людьми из Парадиза, — это организация их похорон, и на этот счет она будет получать отдельные инструкции, предупредил Ганс Фогт, потому что желания умирающих не всегда совпадают с желаниями их родственников. В Ларк-Хаус распространены самые разные верования, и похороны зачастую превращаются в сложную экуменическую церемонию.

Фогт пояснил, что униформа обязательна только для уборщиков и медицинского персонала, но существует негласный дресс-код для всех сотрудников: в этом вопросе критерием выступает уважение и хороший вкус. Так, например, футболка с изображением Малкольма Икса^[2] в этом заведении неуместна, напыщенно заявил он. На самом деле на ее футболке красовался не Малкольм Икс, а Че Гевара, однако Ирина не стала уточнять, поскольку предположила, что Ганс Фогт просто не слышал о команданте, которого полвека спустя после героической эпопеи продолжают почитать на Кубе и даже в Беркли — среди ее знакомых радикалов. Футболка обошлась ей в два доллара в палатке секонд-хенд, и была она почти новая.

— У нас запрещено курить, — предупредил директор.

— Я не курю и не пью, сэр.

— Здоровье у вас хорошее? Это важно при общении с пожилыми людьми.

— Хорошее.

— Есть ли что-нибудь еще, что я должен о вас знать?

— У меня зависимость от видеоигр и от романов фэнтези. Толкин, Нил Гейман, Филип Пулман — ну вы поняли. И у меня есть другая работа — я мою собак. Но это не отнимает много времени.

— Чем вы занимаетесь в свободное время — это ваше дело, мисс, но на работе вы отвлекаться не должны.

— Разумеется. Послушайте, сэр, если вы дадите мне шанс, то увидите, как здорово у меня получается со стариками. Вы не пожалеете, — заверила Ирина с притворной убежденностью.

Сразу по окончании интервью директор показал Ирине здания средним возрастом в восемьдесят пять лет, в которых размещались двести пятьдесят человек. Ларк-Хаус изначально был роскошной усадьбой шоколадного магната, который передал его городу вместе с щедрой дотацией на финансирование. Комплекс состоял из главного здания — вычурного особняка, в котором размещалась администрация, а также залы для собраний, библиотека, столовая и художественные мастерские, и еще было несколько симпатичных домиков с черепичными крышами, гармонично смотревшихся на фоне парка — вид он имел дикий, но на самом деле за ним заботливо ухаживала команда садовников. Отдельные апартаменты и здания для постояльцев второго и третьего уровня соединялись между собой широкими крытыми коридорами, чтобы можно было ездить на креслах-каталках, невзирая на превратности климата, и имели стеклянные стены, чтобы наслаждаться природой — ведь это лучший бальзам от скорбей в любом возрасте. Парадиз, отдельно стоящее бетонное сооружение, смотрелся бы здесь нелепо, если бы не плющ, затянувший его сверху донизу. Библиотека и игровая комната оставались открытыми в любое время; у салона красоты был гибкий график, а в студиях проводились разные занятия — от живописи до астрологии для тех, кому все еще не терпелось заглянуть в будущее. В магазине забытых вещей (так было означено на вывеске) дамы-волонтерки продавали одежду, мебель, драгоценности и прочие сокровища, потерянные постояльцами или оставленные на этом свете покойниками.

— У нас замечательный киноклуб. Мы показываем фильмы в библиотеке три раза в неделю, — сообщил Ганс Фогт.

— Какие фильмы? — спросила Ирина в надежде, что это окажутся истории про вампиров и научная фантастика.

— Отбором занимается комитет, и там обычно склоняются к остросюжетным лентам. В большой чести Тарантино. Там, конечно, много насилия, однако оно не пугает: все понимают, что это вымысел, и актеры, целые и невредимые, потом появляются в других фильмах. Это, так сказать, отводной клапан. Многие наши постояльцы мечтают кого-нибудь убить как правило, члена собственной семьи.

— Я тоже, — моментально отозвалась Ирина.

Ганс Фогт подумал, что девушка шутит, и дружелюбно рассмеялся: он ставил чувство юмора своих сотрудников почти так же высоко, как и терпение.

В парке со старыми деревьями доверчиво шныряли белки; было там и несколько оленей. Ганс Фогт пояснил, что самки приходят сюда, рожают оленят и опекают до тех пор, пока они не научатся жить самостоятельно, а еще этот парк — рай земной для птиц, в особенности для жаворонков, от чего и происходит название «Ларк-Хаус», дом жаворонков. В стратегически важных точках расставлены видеокамеры, снимающие животных на природе, а попутно — и стариков на случай, если они потеряются или поранятся. Однако службы безопасности в Ларк-Хаус нет. Днем ворота в усадьбу открыты, караул несут только два небооруженных охранника. Это бывшие полицейские в возрасте семидесяти и семидесяти четырех лет; а больше и не нужно, ведь никакой злоумышленник не станет тратить время на грабеж стариков без средств к существованию.

По дороге им встретились две женщины в креслах-каталках, группа живописцев с мольбертами и этюдниками, а еще несколько убогих собаководов с такими же убогими питомцами. Угодья доходили до самой бухты, и во время прилива можно было выйти в море на каяке, как поступали те постояльцы, которых еще не доконали недуги. «А мне такая жизнь нравится», — подумала Ирина, с удовольствием глотая сладкий аромат сосен и лавров, сравнивая здешние домики с мерзкими лачугами, по которым она скиталась с пятнадцати лет.

— И наконец, мисс Басили, я должен упомянуть про два привидения — ведь наши гаитянские сотрудники все равно вам расскажут о них первым делом.

— Я не верю в привидения, мистер Фогт.

— Поздравляю. Я тоже. В Ларк-Хаус они представлены женщиной в платье из розового тюля и мальчиком лет трех. Это

Эмили, дочь шоколадного магната. Бедная Эмили умерла от горя, когда ее сын утонул в бассейне, в конце сороковых годов. После этих событий магнат отказался от усадьбы и основал наш фонд.

— Мальчик утонул в том бассейне, который вы мне только что показывали?

— В том самом. И с тех пор, насколько мне известно, там больше никто не погибал.

Ирине вскоре предстояло пересмотреть свое мнение насчет привидений. Она убедилась, что многие старики постоянно находятся в компании своих мертвецов; Эмили с сыном были не единственными духами, проживавшими в Ларк-Хаус.

На следующий день Ирина явилась на работу с утра пораньше, в своих лучших джинсах и приличного вида футболке. Атмосфера в Ларк-Хаус была вольная, но не бесшабашная; это место больше напоминало университетский колледж, нежели приют для стариков. Еда была такая же, как в любом достойном калифорнийском ресторане: органическая в меру возможности. Персонал был работающий, санитары и медсестры — любезны настолько, насколько того можно было ожидать. Через несколько дней девушка уже знала имена и странности своих коллег и вверенных ей постояльцев. Ирина без труда запоминала фразы на испанском и французском и тем завоевывала уважение обслуги, представленной, почти исключительно выходцами из Мексики, Гватемалы и Гаити. Зарплата для такой работы была не слишком высокая, но мало кто горевал по этому поводу. «Бабулек нужно баловать, но не забывать про уважение. То же самое и с дедульками, только этим нельзя сильно доверять, уж больно они шустрые», — советовала Лупита Фариас, толстушка с лицом как у ольмекской^[3] статуи, начальница над всеми уборщиками. Поскольку Лупита проработала в Ларк-Хаус тридцать два года и имела доступ в жилые помещения, она близко знала каждого постояльца, понимала, чем они живут, угадывала их недомогания и сопровождала в скорбях.

— И обрати внимание на депрессию, Ирина. Здесь это случается сплошь и рядом. Если заметишь, что кто-то замыкается в себе, ходит унылый, без причины лежит в постели или перестает есть, скорее беги ко мне, ясно?

— И что ты делаешь в таких случаях?

— По-разному бывает. Я их глажу — за это они всегда благодарны, потому что к старикам никто не прикасается, а еще я ловлю их на крючок телесериалов — никто не хочет умереть, не досмотрев до конца. Некоторые находят утешение в молитве, но здесь много атеистов, эти не молятся. Самое важное — не оставлять их в одиночестве. Если меня не окажется рядом, предупреждай Кэти — она знает, что делать.

Доктор Кэтрин Хоуп, постоянлица второго уровня, первая приветствовала Ирину от имени всей общины. В свои шестьдесят восемь лет она была здесь самой молодой. Оказавшись в кресле-каталке, она выбрала помощь и общество людей из Ларк-Хаус и жила здесь уже два года. За это время Кэти сделалась душой пансиона.

— Пожилые — самые интересные люди в мире. Они давно живут на свете, и им наплевать на чужое мнение. Здесь ты скучать не будешь, — сказала Кэти. — Наши постояльцы — люди образованные, и, если здоровье позволяет, они продолжают учиться и экспериментировать. В этой общине у всех есть стимул и возможность избежать страшнейшего бича старости — одиночества.

Ирина уже была наслышана о прогрессивных устремлениях обитателей Ларк-Хаус, потому что об этом месте не раз рассказывали в новостях. Очередь, чтобы попасть в пансион, была многолетняя; она была бы еще длиннее, если бы многие кандидаты не умирали в процессе ожидания. Здешние старики служили убедительным доказательством, что возраст — при понятных ограничениях — не мешает развлекаться и вертеться в колесе жизни. Некоторые из них, активные члены движения «Пожилые люди за мир», по пятницам с утра выходили на улицу протестовать против ошибок и несправедливостей мироздания, в особенности североамериканского империализма, за который они чувствовали себя ответственными. Активисты, среди которых были дамы в возрасте старше ста лет, собирались на площади перед полицейским участком — со своими палками, ходунками и каталками, потрясая плакатами, осуждая войну или глобальное потепление; водители приветствовали их гудками, прохожие подписывали петиции, которые подсовывали им негодующие прародительницы. Бунтарей не раз показывали по телевидению; полицейские при этом выглядели комично: они пытались разогнать старцев, угрожая пустить слезоточивый газ, но

никогда не исполняли обещанного. Ганс Фогт с трепетом указал Ирине на табличку в парке, повешенную в честь девяностосемилетнего музыканта, который погиб смертью храбрых в 2006 году от скоротечного инсульта, стоя под палящим солнцем, — этот музыкант протестовал против войны в Ираке.

Ирина выросла в молдавской деревне, где жили старики и дети. У всех не хватало зубов: у первых — потому что они их потеряли с годами, у вторых — потому что уже выпали молочные. Девушка подумала о своих бабушке с дедом и, как всегда в последние годы, устыдилась, что покинула их. В Ларк-Хаус ей предоставлялась возможность дать другим старикам то, чего она не дала своим, и с этой мыслью девушка взялась за работу. Вскоре ей удалось завоевать сердца своих подопечных и многих независимых постояльцев первого уровня.

С самого начала внимание Ирины привлекла Альма Беласко. От других женщин она отличалась аристократическими манерами, ее отделяло от людей какое-то магнетическое поле. Лупита Фариас уверяла, что эта женщина не подходит для Ларк-Хаус, что она здесь не задержится и вообще, за ней скоро приедет тот же самый шофер, что и доставил ее сюда на «мерседесе». Однако проходили месяцы, но ничего подобного не случалось. Ирина ограничивалась наблюдением за Альмой Беласко, потому что Ганс Фогт велел ей сосредоточиться на постояльцах второго и третьего уровня и не отвлекаться на независимых. Она едва успевала обслуживать своих клиентов (здесь их не называли пациентами) и вникать в тонкости своего нового ремесла. В порядке обучения Ирина должна была ознакомиться с видеозаписями недавних похорон: хоронили еврейку-буддистку и раскаявшегося агностика. А Альма Беласко вообще не обратила бы на нее внимания, если бы обстоятельства вскоре не превратили девушку в самую обсуждаемую фигуру во всей общине.

ФРАНЦУЗ

В Ларк-Хаус, где женщин было подавляющее большинство, Жак Девин считался звездой, единственным кавалером среди всех двадцати восьми постояльцев мужского пола. Его называли французом не оттого, что он родился во Франции, а за его отменную галантность: Девин пропускал дам вперед, придвигал им стул и никогда не ходил с расстегнутой ширинкой, а еще он мог танцевать, несмотря на проблемы со спиной. В свои девяносто он вышагивал прямо благодаря двум тростям и винтам в позвоночнике; у него сохранилось кое-что от роскошной шевелюры, и он умел изящно мухлевать в карты. Француз обладал крепким здоровьем — за исключением хронического артрита, повышенного давления и глухоты, неизбежной для преклонного возраста; здравомыслие в нем тоже присутствовало, но недостаточно, чтобы помнить, ходил ли он на обед, поэтому Жак Девин относился ко второму уровню, где ему предоставлялся необходимый уход. Он прибыл в Ларк-Хаус вместе со своей третьей женой, которая прожила в доме всего три недели, а потом погибла, став жертвой рассеянного мотоциклиста. День француза начинался рано: он принимал душ, одевался и брился с помощью гаитянского слуги по имени Жан-Даниэль, пересекал площадь, опираясь на трость и внимательно следя за мотоциклистами, и усаживался в «Старбаксе», чтобы выпить первую из пяти своих ежедневных чашек кофе. Жак Девин был однажды разведен, дважды вдовец и никогда не испытывал недостатка в возлюбленных, которых он соблазнял с помощью цирковых фокусов. Не так давно француз подсчитал, что за свою жизнь влюблялся шестьдесят семь раз; он записал это число в книжечку, чтобы не забыть, поскольку лица и имена этих счастливиц стирались из его памяти. У Жака Девина было несколько официальных детей и еще одно побочное приобретение от женщины, имени которой он не помнил, а кроме того, имелись племянники — неблагодарные существа, считающие дни до его переселения в мир иной и раздела наследства. Поговаривали, что француз обладает немалым состоянием, сколоченным благодаря великой рисковости и малой щепетильности. Сам он без всякого стеснения признавал, что провел некоторое время в

тюрьме (откуда вынес пиратские татуировки на руках, стертые впоследствии морщинами, дряблостью и пигментными пятнами) и что изрядно обогатился, спекулируя сбережениями охранников. Несмотря на пристальное внимание нескольких дам из пансиона, оставлявшее мало пространства для любовных маневров, Жак Девин влюбился в Ирину с первого взгляда, когда она шла по коридору с блокнотом в руках, виляя задом. В девушке не было ни капли карибской крови, так что ее мулатская задница являлась чудом природы, как провозгласил француз после своего первого мартини, удивляясь, что никто, кроме него, не обратил внимания на это обстоятельство. Жак Девин провел лучшие годы в торговых поездках между Пуэрто-Рико и Венесуэлой, где и обучился оценивать женщин сзади. Тамошние роскошные ягодицы навсегда запечатлелись на сетчатке его глаз; они мерещились ему повсюду, даже в таком неподходящем месте, как Ларк-Хаус, даже при виде такой щуплой женщины, как Ирина. Стариковская жизнь Девина, в которой не было ни планов, ни амбиций, неожиданно наполнилась этой поздней всепоглощающей любовью, нарушившей его мирное прозябание. Вскорости после знакомства он выразил свой восторг вручением топазового скарабея с бриллиантами, одной из немногих драгоценностей его покойных жен, которую ему удалось спасти от грабежа потомков. Ирина не хотела принимать этот дар, однако ее отказ вознес артериальное давление влюбленного до облаков, и ей самой пришлось целую ночь сидеть с ним в Отделении скорой помощи. Жак Девин, соединенный с капельницей, перемежая вздохи с упреками, признавался ей в своей бескорыстной платонической любви. Он желал только ее общества, жаждал усладить взор ее молодостью и красотой, слушать ее звонкий голос, представлять, что она тоже его любит, хотя бы как дочь. Ирина могла бы любить его и как прадедушку.

Вечером следующего дня, пока Жак Девин смаковал свой ритуальный мартини, Ирина, вернувшись в Ларк-Хаус с покрасневшими глазами и мешками на веках после бессонной ночи, пересказала всю историю Лупите Фариас.

— Ничего нового ты не открыла, дурашка. Мы то и дело застаем наших клиентов в чужих постелях, причем не только стариков, но и бабулек. За неимением мужчин бедняжки вынуждены довольствоваться тем, что есть. Все на свете нуждаются в компании.

— В случае с мистером Девином, Лупита, речь идет о платонической любви.

— Не знаю, что это такое, но если то, о чем я думаю, не верь ему. У француза в петушок вставлен имплантат, пластиковая сосиска, которая надувается через трубочку, спрятанную в яйцах.

— Что ты мелешь, Лупита! — расхохоталась девушка.

— То, что слышишь. Клянусь тебе! Я сама не видела, но француз предьявлял его Жану-Даниэлю. Эта штука впечатляет.

Добрая женщина, чтобы успокоить Ирину, добавила, что за много лет работы в Ларк-Хаус убедилась: сам по себе возраст никого не делает ни лучше, ни мудрее, а только подчеркивает всегдашние свойства человека.

— Скрыга с годами не делается щедрым, Ирина, он делается еще более скупым. Определенно, Девин всегда был повесой, так что теперь он превратился в старого козла, — закончила она.

Понимая, что брошь со скарабеем вернуть владельцу невозможно, Ирина отнесла ее Гансу Фогту, который уведомил девушку о строжайшем запрете на чаевые и подарки. Правда, запрет не распространялся на имущество, получаемое пансионом от умерших постояльцев, и на нелегальные пожертвования, которые делались, чтобы продвинуть родственника в очереди желающих поселиться в Ларк-Хаус, но сейчас был совсем другой случай. Директор забрал ужасного топазового жука, чтобы, как он сказал, вернуть его законному владельцу, а пока поместил в ящик своего стола.

Неделю спустя Жак Девин передал Ирине 160 долларов двадцатками, и девушка на сей раз обратилась напрямик к Лупите Фариас, стороннице простых решений: она положила деньги обратно в коробку из-под сигар, где кавалер хранил свои сбережения, в уверенности, что он и не вспомнит, что что-то оттуда брал и сколько денег у него вообще было. Таким образом Ирина разрешила проблему с чаевыми, но оставалась проблема со странными посланиями, с приглашениями на ужин в дорогие рестораны, с регулярными вызовами в комнату к французу, с бесконечными рассказами о его головокружительных успехах, которых никогда не было, и, наконец, с его предложением руки и сердца. Француз, искушенный соблазнитель, стал как будто снова юн и болезненно-робок и, вместо того чтобы объясниться лично, передал девушке совершенно разборчивое письмо

— он напечатал текст на компьютере. В конверт были вложены две страницы, заполненные околичностями, метафорами и повторами, но все это можно было свести к нескольким пунктам: Ирина возродила в Девине энергию и желание жить, он готов предложить ей безбедное существование, например во Флориде, где всегда светит солнце, а когда она овдовеет, ее будущность будет обеспечена. Как ни посмотри на такое предложение, Ирина остается в выигрыше, писал поклонник, поскольку разница в возрасте на ее стороне. Подпись представляла собой кошмарную закорючку. Девушка воздержалась от передачи письма директору, боясь оказаться на улице, и оставила этот документ без ответа в надежде, что он выветрится из памяти у жениха, однако на сей раз краткосрочная память его не подвела. Помолодевший от страсти Жак Девин продолжал отправлять ей послания, с каждым разом все более нетерпеливые, а она всячески его избегала и молилась святой Параскеве, чтобы старик перенес свое внимание на кого-нибудь из дюжины преследовавших его восьмидесятилетних дам.

Ситуация накалялась, скрыть скандал было бы уже невозможно, если бы непредвиденное событие не покончило с Жаком Девинем и попутно с проблемами Ирины. В течение одной недели француз дважды отправлялся куда-то на такси, никак не объясняя свои поездки. В его случае это было необычно, потому что в городе Девину ничего не стоило заблудиться. В обязанности Ирины входило его сопровождать, однако француз ускользал украдкой, ни слова не говоря. Второе путешествие оказалось для него серьезным испытанием: постоялец вернулся в Ларк-Хаус такой потерянный и слабый, что водителю пришлось выносить его из такси на руках и передавать Ирине, точно мешок с грузом.

— Что случилось, мистер Девин? — спросила девушка.

— Не знаю, меня здесь не было, — ответил француз.

Осмотрев старичка и удостоверившись, что артериальное давление в норме, дежурный врач посчитал, что нет нужды снова отправлять его в больницу. И прописал постельный режим на два дня. А еще врач уведомил Ганса Фогта, что Девин больше не может оставаться на втором уровне, что пора переводить его на третий, где ему будет обеспечен постоянный уход. На следующий день директор собирался сообщить об этой перемене Девину. Эта обязанность всегда оставляла у него во рту привкус меди, ведь всем было известно, что

третий уровень — это преддверие Парадиза, этаж без возврата. Но Фогта остановил гаитянин Жан-Даниэль: он принес скорбную весть. Слуга обнаружил Жака Девина холодным и окоченевшим, когда пришел помочь ему одеться. Врач предложил провести аутопсию, поскольку при вчерашнем осмотре не обнаружил никаких предвестников близкой смерти, однако Ганс Фогт не разрешил: зачем сеять подозрения по поводу чего-то столь предсказуемого, как кончина девяностолетнего старика? Вскрытие могло бы запятнать беспорочную репутацию Ларк-Хаус. Узнав о случившемся, Ирина долго плакала, потому что, сама того не желая, успела проникнуться нежностью к этому патетическому Ромео, но вместе с тем она почувствовала облегчение оттого, что от него освободилась, и тут же устыдилась этого чувства.

Кончина француза объединила клуб его поклонниц в общем вдовьем горе, однако они не смогли утешиться организацией похорон, поскольку родственники покойного предпочли ограничиться срочной кремацией. О Жаке Девине вскоре бы все позабыли, включая и влюбленных старушек; если бы не буря, разразившаяся по вине его семьи. Вскоре после того, как прах был без лишних кривляний развеян по ветру, так называемые наследники обнаружили, что все имущество старика завещано некоей Ирине Басили. Согласно короткой записке, сопровождавшей завещание, Ирина проявила к Девину нежность на последнем этапе его долгой жизни и поэтому заслуживает получить все. Адвокат Жака Девина пояснил, что его клиент продиктовал ему изменения в завещании по телефону, а потом дважды приезжал в его офис, чтобы прочитать бумаги и подписать их в присутствии нотариуса, и что он выглядел уверенным в своих действиях. Потомки обвинили администрацию Ларк-Хаус в преступном небрежении к умственному состоянию старца, а эту Ирину Басили — в краже с обдуманным умыслом. Они объявили о своем намерении обжаловать завещание и подать иск на адвоката за некомпетентность, на нотариуса за сообщничество и на Ларк-Хаус за моральный и материальный ущерб. Ганс Фогт принял воинство обделенных родственников со спокойствием и вежливостью, приобретенными за долгие годы директорства, но внутри он кипел от ярости. Он не ожидал подобного предательства от Ирины, которую принимал за безобиднейшее

существо, однако человек учится всю жизнь, и доверять нельзя никому. Улучив момент, Фогт потихоньку спросил адвоката, о какой сумме идет речь, и оказалось, что предмет обсуждения — сухие земли в штате Нью-Мексико и акции различных компаний, стоимость которых еще подлежит уточнению. Денег как таковых было немного.

Директор попросил сутки отсрочки, чтобы придумать выход не такой дорогостоящий, как тяжбы, и срочно вызвал к себе Ирину. Он намеревался разгрести помойную яму, не снимая шелковых перчаток. Враждовать с этой шнырой не входило в его планы, однако стоило директору увидеть Ирину, он как с цепи сорвался.

— Как, черт возьми, тебе удалось, охмурить старикашку?

— О ком это вы, мистер Фогт?

— Что значит о ком? О французе, конечно! Как это могло произойти прямо у меня под носом?

— Прошу прощения, я вам не говорила, чтобы не беспокоить понапрасну. Я думала, что сама с этим разберусь.

— И прекрасно разобралась! Что я теперь скажу его семье?

— Им незачем это знать, мистер Фогт. Старики, как вам известно, влюбляются, но людей посторонних это шокирует.

— Ты спала с Девином?

— Нет! Как вы могли такое подумать?!

— Тогда я ничего не понимаю. Почему он назначил тебя наследницей всего состояния?

— Что-что?

Ганс Фогт с изумлением осознал, что Ирина Басили не подозревала о намерениях старика и что весть о наследстве для нее полная неожиданность. Директор хотел предупредить, что ей будет нелегко получить хоть что-нибудь, поскольку законные наследники намерены драться за каждый цент, но девушка на ходу выпалила, что не хочет, что это будут нехорошие деньги, которые принесут ей несчастье. Жак Девин был чокнутый, что могут засвидетельствовать все обитатели Ларк-Хаус; лучше договориться обо всем без лишнего шума. Достаточно будет врачебного диагноза о старческом слабоумии. Ирине пришлось повторить свое предложение, чтобы обескураженный директор ее понял.

Никакие меры предосторожности не помогли сохранить скандал в тайне. Все обо всем узнали, и наутро Ирина Басили проснулась самой

спорной фигурой в общине: ею восхищались постояльцы, ее осуждали латиноамериканцы и гаитяне, для которых отказ от денег — это грех. «Не плюй в небо, а не то в рот попадет», — произнесла Лупита Фариас, и Ирина не нашла в родном языке адекватного перевода для этой гавайской премудрости. А директор, растрогавшись от щедрости скромной эмигрантки из страны, которую и на карте-то не разглядишь, принял ее на постоянную ставку: сорок часов в неделю, с жалованьем выше, чем было у ее предшественницы; вдобавок он убедил родственников Жака Девина подарить Ирине две тысячи долларов в знак признательности. Девушка так и не получила этих денег, однако поскольку она не могла себе вообразить такую сумму, то вскоре напрочь о ней позабыла.

АЛЬМА БЕЛАСКО

Благодаря фантастическому наследству француза Альма Беласко обратила внимание на Ирину и, когда пересуды вокруг нее поутихли, вызвала к себе. Она приняла девушку в своем спартанском жилище, с достоинством восседая на маленьком кресле цвета персика; на коленях у нее устроился полосатый кот Неко.

— Мне нужна секретарша. Я хочу, чтобы ты поработала на меня, — сразу объявила она.

Это было не предложение, а приказ. Альма даже не всегда отвечала на приветствия Ирины, когда они встречались в коридорах, поэтому девушка была поражена. К тому же, поскольку в Ларк-Хаус половина постояльцев скромно проживали на свою пенсию (лишь некоторым помогали родственники) и многие пользовались только общедоступными услугами, даже дополнительная трапеза грозила вывести их за рамки тощего бюджета; никто не мог позволить себе роскошь нанять персонального помощника. Призрак бедности, как и призрак одиночества, всегда бродил вокруг стариков.

Ирина объяснила, что у нее мало времени, что после службы в Ларк-Хаус она подрабатывает в кафе, а еще моет собак на дому.

— Как это устроено с собаками? — спросила Альма.

— У меня есть компаньон по имени Тим, он мой сосед по Беркли. У Тима есть грузовичок, он установил в нем две ванны с длинными шлангами; мы ездим по собачьим домам — то есть по домам собачьих хозяев, включаем воду и моем наших клиентов — я имею в виду собак — во дворе или на улице. А еще мы чистим им уши и стрижем когти.

— Собакам? — спросила Альма, пряча улыбку.

— Да.

— Сколько ты зарабатываешь в час?

— Двадцать пять долларов за собаку, но это на двоих с Тимом, то есть мне достается двенадцать с половиной.

— Я беру тебя на испытательный срок, тринадцать долларов в час. Если останешься довольна твоей работой, подниму до пятнадцати. Ты будешь работать со мной по вечерам, когда закончишь дела в Ларк-

Хаус, для начала по два часа в день. Расписание будет гибкое, в зависимости от моих потребностей и твоей занятости. Договорились?

— Миссис Беласко, я могла бы уйти из кафе, но не могу оставить собак, ведь они ко мне привыкли и будут ждать.

На этом женщины и порешили, и таким образом началось их сотрудничество, со временем превратившееся в дружбу.

В первые недели новой работы Ирина ходила на цыпочках и все время попадала впросак, потому что Альма Беласко оказалась строгой в обращении, требовательной в мелочах и нечеткой в формулировках, однако вскоре страх у девушки прошел, и она сделалась для Альмы необходимой — такой же незаменимой, как и в Ларк-Хаус. Ирина изучала новую хозяйку с энтузиазмом зоолога, обнаружившего бессмертную саламандру. Эта женщина была не похожа ни на кого из тех, кого она встречала прежде, и определенно ни на кого из стариков второго и третьего уровня. Альма ревниво оберегала свою независимость, чуждалась сентиментальности и диктата материальных ценностей, казалась свободной от привязанностей — за исключением своего внука Сета — и ощущала такую уверенность в самой себе, что не искала поддержки в Боге и в сахарной набожности некоторых постояльцев Ларк-Хаус, которые объявляли себя спиритами и рекламировали способы перехода на высший уровень сознания. Альма прочно стояла на земле. Ирина предполагала, что ее надменность — это защита от постороннего любопытства, а простота — показатель элегантности, которая у неопытных женщин превращается в неухоженность. Ее жесткие белые волосы торчали в разные стороны, она расчесывала их пятерней. Единственными ее уступками кокетству были красная помада на губах и мужские духи с бергамотом и апельсином; когда она проходила по Ларк-Хаус, этот свежий аромат заглушал мутные запахи дезинфекции, старости и, местами, марихуаны. У Альмы Беласко был мощный нос, горделивый рот, костистое тело и натруженные руки батрака; глаза были карие, брови темные и широкие, а под глазами залегли лиловые мешки, придававшие женщине вид страдающей от бессонницы, — их не могла скрыть даже черная оправа очков. Аура загадочности вокруг нее заставляла держать дистанцию: никто из сотрудников Ларк-Хаус не обращался к ней покровительственно, как это было принято с другими

постояльцами, и никто не мог похвастать, что знает эту женщину, пока Ирине не удалось проникнуть в ее цитадель.

Альма делила со своим котом квартиру с минимумом мебели и личных вещей, а ездила на автомобиле самой маленькой модели, совершенно не уважая правила дорожного движения, соблюдение каких почитала делом добровольным (в обязанности Ирины входила регулярная оплата штрафов). Альма была вежлива из привычки к хорошим манерам, однако единственными людьми, с которыми она подружилась в Ларк-Хаус, были садовник Виктор — с ним она часами могла возиться с овощами и цветами в высоких кадках, и доктор Кэтрин Хоуп, чьему обаянию она попросту не могла противиться. Альма Беласко снимала мастерскую в сарае, разделенном деревянными перегородками, за которыми трудились другие художники. Она писала по шелку, как писала в течение семидесяти лет, но теперь делала это не по вдохновению, а чтобы раньше срока не помереть со скуки. Альма проводила в мастерской по несколько часов в неделю в сопровождении Кирстен, своей помощницы, которой синдром Дауна не мешал справляться с обязанностями. Кирстен знала комбинации цветов и инструменты, которые использовала Альма, она подготавливала ткани, содержала в порядке мастерскую и мыла кисти. Женщины работали в полной гармонии, без слов, угадывая намерения друг друга. Когда у Альмы начали дрожать руки и запрыгало давление, она наняла двух студентов переносить на шелк то, что рисовала на бумаге, а ее верная ассистентка следила за ними с подозрительностью тюремщицы. Кирстен была единственной, кому разрешалось при встрече обнимать Альму, целовать и даже облизывать языком, когда на нее накатывал приступ нежности.

Художница, не задаваясь всерьез этой целью, прославилась своими кимоно, туниками, платками и шарфами оригинального дизайна и смелой расцветки. Сама она такое не носила, одевалась в широкие штаны и полотняные блузы черного, белого или серого цветов — нищевородские лохмотья, по словам Лупиты Фариас, не подозревавшей о цене этих лохмотьев. Шелковые изделия Альмы продавались в галереях за немислимые деньги, которые шли в Фонд Беласко. Вдохновение для своих коллекций Альма черпала в путешествиях по свету: звери из Серенгети, турецкая керамика, эфиопские письма, — и она переходила к новой теме, как только

конкуренты принимались ее копировать. Альма отказывалась продавать свою подпись или сотрудничать с модельерами; каждая ее вещь воспроизводилась в ограниченном количестве под ее суровым надзором и появлялась с ее собственноручной подписью. В апогее на художницу работало пятьдесят человек, и она руководила целым производством в промышленной зоне Сан-Франциско, к югу от Маркет-стрит. Альма никогда не занималась саморекламой, поскольку не испытывала необходимости зарабатывать на жизнь, но ее имя сделалось гарантией качества и эксклюзивности. Когда художнице исполнилось семьдесят, она решила сократить производство, к немалому ущербу для Фонда Беласко, в который поступали доходы.

Основанный в 1955 году свекром Альмы, загадочным Исааком Беласко, фонд занимался созданием зеленых зон в неблагополучных кварталах. Эта инициатива, преследовавшая цели эстетические, неожиданно оказалась социально значимой.

Там, где появлялся парк, сад или сквер, снижалась преступность, потому что те самые хулиганы и наркоманы, прежде готовые убивать друг друга за дозу героина или за тридцать квадратных сантиметров территории, теперь объединялись, чтобы оберегать принадлежащий им кусок города. В одних парках расписывали стены, в других ставили скульптуры, и повсюду собирались, чтобы развлекать публику, артисты и музыканты.

Фонд Беласко в каждом поколении управлялся первым наследником семьи по мужской линии, и женское равноправие не переменяло этого неписаного закона, потому что ни одна из дочерей не брала на себя труд его обсуждать; однажды придет и очередь Сета, правнука основателя фонда. Парень вовсе не жаждал этой привилегии, но она составляла часть его наследства.

Альма Беласко так привыкла командовать и держать людей на расстоянии, а Ирина — получать приказания и вести себя скромно, что они никогда бы не сблизились, если бы не Сет Беласко, любимый внук, который задался целью разрушить стену между двумя женщинами. Сет познакомился с Ириной вскоре после переезда бабушки в Ларк-Хаус, и девушка сразу его заинтересовала, хотя он и не смог бы объяснить, чем именно. Несмотря на имя, она не походила на тех красавиц из Восточной Европы, которые в последнее десятилетие

штурмом взяли мужские клубы и модельные агентства: никаких жирафьих костей, монгольских скул и гаремной томности; Ирину издали можно было перепутать с растрепанным мальчишкой. Она была такая прозрачная, настолько близка к невидимости, что заметить ее можно было, только если внимательно приглядываться. Мешковатая одежда и надвинутая до бровей шерстяная шапочка не облегчали задачи. Сета сразила загадка ее ума, ее лицо дуэнде^[4] в форме сердечка, глубокая ямочка на подбородке, пугливые зеленые глаза, тонкая шея, подчеркивающая ее незащищенность, и кожа такой белизны, что отсвечивала в темноте. Парня умиляли даже ее детские ручки с обгрызенными ногтями. Он чувствовал неведомое доселе желание оберегать Ирину, заботиться о ней — то было новое и волнующее чувство. Ирина носила на себе столько слоев одежды, что не было возможности оценить остальные части ее естества, однако спустя несколько месяцев, когда лето заставило ее расстаться с укрывающими ее жилетами, оказалось, что она сложена гармонично и соблазнительно, хотя и относится к себе небрежно. Шерстяная шапочка уступила место цыганским платкам, которые не полностью покрывали ее волосы, так что лицо девушки теперь обрамляли курчавые пряди почти что альбиносовой белизны.

Поначалу бабушка была единственным звеном, с помощью которого Сет мог находиться в контакте с Ириной, потому что ни один из его привычных методов с нею не срабатывал, но потом он открыл для себя магическую силу письменной речи. Сет рассказал Ирине, что с помощью бабушки восстанавливает полуторавековую историю семьи Беласко и города Сан-Франциско, от основания и до наших дней. Эта сага вертится у него в голове с пятнадцати лет — бурный поток образов, происшествий, идей, слов и других слов, и если ему не удастся выплеснуть их на бумагу, он потонет. Это описание грешило преувеличениями: поток был всего лишь маломощным ручейком, но оно настолько захватило воображение девушки, что Сету не оставалось ничего другого, кроме как начать писать. Помимо визитов к бабушке, представлявшей устную традицию, парень рылся в книгах, искал в интернете, а еще собирал фотографии и письма разных лет. Он сумел завоевать восхищение Ирины, но не Альмы, которая считала, что ее внук грандиозен в замыслах и взбалмошен в привычках — а это губительно для писателя. Если бы Сет дал себе время поразмыслить,

он согласился бы, что и бабушка, и роман — только предлоги, чтобы видеть Ирину, это создание, выхваченное из северной сказки и возникшее в самом неожиданном месте, в пансионе для пожилых людей; но даже если бы он размышлял долго, все равно не сумел бы объяснить, почему его так крепко приковала к себе эта девушка, костлявая, как сиротка, и бледная, как тифозница, — полная противоположность его идеалу женской красоты. Сету нравились веселые, здоровые, загорелые девчонки без заморочек, каких было навалом и в Калифорнии, и в его прошлом. Ирина как будто не замечала этой привязанности и общалась с парнем с рассеянной симпатией, как обычно относятся к чужим питомцам. Это спокойное безразличие, которое в других обстоятельствах Сет воспринял бы как вызов, обернулось для него параличом непроходящей робости.

Бабушка, со своей стороны, порылась в воспоминаниях, чтобы помочь внуку с книгой, к которой, по ее собственному признанию, сама она вот уже десять лет как приступает и откладывает. Проект был амбициозный, и справиться с ним не помог бы никто лучше Альмы, у которой хватало времени и при этом пока не наблюдалось симптомов слабоумия. Альма вместе с Ириной ездила в особняк Беласко в Си-Клифф, чтобы покопаться в коробках, к которым никто не прикасался с самого ее отъезда. Ее бывшая комната стояла закрытая, в нее заходили только протереть пыль. Альма раздала почти все свои вещи: невестке и внучке — драгоценности, за исключением браслета с бриллиантами, который предназначался будущей супруге Сета; больницам и школам — книги; благотворительным учреждениям — платья и меха, которые в Калифорнии никто не отваживался носить из страха перед защитниками животных, способных наброситься на женщину в шубе с ножом; другие предметы она тоже раздавала всем, кто соглашался взять, но сохранила единственное, что имело для нее ценность: письма, дневники, газетные заметки, документы и фотографии. «Я должна упорядочить этот материал, Ирина. Не хочу, чтобы, когда я стану старой, кто-то начал шарить в моем личном пространстве». Вначале Альма попробовала заниматься разбором в одиночку, однако, почувствовав доверие к Ирине, часть работы начала поручать ей. В конце концов на долю помощницы выпало все, кроме писем в желтых конвертах, которые приходили не часто. Альма их сразу же прятала. Прикасаться к ним Ирине было запрещено.

Внуку Альма Беласко выдавала свои воспоминания скупно, одно за другим, чтобы как можно дольше держать его на крючке: женщина боялась, что если Сету наскучит обхаживать Ирину, то и вышеупомянутая рукопись ляжет в дальний ящик и она будет видеть своего любимца гораздо реже. Присутствие Ирины при этих встречах было необходимо, потому что без нее летописец отвлекался на ее ожидание. Альма посмеивалась про себя, воображая реакцию семьи, если Сет, наследный принц Беласко, свяжет себя с иммигранткой, которая зарабатывает на жизнь уходом за стариками и мытьем собак. Ее самой такая возможность не пугала, потому что Ирина была куда умнее, чем большинство спортсменов, временных подружек Сета, но это был неограниченный алмаз, нуждающийся в полировке. Альма задалась целью покрыть девушку лаком культуры, водила по концертам и музеям, подсовывала книги для взрослых взамен тех нелепых саг о фантастических мирах и сверхъестественных существах, которые ей так нравились, и наставляла ее по части хороших манер — например, как пользоваться столовыми приборами. Таким вещам Ирина не могла обучиться ни у своих деревенских стариков в Молдавии, ни у матери-алкоголички в Техасе, но она оказалась внимательной и благодарной ученицей. Полировка обещала быть делом несложным, а Альма таким образом ненавязчиво расплачивалась за приезды Сета в Ларк-Хаус.

НЕВИДИМЫЙ ЧЕЛОВЕК

Через год работы на Альму Беласко у Ирины впервые появилось подозрение, что у этой женщины есть любовник, однако она не осмеливалась всерьез его рассматривать, пока ей не пришлось сообщить об этом Сету. Поначалу, до того как Сет приобщил ее к порочному наслаждению интригой и саспенсом, девушка не собиралась шпионить за Альмой. Ирина подбиралась к тайне художницы исподволь, так что ни одна из двух женщин об этом не догадывалась. Мысль о любовнике начала принимать четкие очертания, когда Ирина разбирала коробки, привезенные из дома в Си-Клифф, и когда она рассмотрела мужчину на фотографии в золотой рамке, стоящей в комнате Альмы, которую девушка регулярно протирала специальной тряпочкой. Помимо маленького семейного снимка в гостиной, других портретов в квартире не было, и это не могло не привлечь внимания Ирины: ведь постояльцы Ларк-Хаус окружали себя фотографиями вроде как для компании. В считанные разы, когда Ирина отваживалась задать новые вопросы, ее хозяйка переводила разговор на другую тему, однако же из нее удалось вытащить, что мужчина зовется японским именем Ичимеи Фукуда и что именно он создал ту странную картину, которая висела в гостиной, — тоскливый пейзаж со снегом, серым небом, темными одноэтажными домами, электрическими проводами и столбами и с единственным живым существом — летящей птицей. Ирина не понимала, почему из всех произведений искусства, принадлежащих семье Беласко, Альма выбрала для украшения своей квартиры эту депрессивную картину. На фотографии Ичимеи Фукуда представал мужчиной неопределенного возраста, с вопросительно склоненной головой, с прищуренными глазами — снимали по солнцу, но взгляд был прямой и открытый; рот с полными чувственными губами сложился в полуулыбку, волосы жесткие и густые. Ирина ощущала необъяснимое притяжение в этом лице: ее как будто звали, пытались объяснить что-то важное. Она столько раз рассматривала карточку, когда была одна в квартире, что начала воображать Ичимеи Фукуда в полный рост, приписывать ему черты характера, выдумывать его

жизнь. Этот человек был широк в плечах, одиночка по характеру, жизнью не избалован, в эмоциях сдержан. В коробках Ирина обнаружила еще одну фотографию того же мужчины — с Альмой на пляже, оба стояли по щиколотку в воде, закатав штанины, держали туфли в руках, смеялись и толкались. Мужчина и женщина играют на песке — это свидетельствовало о любви, о сексуальной близости. Ирина предположила, что они были на пляже вдвоем и попросили случайного человека сделать моментальный снимок. Если Ичимеи примерно того же возраста, что и Альма, ему сейчас лет восемьдесят, подсчитала Ирина; при этом она не сомневалась, что узнает его, если увидит. Только Ичимеи мог являться причиной бродяжничества Альмы Беласко.

Девушка научилась предсказывать исчезновения своей хозяйки за несколько дней наперед по ее задумчивому меланхолическому молчанию, которое резко сменялось плохо скрываемой эйфорией, когда хозяйка наконец-то решалась ехать. Сначала она чего-то дожидалась, а когда это «что-то» происходило, наполнялась счастьем; тогда Альма кидала в чемоданчик кое-какую одежду, предупреждала Кирстен, что не появится в мастерской, и оставляла Неко на попечение Ирины. Кот был старый, с множеством разнообразных недугов и вредных привычек; список лекарств и рекомендаций по уходу висел на двери холодильника. Неко был уже четвертым в ряду похожих котиков с одинаковыми именами, сопровождавших Альму на разных этапах ее жизни. Альма отбывала с поспешностью невесты, не сообщая, куда направляется и когда думает вернуться. Два-три дня проходили без всяких известий, а потом она вдруг так же неожиданно возвращалась, вся сияющая. И бензин в баке ее игрушечного автомобильчика был на исходе. Ирина вела за хозяйку бухгалтерию и просматривала счета из отелей, а еще она обнаружила, что в эти путешествия Альма берет с собой только две шелковые ночные рубашки — а не фланелевые пижамы, в которых спит дома. Девушка вопрошала себя, отчего Альма исчезает так, словно собирается согрешить, ведь она свободна и вольна принимать кого угодно в квартире в Ларк-Хаус.

Подозрения Ирины насчет мужчины с фотографии неизбежно затронули и Сета. Девушка старалась не выдавать беспокойства, однако парень приходил так часто, что тоже отметил повторяющиеся отлучки бабушки. На расспросы внука Альма с обычным в их

отношениях сарказмом отвечала, что ездит тренироваться с террористами, экспериментирует с галлюциногенным настоем айяуаски, или давала еще какое-нибудь безумное объяснение. Сет решил, что, чтобы распутать эту историю ему не обойтись без помощи Ирины, чего было не так просто добиться, поскольку преданность помощницы своей хозяйке была тверже гранита. Он сумел убедить девушку, что бабушке грозит опасность. Для своего возраста Альма выглядит крепкой, говорил Сет, но на самом деле здоровье у нее хрупкое, сердце слабое, давление пошаливает и начинается болезнь Паркинсона — вот отчего и дрожь в руках. Сет не может сообщить подробностей, потому что Альма отказывается проходить обследование, но они должны присматривать за старушкой и оберегать от рискованных ситуаций.

— Человек хочет безопасности для своего любимого существа, Сет. Но для себя человек хочет независимости. Так что бабушка никогда не допустит, чтобы мы вмешивались в ее личную жизнь, пусть даже и для ее защиты.

— Именно поэтому мы должны действовать так, чтобы она ничего не знала, — настаивал Сет.

По словам Сета, в начале 2010 года всего за пару часов в голове у бабушки произошли решительные изменения. Успешная художница, образчик чувства долга — эта женщина удалилась от мира, от семьи и друзей, затворилась в пансионе для стариков, который был совсем не в ее стиле, и стала одеваться «как тибетская беженка», по словам ее невестки Дорис. «Короткое замыкание в мозгу, никак иначе», — так потом она говорила. Последним действием прежней Альмы было решение отдохнуть после обеда. В пять часов вечера Дорис постучала в дверь, чтобы напомнить про вечерний прием; она обнаружила свекровь стоящей у окна, в нижнем белье и босиком, с витающим в облаках взглядом. Роскошное вечернее платье поникло на спинке стула. «Передай Ларри, что я не приду, и пусть он не рассчитывает на меня до конца моих дней». Твердость ее голоса исключала возражения. Невестка молча закрыла дверь и пошла к мужу поделиться новостью. Это был вечер сбора средств для Фонда Беласко, самое важное событие года, когда проверялась на прочность притягательная способность фонда. Официанты уже завершали подготовку стола, повара трудились не покладая рук, музыканты камерного оркестра

настраивали инструменты. Каждый год Альма выступала на вечере с краткой речью, всегда примерно одного содержания, позировала для фотографий с самыми выдающимися жертвователями и общалась с прессой — от нее требовалось только это, все остальное брал на себя ее сын Ларри. На сей раз пришлось обойтись без Альмы.

Со следующего дня все радикально переменилось. Художница собирала чемоданы; она поняла, что почти ничего из ее вещей не пригодится в новой жизни. Ей требовалось стать проще. Для начала Альма отправилась за покупками, потом пригласила своего бухгалтера и адвоката. Она оставила за собой скромную пенсию, остальное имущество передала Ларри без указаний, как им распорядиться, и объявила, что переезжает в Ларк-Хаус. Чтобы перескочить через лист ожидания, она выкупила очередь у одной филологини, которая за приемлемую сумму согласилась подождать еще несколько лет. Никто из Беласко о Ларк-Хаус даже не слышал.

— Это такой дом отдыха в Беркли, — туманно пояснила Альма.

— Приют для престарелых? — встревоженно уточнил Ларри.

— Более-менее. Я собираюсь прожить оставшиеся мне годы без осложнений и лишнего груза.

— Груза? Надеюсь, это не про нас?

— А что мы скажем людям? — вырвалось у Дорис.

— Скажите, что я старая и безумная, — отрезала свекровь.

Шофер перевез ее с котом и двумя чемоданами. Через неделю Альма обновила свои водительские права, которыми не пользовалась несколько десятилетий, и приобрела автомобиль «смайт» лимонного цвета, такой маленький и легкий, что однажды, когда автомобильчик стоял на улице, трое хулиганистых пацанов перевернули его вверх тормашками, точно черепаху. Причина, по которой Альма остановилась на этой машине, заключалась в пронзительном цвете, делавшем ее приметной для других водителей, и размере, который гарантировал, что если автолюбительница по нечаянности сойдет какого-нибудь пешехода, то не насмерть. Ее «смайт» выглядел как гибрид велосипеда и кресла-каталки.

— Я думаю, Ирина, что у бабушки серьезные проблемы со здоровьем, и вот она из гордости заперлась в Ларк-Хаус, чтобы никто об этом не узнал, — сказал Сет.

— Если бы все было так, она бы уже умерла. К тому же, Сет, в Ларк-Хаус никто не запирается. Это открытая община, где люди входят и выходят, когда им вздумается. Вот почему сюда не допускаются пациенты с альцгеймером, которые могут убежать и потеряться.

— Именно этого я и боюсь. Во время одной из таких вылазок с бабушкой что-то может случиться.

— Она всегда возвращается. Она знает, куда едет, и не думаю, что она ездит в одиночку.

— Но тогда с кем? С ухажером? Не думаешь же ты, что бабушка мотается по отелям с любовником? — пошутил Сет, но серьезное выражение лица Ирины оборвало его смех.

— Почему бы нет?

— Она уже старая!

— Все относительно. Она старая, но не дряхлая. В Ларк-Хаус Альма может считаться молодой. К тому же любовь приходит в любом возрасте. Ганс Фогт считает, что в старости влюбляться полезно: это хорошо для здоровья и помогает от депрессии.

— И как старики это делают? Я имею в виду, в постели? — спросил Сет.

— Полагаю, что не торопясь. Ты бы спросил свою бабушку, — ответила она.

Сету удалось превратить Ирину в союзницу, и они вместе принялись связывать концы с концами. Раз в неделю Альме доставляли коробку с тремя гардениями — посыльный оставлял ее на вахте. На коробке не было имени отправителя и названия цветочного магазина, однако Альма не выказывала ни удивления, ни любопытства. А еще на ее имя в Ларк-Хаус приходил желтый конверт: женщина выбрасывала его, достав оттуда конверт поменьше, тоже адресованный ей, но с написанным от руки адресом в Си-Клифф. Никто из семьи или прислуги Беласко таких конвертов не получал, никто не переправлял их в Ларк-Хаус. Близкие вообще не знали про письма, пока Сет не рассказал. Молодые люди не могли установить, кто посылает письма, почему каждый раз требуется два конверта и два адреса и чем вообще закончится эта странная переписка. Поскольку ни Ирина в Ларк-Хаус, ни Сет в Си-Клифф самих писем не обнаружили, они предположили, что Альма хранит их в банковском сейфе.

12 апреля 1996 года

Какой у нас был замечательный медовый месяц, Альма! Давно уже я не видел тебя такой счастливой и отдохнувшей. В Вашингтоне нас ждало незабываемое зрелище: 1700 вишневых деревьев в цвету. Я видел подобное в Киото, много лет назад. А та вишня в Си-Клифф, которую посадил мой отец, все еще цветет?

Ты гладила имена на темном камне Вьетнамского мемориала, ты сказала, что эти камни разговаривают, что можно расслышать их голоса, что в этой стене собраны мертвецы, возмущенные тем, что ими пожертвовали, — и они нас зовут. Я долго об этом думал. Альма, духи есть повсюду, но я полагаю, что они свободны и не таят злобы.

Ичи

ПОЛЬСКАЯ ДЕВОЧКА

Чтобы удовлетворить любопытство Ирины и Сета, Альма Беласко начала вспоминать — с той ясностью, с какой вспоминают ключевые моменты жизни, — свою первую встречу с Ичимеи Фукудой, а потом постепенно перешла и к другим событиям. Впервые она его увидела в чудесном саду поместья Си-Клифф, весной 1939 года. Она тогда была девочкой, которая ела меньше канарейки, днем ходила молчаливая, а по ночам рыдала, спрятавшись внутри шкафа с тройным зеркалом в комнате, которую обставили для нее дядя с тетей. То была настоящая симфония синего: синие шторы, синий балдахин над кроватью, бельгийский ковер, бумажные птички на стене и репродукции Ренуара в золоченых рамах; вид из окна, когда рассеивался туман, был голубым: море и небо. Альма Мендель плакала по всему, чего лишилась навсегда, хотя тетя с дядей пылко заверяли ее, что разлука с родителями и братом только временная, — не столь пронизательная девочка давно бы поверила. Последний образ, оставшийся от родителей, был такой: пожилой мужчина, бородатый и суровый, одетый в длинное черное пальто и черную шляпу, и женщина намного моложе его, заходящаяся плачем на пристани в Данциге, и оба машут белыми платками. Эти фигуры становились все более мелкими, размытыми по мере того, как корабль с жалостным воем уходил в сторону Лондона, а она, вцепившись в борт, ничем не могла помахать в ответ. Дрожащая от холода в дорожной одежде, зажата между других пассажиров, сгрудившихся на корме, чтобы видеть, как исчезает их страна, Альма старалась сохранять достоинство, как учили ее с самого рождения. Расстояние до родителей все увеличивалось, но девочка продолжала чувствовать их отчаяние и от этого укреплялась в предчувствии, что больше их не увидит. Отец вел себя необычно: обнял мать за плечи, как будто хотел помешать ей броситься в воду, а она одной рукой придерживала шляпку, защищая ее от ветра, и отчаянно размахивала платком, зажатым в другой.

Тремя месяцами раньше Альма стояла вместе с родителями на этой пристани и прощалась с братом Самуэлем, который был на десять лет старше. Мама пролила много слез, прежде чем смирилась с

решением мужа отправить Самуэля в Англию в качестве предосторожности на тот невероятный случай, если слухи о войне сделаются реальностью. В Англии мальчик будет в безопасности от призыва в армию и от ребяческой идеи записаться добровольцем. Мендели не могли вообразить, что два года спустя Самуэль в рядах Королевского воздушного флота будет сражаться против Германии. Глядя, как хорохорится брат, отправляясь в свое первое путешествие, Альма ощутила предвестье угрозы, нависшей над ее семьей. Брат был маяком ее жизни, он озарял ее светлые моменты, рассеивал страхи своим победным смехом, добрыми шутками и песнями под фортепиано. Он же, со своей стороны, восхищался Альмой с того самого дня, когда взял ее, новорожденную, на руки — розовый сверток, пахнувший тальком и мяукающий, как кот; и эта любовь ничуть не уменьшилась в следующие семь лет, пока им не пришлось расстаться. Узнав, что Самуэль ее покидает, Альма закатила единственную в жизни истерику. Девочка начала с плача и криков, потом в ход пошли хрипы и валяние на полу, а закончилось дело ванной с ледяной водой, в которую мать и воспитательница погрузили ее без всякой жалости. Отъезд юноши оставил Альму безутешной и надломленной: она подозревала, что это только пролог к более суровым переменам. Она услышала родительские разговоры о Лиллиан, маминой сестре, которая живет в Соединенных Штатах и замужем за Исааком Беласко, важным человеком — как всегда добавляли, произнося его имя. До этого момента девочка не знала о существовании этой далекой тети и этого важного человека и удивилась, что ее неожиданно обязали писать им почтовые открытки самым красивым почерком. А потом Альма почувствовала неладное, когда ее воспитательница включила в занятия по истории и географии Калифорнию, это оранжевое пятнышко на карте, на другой стороне земного шара. Родители дожидались окончания новогодних праздников, чтобы объявить, что она тоже какое-то время будет учиться за границей, но в отличие от брата останется внутри семьи, у дяди Исаака, тети Лиллиан и их детей, в Сан-Франциско.

Путь из Данцига в Лондон, а оттуда на трансатлантическом судне в Сан-Франциско длился шестнадцать дней. Мендели возложили на мисс Ханикомб, английскую воспитательницу, обязанность доставить Альму живой и невредимой в дом Беласко. Мисс Ханикомб была

женщина незамужняя, с подчеркнуто правильным произношением, выложенными манерами и кислой миной; она презрительно обращалась с теми, кого почитала ниже себя по социальной лестнице, и впадала в медоточивую услужливость с вышестоящими, но за полтора года работы у Менделей эта женщина завоевала их доверие. Она не нравилась никому, и Альме в особенности, однако мнение девочки не учитывалось при выборе наставниц и учителей, которые занимались ее домашним образованием в ранние годы. Родителям была нужна уверенность, что мисс Ханикомб будет выполнять поручение на совесть, поэтому они пообещали ей солидное вознаграждение, которое будет ей выдано в Сан-Франциско, как только девочка окажется у родственников. Мисс Ханикомб и Альма путешествовали в одной из лучших кают, сначала их одолевала морская болезнь, а потом — скука. У англичанки не клеились отношения с пассажирами первого класса, но она предпочла бы лучше выпрыгнуть за борт, нежели якшаться с людьми ее собственного социального уровня, и посему провела больше двух недель, не общаясь ни с кем, кроме своей юной воспитанницы. На корабле были и другие дети, но Альма не заинтересовалась ни одним из организованных для них развлечений и ни с кем не подружилась. Она пререкалась с воспитательницей, украдкой хныкала, потому что впервые оказалась в разлуке с матерью, читала сказки про фей и писала душераздирающие письма, которые вручала напрямую капитану, чтобы тот отнес их на почту в каком-нибудь порту: девочка боялась, что, если передать их мисс Ханикомб, они превратятся в корм для рыб. Единственным памятным событием этого долгого путешествия оказался проход через Панамский канал и праздник масок, когда индеец-апач столкнул в бассейн мисс Ханикомб, с помощью простыни превращенную в весталку.

Беласко — тетя, дядя и их дети — ждали Альму в толкотливом порту Сан-Франциско, где вокруг кораблей суеилось столько азиатских носильщиков, что мисс Ханикомб испугалась, что они по ошибке прибыли в Шанхай. Тетушка Лиллиан, одетая в шубку из серого каракуля и турецкий тюрбан, стиснула племянницу в удушающем объятии, а Исаак Беласко и шофер в это время собирали в одну кучу четырнадцать чемоданов и тюков, прибывших вместе с путешественницами. Двоюродные сестры, Марта и Сара,

приветствовали родственницу холодным поцелуем в щеку и тотчас забыли о ее существовании — не по злобе, а оттого, что они вошли в возраст невест и задача выйти замуж делала их слепыми ко всему остальному. Девушкам было непросто обрести желанных женихов, даже несмотря на деньги и престиж дома Беласко, потому что обе унаследовали нос от отца, а полноту от матери, однако им досталось очень мало от ума Исаака и обаяния Лиллиан. А похожий на цаплю братец Натаниэль, единственный отпрыск мужского пола, родившийся через шесть лет после Сары, еще только робко заглядывал в пору созревания. Он был бледный, тощий, длинный, не умел обходиться со своим телом (у которого вдруг обнаружилось слишком много локтей и коленок), зато с задумчивыми глазами большой собаки. Он протянул Альме руку, твердо глядя в землю, и процедил слова приветствия, как велели родители. Девочка уцепилась за эту руку, как за спасательный круг, и все попытки Натаниэля освободиться оказались тщетны.

Так началась жизнь Альмы в большом доме в Си-Клифф, где она в итоге проведет семьдесят лет с небольшими промежутками. В первые месяцы 1939 года она почти полностью исчерпала запасы своих слез, так что потом плакала всего несколько раз за всю жизнь. Альма выучилась перемалывать свои невзгоды в одиночку и с достоинством, полагая, что чужие проблемы никого не интересуют и что боль в конце концов растворяется в молчании. Она усвоила философские уроки своего отца, человека жестких неоспоримых принципов, который гордился тем, что сделал себя сам и никому ничего не должен, хотя это и было не совсем так. В упрощенном виде формула успеха, как Мендель еще с колыбели учил своих детей, состояла в том, чтобы никогда не жаловаться, ничего не просить, стремиться во всем быть первым и никому не доверять. Альме было суждено в течение десятилетий нести этот гигантский мешок с камнями, пока любовь не помогла ей избавиться от некоторых из них. От такого стоического поведения в ее облике чувствовалась некая загадочность — еще в детстве, много раньше, чем у нее появились тайны, которые следовало хранить.

Во время Великой депрессии Исааку Беласко удалось избежать последствий экономического краха и даже приумножить капитал. Пока его соседи лишались последнего, он работал по восемнадцать часов в

сутки в своей адвокатской конторе и вкладывался в авантюры, которые на тот момент представлялись крайне рискованными, однако с течением времени принесли внушительную прибыль. Исаак был человек сдержанный, скупой на слова, но с нежностью в сердце. По его мнению, такое мягкосердечие граничило со слабостью характера, поэтому он старался производить впечатление человека непререкаемого, но достаточно было побеседовать с ним пару раз, чтобы почувствовать его доброту. В конце концов репутация добряка стала мешать его адвокатской карьере. Когда Исаак Беласко был кандидатом на должность судьи в Верховном суде Калифорнии, он проиграл выборы, потому что конкуренты вменили ему в вину тенденцию к избыточному прощению в ущерб справедливости и общественным интересам.

Исаак принял Альму в свой дом из самых лучших побуждений, однако скоро ночной плач девочки начал действовать ему на нервы. То были непоказные, сдвоенные всхлипы, едва различимые сквозь толстые резные дверцы шкафа из красного дерева, но все равно они достигали его спальни на другом конце длинного коридора и отвлекали от чтения. Исаак полагал, что дети, как и животные, наделены естественной способностью к адаптации и что девочка скоро утешится от разлуки с родителями или же они сами переберутся в Америку. Он чувствовал, что не способен ей помочь: его сдерживала стыдливость во всем, что касалось женских дел. Если он не умел разобраться в поведении жены и дочерей, то как же мог он судить о поступках этой польской девочки, которой еще и восьми лет не исполнилось? В голове адвоката зародилось мистическое предположение, что слезы племянницы предвещают какую-то мировую катастрофу. В Европе еще не зажили шрамы Великой войны: свежа была память о земле, изувеченной траншеями, о миллионах убитых, вдов и сирот, о смраде разорванных снарядами лошадей, об убивающих газах, мухах и голоде. Никто не желал повторения подобной катастрофы, однако Гитлер уже аннексировал Австрию, контролировал часть Чехословакии, и его пламенные призывы к созданию империи высшей расы нельзя было взять и отместить как бред умалишенного. В конце января Гитлер заявил о намерении избавить мир от еврейской угрозы; евреев недостаточно было изгнать, их следовало уничтожить. Некоторые дети обладают особой психической

чувствительностью, и не исключено, что Альма увидела в своих снах нечто ужасное и заранее испытывала боль, размышлял Исаак Беласко. Чего ожидают его родственники, почему не уезжают из Польши? Он целый год безуспешно убеждал их поступить так же, как и другие евреи, которые бегут сейчас из Европы; Исаак предлагал им воспользоваться его гостеприимством, хотя у Менделей денег было достаточно и они не нуждались в его помощи. Барух Мендель отвечал, что неприкосновенность Польши гарантирована Великобританией и Францией. Он чувствовал себя в безопасности, под защитой своих денег и коммерческих связей; единственная уступка, которую он сделал под натиском нацистской пропаганды, была отправка детей за границу. Исаак Беласко не был знаком с Менделем, но по письмам и телеграммам было очевидно, что муж его свояченицы — человек столь же высокомерный и неприятный, сколь и упрямый.

Прошел почти месяц, прежде чем Исаак решился вмешаться в проблему с Альмой, и даже тогда не был готов действовать самостоятельно, поэтому переложил это женское дело на жену. Спальни супругов разделяла только одна незакрытая дверь, но Лиллиан была туга на ухо и перед сном принимала опийную настойку, так что она никогда не узнала бы о рыданиях в шкафу, если бы Исаак ей не рассказал. К тому времени мисс Ханикомб с ними уже не было: добравшись до Сан-Франциско, воспитательница получила обещанное вознаграждение и через две недели вернулась на родину, возмущенная грубостью манер, неразборчивым акцентом и демократизмом американцев, как заявила она, не подумав, что эти обвинения могут показаться оскорбительными чете Беласко — а эти благородные люди обращались с нею вполне уважительно. При этом, когда Лиллиан, прочитав письмо сестры, искала за подкладкой дорожного пальто Альмы бриллианты, которые Мендели зашили, скорее подчиняясь традиции, потому что великой ценности эти камни не представляли, — она ничего не нашла. Подозрение сразу пало на мисс Ханикомб, и Лиллиан предложила отправить по следу англичанки одного из сотрудников Исаака, но муж решил, что дело того не стоит. И мир, и семья в это время сотрясались достаточно, чтобы не отвлекаться на ловлю воспитательниц через моря и континенты; несколькими бриллиантами больше или меньше — в жизни Альмы это ничего бы не изменило.

— Мои подруги по бриджу рассказывали, что в Сан-Франциско есть замечательный детский психолог, — сообщила мужу Лиллиан, узнав, что происходит с ее племянницей.

— Что это такое? — спросил отец семейства, на секунду оторвавшись от газеты.

— Название говорит само за себя, Исаак, не прикидывайся дурачком.

— У кого-то из твоих подруг такой неуравновешенный ребенок, что его нужно водить к психологу?

— Совершенно верно, Исаак, но они ни за что на свете в этом не признаются.

— Детство — это изначально несчастный отрезок жизни, Лиллиан. Сказочку о том, что дети заслуживают счастья, придумал Уолт Дисней, чтобы хорошо заработать.

— Какой ты упрямый! Мы не можем допустить, чтобы Альма все время безутешно рыдала. Нужно что-то делать.

— Хорошо, Лиллиан. Мы прибегнем к этой крайней мере, если больше ничего не поможет. А сейчас дай-ка Альме несколько капель твоей микстуры.

— Право не знаю, Исаак, мне кажется, это палка о двух концах. Нехорошо превращать девочку в опиоманку в таком раннем возрасте.

Вот так они и обсуждали плюсы и минусы психологии и опия, а потом вдруг заметили, что шкаф уже три ночи пребывает в молчании. Супруги чутко прислушивались еще две ночи и убедились, что девочка необъяснимым образом успокоилась и не только спит, как все обычные люди, но еще и начала нормально питаться. Нет, Альма не забыла своих родителей и брата и все так же мечтала поскорее с ними соединиться, однако запас ее слез подходил к концу, а еще она смогла переключиться на зарождающуюся дружбу с двумя людьми, каждому из которых предстояло стать любовью всей ее жизни: с Натаниэлем Беласко и Ичимеи Фукудой. Первому недавно сравнялось тринадцать лет, и был он младшим из детей Беласко, а второй, которому, как и Альме, скоро исполнялось восемь, был младшим сыном садовника.

Девочки Беласко, Марта и Сара, всецело озабоченные модой, вечеринками и поиском женихов, жили в мире, столь отличном от мира Альмы, что, встречаясь с нею где-нибудь в усадьбе или на несчастных

общих ужинах в столовой, они сильно удивлялись и не могли припомнить, кто эта малявка и отчего она здесь находится. Зато Натаниэль никак не мог от нее отвязаться, потому что Альма прилипла к пареньку с самой первой встречи, решив, что застенчивый двоюродный брат должен занять место обожаемого ею Самуэля. Этот представитель рода Беласко был к ней ближе всех по возрасту, хотя их и разделяли пять лет, и доступнее всех из-за его мягкого, робкого характера. Девочка вызывала в Натаниэле смешанное чувство восторга и страха. Казалось, Альму вырезали с какого-то дагеротипа — с ее красивым британским акцентом, которому она выучилась у воровки-воспитательницы, и с ее серьезностью могильщика; она была жесткая и угловатая, как доска, пахла нафталином из дорожных саквояжей, на лоб ей падала дерзкая белая челка, хотя, вообще-то, волосы у нее были черные, а кожа оливкового цвета. Поначалу Натаниэль пытался убежать, но ничто не могло остановить неуклюжего дружеского натиска Альмы, и паренек в конце концов уступил, потому что унаследовал доброе сердце своего отца. Он почувствовал молчаливую боль двоюродной сестры, которую она скрывала за гордостью, под разными предлогами уклоняясь от помощи. Альма была еще девчонка, их объединяло только неблизкое кровное родство, в Сан-Франциско она жила временно, и затевать с нею дружбу было бы пустым расточительством чувств. Когда миновали три недели и не было никаких признаков, что визит двоюродной сестры подходит к концу, запас предлогов у Натаниэля истощился и он спросил у Лиллиан, не думает ли она удочерить девочку. «Надеюсь, до этого не дойдет», — вздрогнув, ответила мать. Новости из Европы приходили зловещие, и возможное сиротство девочки принимало в ее голове вполне зримые очертания. По тону этого ответа Натаниэль понял, что Альма остается на неопределенное время, и поддался инстинкту любви. Парнишка спал в другом крыле дома, и никто ему не рассказывал про плач в шкафу, но он каким-то образом об этом узнал и по ночам на цыпочках пробирался в спальню к девочке, чтобы составить ей компанию.

Именно Натаниэль познакомил Альму с отцом и сыном Фукуда. Девочка видела этих людей через окно, но не выходила в сад до начала весны. Потом погода улучшилась, и однажды Натаниэль завязал сестре глаза, пообещав сюрприз, и за руку провел через кухню и прачечную в сад. Когда он снял повязку, Альма увидела, что стоит под большой

цветущей вишней, точно в облаке розовой ваты. Рядом с деревом, опершись на лопату, стоял мужчина в рабочем комбинезоне и соломенной шляпе, с азиатскими чертами лица и смуглой кожей, невысокий и широкоплечий. На малопонятном дребезжащем английском он сообщил Альме, что этот момент прекрасен, но продлится всего несколько дней, а скоро цветы дождем осыплются на землю, до следующей весны. Этот человек был Такао Фукуда, японский садовник, трудившийся в усадьбе уже много лет, и он был единственный, перед кем Исаак Беласко в знак уважения снимал шляпу.

Натаниэль вернулся домой, оставив сестру в компании Такао, и японец показал ей весь сад. Он провел ее по террасам, ступеньками устроенным на склоне, от вершины холма, где стоял дом, до самого пляжа. Они прошли по узким дорожкам, и на их пути то и дело встречались позеленевшие от сырости копии античных статуй, фонтаны, деревья редких пород и влагостойкие растения; Такао рассказывал, откуда они происходят и какого ухода требуют, а потом они добрались до беседки, увитой розами, откуда открывался прекрасный вид на море: по левую руку вход в бухту, а по правую — мост Золотые Ворота, построенный несколько лет назад^[5]. Можно было разглядеть колонии морских львов, отдыхающих на скалах, а при большом терпении и удаче — китих, которые приплывали в калифорнийские воды с севера, чтобы рожать. Потом Такао отвел девочку в теплицу, миниатюрную Копию вокзала Викторианской эпохи, из чугуна и стекла. Внутри, под рассеянным освещением, во влажном тепле, которое поддерживалось системой отопления и распылителями воды, нежные растения накапливали силы в ящиках, на каждом из которых была карточка с названием и дата будущей пересадки. Между двух длинных столов из грубого дерева Альма разглядела мальчика, сосредоточенно подрезавшего росток мастикового дерева. Услышав, что кто-то вошел, мальчик бросил ножницы и застыл по стойке смирно. Такао подошел ближе, прошептал что-то на непонятном для Альмы языке и взъерошил мальчику волосы. «Это мой младший сын», — сказал он. Альма, не стесняясь, разглядывала отца и сына, точно представителей другого биологического вида; они не походили на азиатов с иллюстраций энциклопедии «Британника».

Паренек приветствовал ее, согнувшись всем туловищем, а головы не поднял и потом.

— Я Ичимеи, четвертый ребенок Такао и Хейдеко Фукуда, польщен знакомством с вами, госпожа.

— Я Альма, племянница Исаака и Лиллиан Беласко, польщена знакомством с вами, господин, — отозвалась она растерянно и радостно.

Эта первоначальная официозность, которую любовь потом окрасит юмором, определила главную тональность их долгих отношений. Альма, более высокая и мощная, выглядела старше. Щуплость Ичимеи была обманчива: он без усилия поднимал с земли тяжелые мешки и возил вверх по склону нагруженную тачку. У мальчика была большая по сравнению с телом голова, кожа цвета меда, широко расставленные черные глаза и жесткие непокорные волосы. У него еще не сменились молочные зубы, а при улыбке глаза превращались в две полоски.

Остаток утра Альма ходила за Ичимеи, а он высаживал растения в ямки, выкопанные отцом, и открывал ей тайную жизнь сада: переплетенных под землей усов, корней, почти невидимых насекомых, крохотных ростков, которые через неделю станут уже высотой с ладонь. Он рассказывал о хризантемах, которые в это время доставал из теплицы, о том, как их пересаживают весной и как они расцветают в начале осени, раскрашивая и радуя сад, когда все летние цветы уже засохли. Он показывал розовые кусты, которые задыхались от бутонов, и объяснял, что почти все бутоны нужно будет удалить, оставив лишь несколько, чтобы розы росли большими и здоровыми. Он научил девочку различать луковичные растения от семенных, те, что любят солнце, от тех, что любят тень, привезенные издалека от местных уроженцев. Такао Фукуда, краем глаза все время наблюдавший за детьми, подошел поближе и сказал, что Ичимеи занимается самой деликатной работой, потому что родился с зелеными пальцами. Мальчик покраснел от такой похвалы.

Начиная с этого дня Альма с нетерпением ждала садовников, которые пунктуально появлялись в усадьбе в конце каждой недели. Такао Фукуда всегда брал с собой Ичимеи, а иногда, если работы было больше, приводил и старших сыновей, Чарльза и Джеймса, или Мегуми, свою единственную дочь, которая была на несколько лет

старше Ичимеи, — она интересовалась только наукой, и пачкать руки в земле не доставляло ей никакого удовольствия. Терпеливый, дисциплинированный Ичимеи выполнял свои обязанности, не отвлекаясь на присутствие Альмы, потому что был уверен, что в конце дня отец предоставит ему свободные полчаса, чтобы поиграть с девочкой.

АЛЬМА, НАТАНИЭЛЬ И ИЧИМЕИ

Дом в Си-Клифф был такой большой, а обитатели его так заняты, что детские игры никого не интересовали. Если кто-то и обращал внимание, что Натаниэль проводит долгие часы с маленькой девочкой, это любопытство быстро проходило, уступая место более насущным делам. Альма подавила свой невеликий интерес к куклам и научилась играть в скрэбл с помощью словаря и в шахматы с помощью одной только решимости, поскольку стратегическое мышление никогда не было ее сильным местом. Натаниэль, со своей стороны, понял, что ему скучно собирать марки и жить в скаутских палатках. Они вместе готовили спектакли по пьесам, которые сочинял Натаниэль, и моментально ставили их на чердаке. Отсутствие публики им совершенно не мешало, потому что процесс был куда увлекательнее результата и артисты не гнались за аплодисментами; удовольствие состояло в обсуждении сценария и репетициях. Старая одежда, негодные занавески, ломаная мебель и прочая рухлядь на разных стадиях ветхости — вот что служило материалом для создания костюмов, декораций и спецэффектов; прочее дополнялось воображением. Ичимеи, приходивший в дом Беласко без приглашения, тоже входил в театральную труппу — на вторых ролях, потому что актер из него был никудышный. Мальчик компенсировал нехватку таланта своей феноменальной памятью и способностями рисовальщика: он мог без запинки декламировать длиннющие монологи, навеянные любимыми романами Натаниэля — от «Дракулы» до «Графа Монте-Кристо», а еще ему поручали расписывать занавес. Но их товарищество, с помощью которого Альме удалось справиться с чувством сиротства и потерянности, просуществовало недолго.

На следующий год Натаниэль поступил в колледж для мальчиков, устроенный по британскому образцу. И жизнь его в одночасье переменилась. Он не только переделся в длинные брюки, но и столкнулся с безграничной жестокостью подростков, которые учились быть мужчинами. Натаниэль не был к этому готов: он выглядел как десятилетний мальчуган (хотя ему исполнилось четырнадцать, он еще

не подвергся гормональной бомбардировке), вел себя как робкий интроверт и, к несчастью, увлекался чтением и был безнадёжен в отношении спорта. Натаниэлю были недоступны бахвальство, жестокость и сквернословие, привычные для его соучеников: он не был таким по натуре, но безуспешно пытался притворяться, и пот его был пропитан страхом. В первую среду Натаниэль вернулся домой с подбитым глазом и в рубашке, закапанной кровью из носа. Он отказался отвечать на расспросы матери, а Альме сказал, что ударился о древко знамени. В ту ночь мальчик описался в постели, впервые за много лет. От стыда он затолкал мокрые простыни в каминную трубу; их обнаружили только в конце сентября, когда затопили камин и комната наполнилась дымом. Объяснения пропажи постельного белья Лиллиан тоже не добились, но догадалась о причине и решила принять решительные меры. Она пошла к директору школы, рыжеволосому шотландцу с носом пьяницы, — он принял ее за штабным столом в кабинете с темными деревянными панелями, под портретом короля Георга Шестого. Рыжий объявил Лиллиан, что насилие в разумных пределах считается основным элементом педагогики в их школе, поэтому здесь практикуются контактные виды спорта, ссоры учеников разрешаются на ринге в боксерских перчатках, а нарушение дисциплины исправляется поркой по заднему месту, которую осуществляет лично директор. Мужчин следует ковать. Так было всегда, и чем быстрее Натаниэль Беласко научится внушать к себе уважение, тем для него же будет лучше. Директор добавил, что заступничество Лиллиан выставляет ее сына в смешном свете, однако, поскольку речь идет о новом ученике, он в порядке исключения забудет об этом случае. Лиллиан фыркнула и отправилась в контору мужа на улице Монтгомери; она ворвалась к Исааку для серьезного разговора, но не нашла поддержки и у него.

— Не вмешивайся, Лиллиан. Все мальчики проходят через такие обряды инициации и почти все выживают, — сказал Исаак.

— Тебя тоже били?

— Конечно. И, как видишь, результат совсем не плох.

Четыре года в колледже стали бы для Натаниэля невыносимой мукой, если бы он не нашел поддержку там, где меньше всего мог ожидать: в субботу, увидев царапины и синяки, Ичимей отвел его к садовой беседке и продемонстрировал возможности боевых искусств,

которые изучал с тех пор, как начал стоять на ногах. Японец дал Натаниэлю лопату и велел противнику раскроить ему голову. Натаниэль подумал, что это шутка, и поднял лопату на манер зонтика. Потребовалось несколько попыток, прежде чем он уразумел инструкции и напал на Ичimei всерьез. Он сам не понял, как остался без лопаты, а еще через секунду взлетел на воздух и приземлился на итальянские перила беседки под изумленные восклицания стоявшей рядом Альмы. Так Натаниэль узнал, что миролюбивый Такао Фукуда обучает своих сыновей и других мальчиков из японской диаспоры гибриду дзюдо и карате в съемном гараже на улице Пайн. Он рассказал об этом отцу, который что-то слышал о таких единоборствах, начинавших приобретать известность в Калифорнии. Исаак Беласко отправился на улицу Пайн, не сильно надеясь, что Фукуда сумеет помочь его сыну, однако садовник объяснил, что красота боевых искусств именно в том и состоит, что здесь требуется не физическая сила, а концентрация и ловкость в использовании веса и натиска противника. И тогда Натаниэль приступил к занятиям. Трижды в неделю по вечерам шофер привозил его к гаражу, где юноша сначала боролся с Ичimei и другими малышами, а потом с Чарльзом, Джеймсом и ребятами постарше. Несколько месяцев у Натаниэля ныли все кости, прежде чем он научился падать без вреда для себя. Он перестал бояться драк. Юноша так и не поднялся выше уровня новичка, однако и это было больше, чем умели парни в его школе. Скоро они перестали его избивать, потому что того, кто приближался к Натаниэлю с недобрый лицом, он отпугивал четырьмя гортанными выкриками и избыточно хореографичными стойками. Исаак Беласко никогда не спрашивал, есть ли польза от этих упражнений, так же как прежде притворялся, что ничего не знает об избииении сына, но кое-что он, кажется, разузнал, потому что в один прекрасный день приехал на улицу Пайн на грузовике с четырьмя рабочими, чтобы положить в гараже деревянный пол. Такао Фукуда долго и вежливо кланялся, но тоже не упомянул про его сына.

Учеба Натаниэля положила конец театральным постановкам на чердаке. Помимо уроков и усилий, уходивших на самооборону, юношу одолевали метафизические раздумья и странная озабоченность, которую мать пыталась излечить ложками масла из печени трески. Времени едва хватало на несколько партий в скрэбл и шахматы, если

Альме удавалось перехватить Натаниэля на лету, прежде чем он заперся в своей комнате и начинал терзать гитару. Парень открывал для себя джаз и блюз, но презирал модную музыку, потому что боялся окаменеть на танцплощадке, где сразу стало бы очевидно отсутствие у него чувства ритма (фамильная черта всех Беласко). Он наблюдал со смесью сарказма и зависти за представлениями в стиле линди-хоп^[6], которые Альма с Ичимеи устраивали, пытаясь его развлечь. У детей имелись две заезженные пластинки и граммофон, который Лиллиан списала за непригодностью, Альма спасла из мусорного бака, а Ичимеи разобрал и заново собрал при помощи своих искусных зеленых пальцев и терпеливой интуиции.

Школа, которая так несчастливо началась для Натаниэля, была для него пыткой и в последующие годы. Товарищи больше не охотились на него, чтобы отлупить, но подвергли четырем годам насмешек и изоляции: ему не прощали интеллектуального любопытства, хороших оценок и физической неуклюжести: он так и не избавился от ощущения, что родился не в том месте и не в то время. Ему приходилось участвовать в спортивных состязаниях, ведь это ключевой камень английского образования, и парень раз за разом страдал от унижения, когда прибегал к финишу последним или когда никто не хотел его брать в свою команду. В пятнадцать лет Натаниэль начал стремительно расти, родителям приходилось покупать ему новые туфли и удлинять брюки каждые два месяца. Недавно он был самым маленьким в классе и вот уже оказался в середине; росли ноги, росли руки, рос нос, под рубашкой проступали ребра, а кадык на тощей шее выглядел как опухоль, так что он до самого лета ходил с шарфом. Юноша ненавидел свой профиль оципанного стервятника и старался занимать место в углу, чтобы на него смотрели анфас. Он уберегся от угрей на лице, одолевавших его врагов, но не от комплексов, свойственных этому возрасту. Натаниэль не мог поверить, что меньше чем через три года тело его обретет нормальные пропорции, черты лица придут в порядок и он станет настоящим красавцем из романтического фильма. Он чувствовал себя уродливым, несчастным и одиноким, в голове крутились мысли о самоубийстве, как признался он Альме в один из моментов крайнего недовольства собой. «Это было бы расточительно, Нат. Лучше закончи школу,

выучись на врача и отправляйся в Индию лечить прокаженных. А я поеду с тобой», — ответила Альма не слишком сочувственно, потому что по сравнению с положением ее семьи экзистенциальные проблемы двоюродного брата выглядели смехотворно.

Разница в возрасте между ними почти не чувствовалась, поскольку Альма развивалась быстро, а любовь к одиночеству делала ее еще взрослее. Мучения Натаниэля в круге его отрочества казались вечными, а Альма в это время прибавляла в серьезности, а также в стойкости, привитой ей отцом и лелеемой как ценнейшая из добродетелей. Она чувствовала себя покинутой двоюродным братом и жизнью. Она хорошо понимала, как растет в Натаниэле отвращение к самому себе, потому что такое отвращение затронуло и ее, но, в отличие от брата, Альма не позволяла себе растравлять боль, вглядываясь в зеркало в поисках недостатков или жалуясь на судьбу. Ее одолевали другие заботы.

В Европе война разразилась как апокалипсический ураган, а она наблюдала эти события только в размытых черно-белых новостях в кино: сцены, выхваченные из сражений; солдатские лица, покрытые несмываемым нагаром пороха и смерти; самолеты, поливающие землю бомбами, полет которых был зловеще-грациозен; дымные всполохи взрывов; ревушие толпы в Германии, прославляющие Гитлера. Девочка уже плохо помнила свою страну, дом, где она выросла, и язык своего детства, но семья всегда продолжала жить в ее тоске. Альма держала на ночном столике портрет брата и последнюю фотографию родителей на пристани в Данциге, и она целовала их на ночь. Образы войны преследовали ее днем, приходили во сне, и она не имела права вести себя как малышка, каковой на самом деле и была. Когда Натаниэль поддался самообману, считая себя непризнанным гением, Ичимеи сделался ее единственным наперсником. Мальчик не сильно подрос, и теперь Альма была выше его на полголовы, но в Ичимеи была мудрость, и он всегда находил, чем отвлечь подругу, когда ее осаждали кошмарные видения войны. Ичимеи каждый раз выдумывал способ, чтобы добраться до Си-Клифф: на трамвае, на велосипеде или на садовом грузовичке, если отец или братья соглашались взять его с собой; обратно Лиллиан отправляла его со своим шофером. Если два-три дня проходили без встречи, дети ночью прокрадывались к телефону и разговаривали шепотом. Даже самые банальные реплики в

этих потайных беседах приобретали многозначительную глубину. Детям не приходило в голову попросить разрешения позвонить: они полагали, что телефон от использования изнашивается и, следовательно, для маленьких не предназначен.

Беласко внимательно следили за новостями из Европы, которые становились все более непонятными и тревожными. В оккупированной немцами Варшаве четыреста тысяч евреев стеснили в гетто площадью в три с половиной квадратных километра. Самуэль Мендель прислал из Лондона телеграмму, из которой Беласко узнали, что родители Альмы попали в гетто. Деньги Менделям не помогли; в первые же дни оккупации Польши они лишились и собственности, и доступа к швейцарским счетам, им пришлось покинуть семейный особняк, конфискованный и превращенный в администрацию для нацистов и их приспешников, а прежним владельцам досталась та же неопишуемая нищета, что и прочим обитателям гетто. И тогда Мендели поняли, что у них нет ни единого друга среди собственного народа. И это было все, что удалось выяснить Исааку Беласко. Связаться с Менделями не было никакой возможности, и все попытки их вызволить не принесли результатов. Исаак воспользовался своими связями с влиятельными политиками, включая двух сенаторов из Вашингтона и военного министра, вместе с которым учился в Гарварде, но ему ответили неясными обещаниями, которые не были исполнены, потому что этих людей волновали куда более важные дела, чем спасательная экспедиция в варшавский ад. Американцы наблюдали за событиями скорее выжидательно: они все еще надеялись, что эта война по другую сторону Атлантики их не затронет, хотя правительство Рузвельта вело хитроумную пропаганду среди населения, настраивая людей против немцев. За высокой стеной варшавского гетто евреи жили на последнем пределе голода и страха. Ходили слухи о массовой депортации, о мужчинах, женщинах и детях, которых загоняют в грузовые поезда, исчезающие в ночи, о том, что нацисты хотят истребить всех евреев и другие нежелательные элементы, о газовых камерах, печах крематория и о других ужасах, которые невозможно было подтвердить, так что американцам в них не верилось.

ИРИНА БАСИЛИ

В 2013 году Ирина Басили в одиночку отметила трехлетний юбилей своей работы с Альмой Беласко — тремя пирожными с кремом и двумя чашками горячего какао. К этому времени она уже хорошо узнала Альму, хотя в жизни этой женщины были тайны, в которые не проникли ни она, ни Сет — отчасти потому, что не задавались всерьез такой задачей. Ирина работала с бумагами хозяйки, и ей постепенно открывались члены семейства Беласко. Так она познакомилась с Исааком, с его суровым орлиным носом и добродушными глазами; с Лиллиан — невысокой, пышногрудой и миловидной; с ее дочерьми Сарой и Мартой — некрасивыми и очень элегантно одетыми; с Натаниэлем в ранние годы — тощим юнцом неприкаянного вида; с Натаниэлем другой эпохи — стройным красавцем; и в конце концов — с ним же, изрезанным зубилом жестокой болезни. Ирина увидела Альму, только что приехавшую в Америку; увидела двадцатидесятилетнюю девушку в Бостоне, где та изучала искусства, в черном берете и шпионском плаще — этот мужской стиль Альма взяла на вооружение, избавившись от барахла Лиллиан, которое ей никогда не нравилось; увидела Альму — мать, сидящую в садовой беседке Си-Клифф с трехмесячным Ларри на руках, муж стоит за спиной; Натаниэль положил ей руку на плечо, как на портретах коронованных особ. В Альме с детства угадывалась та женщина, которой она станет потом: статная, с белой прядью, губы чуть искривлены, взгляд неласковый. Ирине нужно было разместить фотографии в альбомах в хронологическом порядке, по указаниям Альмы, которая не всегда помнила, где и когда они были сделаны. Кроме снимка Ичимеи Фукуды, в ее квартире была всего одна фотография в рамке: семья в гостиной особняка Си-Клифф на пятидесятилетием юбилее Альмы. Мужчины в смокингах, дамы в вечерних нарядах, Альма — в простом черном платье, величавая, точно вдовствующая императрица, а ее невестка Дорис — бледная и усталая, в сером шелковом платье со складками спереди, чтобы скрыть вторую беременность: она ждет дочь, Полин. Сету полтора года, он

стоит, одной рукой держась за бабушкин подол, другой — за ухо кокер-спаниеля.

Когда Альма и Ирина были вместе, их можно было принять за тетушку и племянницу. Они притерлись друг к другу и теперь могли часами находиться в ограниченном пространстве квартиры, не разговаривая и не переглядываясь, занимаясь своими делами. Они стали друг другу необходимы. Ирина, пользуясь доверием и поддержкой хозяйки, чувствовала себя в Ларк-Хаус на особом положении, а Альма была ей благодарна за преданность. Интерес Ирины к ее прошлому льстил Альме. Она зависела от девушки в практических вопросах и в своем желании сохранять независимость. Сет рекомендовал бабушке, когда ей понадобится уход, вернуться в семейный дом в Си-Клифф или нанять постоянную сиделку — денег на нее хватало с избытком. Альме должно было исполниться восемьдесят два года, и она планировала прожить еще десять без такой помощи и чтобы никто не имел права решать за нее.

— У меня тоже был страх попасть в зависимость, Альма, но потом я поняла, что это не так плохо. К этому привыкаешь, появляется благодарность за помощь. Я не могу в одиночку ни одеться, ни душ принять, мне трудно почистить зубы и разрезать курицу на тарелке, но я никогда не была такой довольной, как сейчас, — сказала Кэтрин Хоуп, которой удалось подружиться с Альмой.

— Почему, Кэти?

— Потому что у меня сейчас куча времени и впервые в жизни никто от меня ничего не ждет. Мне не нужно ничего доказывать, я никуда не несусь, каждый день — это подарок, и я его по-настоящему ценю.

Кэтрин Хоуп пребывала в этом мире только благодаря своей железной воле и чудесам хирургии, она знала, что означает лишиться подвижности и жить с постоянной болью. Зависимость от других пришла к ней не постепенно, как это обычно случается, а в одночасье, после одного неверного шага. Кэти упала при подъеме на горную вершину и застряла между двумя камнями, покалечив обе ноги и таз. Операция по ее спасению была героическая, ее от начала до конца транслировали по телевидению, снимали прямо с воздуха. Вертолет пригодился, чтобы запечатлеть исполненные драматизма сцены, однако не смог приблизиться к глубокой расщелине, где Кэти лежала в

шоке, с сильным кровотечением. Спустя ночь и день двум отчаянным альпинистам удалось, подобраться к женщине, что едва не стоило жизни им самим; наверх ее поднимали на ремнях. Кэтрин доставили в специализированный военный госпиталь, и хирурги принялись соединять ее переломанные кости. Женщина вышла из комы через два месяца, спросила про свою дочь и сказала, что счастлива остаться в живых. В тот же день далай-лама прислал ей из Индии белый шарф *хата* со своим благословением. После четырнадцати жестоких операций и нескольких лет восстановления Кэти была вынуждена признать, что больше не сможет ходить. «Моя первая жизнь закончилась, теперь начинается вторая. Может статься, ты увидишь меня подавленной или обессиленной, но не обращай внимания: это пройдет», — сказала она дочери. Дзен-буддизм и многолетняя привычка к медитации в этих обстоятельствах явились для Кэти большим подспорьем, потому что она приняла свою неподвижность, которая свела бы с ума любого другого энергичного и спортивного человека, а еще она сумела справиться с потерей спутника жизни, который оказался не таким стойким перед лицом трагедии и бросил жену. К тому же Кэти открыла, что и теперь может заниматься медициной — в качестве хирурга-консультанта, находясь в кабинете с телекамерами, транслирующими кадры из операционной; но ей-то хотелось работать с пациентами вживую, как она делала всю жизнь. Когда Кэтрин принимала решение переехать во второй уровень Ларк-Хаус, она пообщалась с людьми, которым предстояло сделаться ее новой семьей, и поняла, что здесь у нее найдется поле для работы. В первую неделю после поступления у нее уже появились планы по обустройству бесплатной клиники для пациентов с хроническими заболеваниями и консультаций для лечения более легких недугов. В Ларк-Хаус были приходящие доктора; Кэтрин Хоуп убедила их, что думает не о конкуренции, а о взаимодополнении. Ганс Фогт предоставил комнату для клиники и предложил совету директоров выплачивать Кэтрин жалование, однако пациентка предпочла, чтобы деньги вычитали из ее месячной платы за проживание, и такой договор устроил обе стороны. Вскоре Кэти, как ее все здесь называли, превратилась в мать, которая привечает вновь прибывших, внимает признаниям, утешает скорбящих, провожает умирающих и распределяет марихуану. Рецепты на ее употребление имелись у

половины пациентов, и Кэти, ведавшая запасами травки в своей клинике, всегда была щедра с теми, у кого не было ни рецепта, ни денег для возжеленной покупки; нередко у ее дверей выстраивалась очередь желающих заполучить марихуану в разных обличьях, даже в виде сладких печенюшек и карамелек. Ганс Фогт не вмешивался — зачем лишать людей безвредного облегчения? — только требовал не курить в коридорах и общих помещениях, поскольку если курение табака находилось под запретом, то было бы несправедливо не поступить так же и с марихуаной; но дымок все равно просачивался через решетки вентиляции и кондиционеры, и порой домашние питомцы бродили по пансиону как-то расхлябанно.

В Ларк-Хаус Ирина впервые за четырнадцать лет чувствовала себя уверенно. С самого переезда в Штаты она ни в одном месте так надолго не задерживалась; девушка знала, что спокойная жизнь долго не продлится, и наслаждалась передышкой. Это не была идиллия, однако в сравнении с прошлыми проблемами нынешними можно было пренебречь. Пришло время удалять зубы мудрости, а ее страховка не покрывала услуги дантиста. Ирина знала, что Сет Беласко в нее влюблен, и все сложнее становилось удерживать его в рамках приличия, не теряя его драгоценной дружбы. Ганс Фогт, всегда любезный и спокойный, в последние месяцы сделался таким вспыльчивым, что некоторые постояльцы уже втайне обсуждали, как бы от него избавиться и при этом не обидеть; Кэтрин Хоуп полагала, что нужно дать директору время, и с ее мнением пока считались. Фогт дважды обращался к врачам по поводу геморроя — оба раза с неутешительными результатами, что сильно испортило ему характер. А самой насущной заботой Ирины было нашествие мышей на дом в Беркли, где она жила. Девушка слышала, как они скребутся между ветхих стен и под паркетом. Другие жильцы под предводительством Тима решили расставлять мышеловки, потому что травить зверьков им казалось негуманно. Ирина возражала, что мышеловки тоже жестоки, при том отягчающем обстоятельстве, что кому-то придется вытаскивать трупы, но ее не послушали. Маленький мышонок выжил в ловушке, его обнаружил Тим и, сжалившись, отнес Ирине. Этот парень был из тех, кто питается зеленью и орехами, потому что не хочет причинять вред животным и считает злодейством

употребление их мяса в пищу. Ирине пришлось забинтовать мышонку лапку, посадить в ящик с ватой и заботиться, пока он не оправился от испуга, не смог ходить и не вернулся к своим.

В Ларк-Хаус были обязанности, которые Ирину раздражали: бюрократическое общение со страховыми компаниями, войны с родственниками постояльцев, предъявляющими претензии из-за ерунды, чтобы облегчить собственные угрызения совести, и обязательные компьютерные курсы — как только девушка чему-то обучалась, происходил очередной технологический скачок и она снова оставалась позади. На своих подопечных она пожаловаться не могла. Как и обещала Кэти в первый день, скучать Ирине не приходилось. «Между стариком и пожилым есть разница, — объясняла Кэти. — И дело тут не в возрасте, а в физическом и душевном здоровье. Старики способны жить независимо, а вот пожилым необходимы помощь и надзор до тех пор, пока они не станут как дети». Ирина училась многому и у стариков, и у пожилых — почти все «пожилые» были люди сентиментальные, забавные, не боящиеся показаться смешными; девушка смеялась вместе с ними, а порой и плакала по ним. Почти все они прожили или придумали себе интересную жизнь. Если они казались потерянными — то это в основном оттого, что плохо слышали. Ирина всегда следила за тем, чтобы вовремя заменять батарейки в слуховых аппаратах. «Что самое плохое в старости?» — спрашивала она. Они отвечали, что не думают о возрасте: когда-то они были подростками, потом им исполнялось тридцать, пятьдесят, семьдесят и они относились к этим датам бездумно — так зачем же задумываться теперь? Возможности некоторых были сильно ограничены, им сложно было ходить и двигаться, но они никуда и не собирались. Другие были рассеянны, беспамятны и все путали, но это куда больше беспокоило сиделок и родственников, нежели их самих. Кэтрин Хоуп добивалась, чтобы клиенты второго и третьего уровня жили активно, и в обязанности Ирины входило их заинтересовывать, развлекать и объединять. «В любом возрасте важно иметь жизненную цель. Это лучшее лекарство от многих печалей», — утверждала Кэти. В ее случае цель всегда заключалась в помощи другим, и она не изменилась и после падения со скалы.

По пятницам с утра Ирина сопровождала самых неумных постояльцев на уличные акции протеста и следила, чтобы дело не

дошло до рукоприкладства: девушка также участвовала в собраниях борцов за правое дело и посещала клуб вязальщиц: все женщины, способные держать в руках спицы (за исключением Альмы Беласко), вязали жилетки для сирийских беженцев. Самой животрепещущей темой оставался мир: можно было рассуждать о чем угодно, только не о мире. В Ларк-Хаус собрались двести сорок четыре разочарованных демократа: они проголосовали за переизбрание Барака Обамы, но осуждали президента за нерешительность, за то, что он не закрыл тюрьму в Гуантанамо, за высылку латиноамериканских эмигрантов, за дронов... в общем, у них хватало причин для составления писем и президенту, и в конгресс. Полдюжины республиканцев Ларк-Хаус опасались возражать в полный голос. Ирина также отвечала за возможность отправлять религиозные культы. Многие постояльцы, воспитанные в религиозном духе, находили прибежище в вере, пусть даже в течение семидесяти лет они и отрекались от Бога; другие же искали утешения в эзотерических и психологических изводах Эры Водолея^[7]. Ирина последовательно снабжала таких людей пособиями и учебниками по трансцендентальной медитации, белой магии, И Цзин^[8], развитию интуиции, каббале, мистическому таро, анимизму, реинкарнации, психической восприимчивости, универсальной энергии и внеземной жизни. Ирина отвечала за проведение религиозных праздников — это было попури из ритуалов разных верований, чтобы никто не чувствовал себя обделенным. В летнее солнцестояние она отправлялась с группой старушек в близлежащий лес, и они водили хороводы под звуки бубнов, голые, в разноцветных венках. Лесники их уже знали и не отказывались сфотографировать, как старушки обнимают деревья, общаясь с Геей — матерью-землей — и со своими покойниками. Ирина перестала внутренне над ними посмеиваться, когда услышала своих бабушку с дедушкой в стволе секвойи, одного из тех тысячелетних гигантов, что соединяют наш мир с миром духов, как объяснили ей восьмидесятилетние плясуньи. Костеа и Петрута при жизни не были большими говорунами, внутри секвойи они тоже не сделались болтливые, но и того немногого, что они сообщили своей внучке, хватило, чтобы девушка убедилась: они ее хранят. Перед зимним солнцестоянием Ирина раздумывала, как провести ритуал под крышей, потому что Кэти предупреждала; что если выйти в лесную сырость и ветродуй, то пневмонии не избежать.

Зарплаты в Ларк-Хаус обычному человеку едва хватало бы, чтобы сводить концы с концами, но запросы Ирины были столь скромны, а расходы столь умеренны, что у нее иногда оставались деньги. Доходы от мытья собак и от секретарства при Альме, которая всегда изыскивала причины, чтобы заплатить ей побольше, помогали Ирине чувствовать себя богатой. Ларк-Хаус превратился в ее дом, а постояльцы, с которыми она виделась ежедневно, заняли место бабушки с дедушкой. Эти медленные, неуклюжие, взбалмошные малосильные старики были такие трогательные... Она всегда была готова решать их проблемы, ей не портила настроение необходимость тысячу раз отвечать на один и тот же вопрос, ей нравилось катить инвалидное кресло, подбадривать, помогать, утешать... Она научилась перенаправлять жестокие порывы, которые иногда налетали на этих стариков, словно кратковременные бури, и ее не пугали ни скопидомство, ни мания преследования, которыми кое-кто страдал от одиночества. Девушка пыталась постичь, что означает влачить на плечах зиму, не доверять своему следующему шагу, путать слова, потому что их плохо слышно, жить с ощущением, что остальная часть человечества все делает впопыхах и говорит слишком быстро; понять, что такое хрупкость, усталость и безразличие ко всему, что не касается тебя лично, включая детей и внуков, чье отсутствие уже не тяготит так, как раньше, и приходится делать усилие, чтобы про них помнить. Ирина ощущала нежность к морщинам, узловатым пальцам и плохому зрению. Она воображала саму себя пожилой, старой.

Альма Беласко к этим категориям не относилась: ее не нужно было опекать — наоборот, Ирина сама себя чувствовала опекаемой и была благодарна за предоставленную ей роль беззащитной племянницы. Альма была женщина прагматичная, агностик и даже неверующая — никаких магических кристаллов, зодиаков и говорящих деревьев, при ней Ирину отпускала ее вечная неуверенность.

Девушка хотела быть такой, как Альма, жить в управляемой реальности, где у проблемы имеются причина, следствие и решение, но не бывает чудовищ, которые таятся в снах, и похотливых врагов, поджидающих за углом. Часы в обществе Альмы были для нее как сокровище, девушка согласилась бы работать с ней бесплатно. Однажды она так и предложила сделать. «У меня деньги лишние, а

тебе не хватает. И больше об этом ни слова», ответила Альма так резко, как почти никогда с ней не разговаривала.

СЕТ БЕЛАСКО

Альма Беласко неторопливо наслаждалась завтраком, смотрела новости по телевизору, а потом отправлялась на занятие по йоге или на часовую прогулку. По возвращении она принимала душ, одевалась, а когда, по ее подсчетам, должна была появиться уборщица, уходила в клинику помогать своей подруге Кэти. Лучшее средство от боли — это чтобы пациенты были увлечены и подвижны. Кэти всегда нуждалась в волонтерах для своей клиники, она попросила Альму давать уроки росписи по шелку, но для этого требовалось много пространства и материалы, которые здесь никто не смог бы оплатить. Кэти не согласилась с предложением подруги взять все расходы на себя, потому что это плохо отразилось бы на самооценке участниц: как она сказала, никому не нравится чувствовать себя объектом благотворительности. И тогда Альма решила воспользоваться опытом, полученным на чердаке Си-Клифф, и принялась выдумывать театральные постановки, которые ничего не стоили и вызывали бури смеха. Трижды в неделю она ходила в мастерскую работать с Кирстен. В столовой Ларк-Хаус Альма бывала нечасто, предпочитая ужинать в близлежащих ресторанах, где ее уже знали, или у себя, когда невестка присылала к ней шофера с ее любимыми блюдами.

Ирина держала на кухне необходимые продукты: свежие фрукты, молоко, ржаной хлеб и мед. В ее задачи также входило разбирать бумаги, писать под диктовку, ходить в прачечную и по магазинам, сопровождать Альму при посещении юриста, заботиться о коте, следить за календарем событий в небогатой светской жизни хозяйки. Альма с Сетом часто приглашали Ирину на обязательный воскресный обед в Си-Клифф, когда вся семья воздавала почести старейшей представительнице рода. Для Сета, который раньше выдумывал самые разные предлоги, чтобы явиться только к десерту (мысль о том, чтобы вовсе прогулять, ему даже не приходила), присутствие Ирины окрашивало этот ритуал всеми цветами радуги. Он упорно преследовал девушку, однако, поскольку результаты оставляли желать лучшего, гулял и с подружками из прошлой жизни, готовыми терпеть его непостоянство. С ними Сет скучал и не мог заставить Ирину

ревновать. Как говорила бабушка, нечего палить из пушки по индюкам, — это была одна из загадочных пословиц, имевших хождение в семье Беласко. Для Альмы такие сборища всегда начинались с радости от встречи со своими, особенно с внучкой Полин (ведь Сета она видела часто), но заканчивались, как правило, душевными ранами, потому что любая тема могла послужить поводом для ссоры — дело было не в отсутствии любви, а в привычке спорить по пустякам. Сет искал предлоги, чтобы бросить вызов или позлить родителей. Полин всегда выступала за какое-нибудь правое дело и пускалась в подробные объяснения, что происходит, например, при женском обрезании или на скотобойне. Дорис лезла из кожи вон, расписывая свои кулинарные эксперименты, украшающие стол, но к концу неизменно плакала, потому что ее блюда никому не нравились, — только Ларри занимался словесной эквилибристикой, сиюсь избежать скандала. Бабушка использовала Ирину для снятия напряжения за столом, ведь Беласко при посторонних вели себя цивилизованно, даже если рядом находилась скромная работница Ларк-Хаус. Для девушки особняк Си-Клифф был диковинной роскошью: шесть спален, две гостиные, библиотека, где из-за книг не видно стен, двойная мраморная лестница и раскинувшийся вокруг сад. Она не ощущала упадка этого столетнего великолепия, с которым не могла совладать бдительная неусыпная Дорис. Хозяйке едва удавалось держать под контролем ржавчину на ажурных решетках, кривизну потолков и стен, переживших два землетрясения, скрип перил и следы термитов в деревянных частях. Дом стоял в привилегированном месте, на холме между Тихим океаном и бухтой Сан-Франциско. На рассвете густые клубы тумана ватной волной полностью укутывали мост Золотые Ворота, но за утро туман рассеивался, и тогда на фоне усыпанного чайками неба возникала стройная конструкция из красного железа — так близко от сада семьи Беласко, что хотелось прикоснуться рукой.

Точно так же, как Альма превратилась для Ирины в приемную тетюшку, Сет занял место ее двоюродного брата — желанная роль любовника ему не досталась. За те три года, что они провели рядом, связь между молодыми людьми, основанная на одиночестве Ирины, плохо скрываемой страсти Сета и их общем интересе к Альме Беласко, только окрепла. Другой мужчина, не такой упрямый и влюбленный,

как Сет, давно бы смирился с поражением, но парень научился сдерживать свои порывы и приноровился к навязанному Ириной черепашьему шагу. Торопиться было без толку: при малейшей попытке вторжения девушка отступала и целые недели уходили потом на отвоевание потерянной территории. Если молодые люди прикасались друг к другу случайно, Ирина ненавязчиво отстранялась, но если Сет трогал ее намеренно, тело ее напрягалось. Сет безуспешно искал причину такого недоверия, но Ирина накрепко запечатала двери в свое прошлое. С первого взгляда никто не смог бы разгадать характер этой девушки, своей открытостью и доброжелательностью заслужившей звание всеми любимой сотрудницы Ларк-Хаус, но он-то знал, что за этим фасадом прячется пугливая белка.

В эти годы книга Сета росла без больших усилий с его стороны благодаря материалу, который предоставляла бабушка, и упорству Ирины. На Альму легла задача обобщить историю семьи Беласко, единственных родственников, которые у нее оставались после того, как война забрала польских Менделей, и прежде, чем воскрес ее брат Самуэль. Беласко не числились в ряду самых богатых семейств Сан-Франциско, но были одними из самых влиятельных и могли проследить свою историю со времен золотой лихорадки^[9]. В ряду предков выделялся Дэвид Беласко, театральный режиссер и продюсер, покинувший город в 1882 году и достигший успеха на Бродвее. Прадедушка Исаак принадлежал к той ветви, которая осталась в Сан-Франциско, здесь он и сделал себе состояние с помощью адвокатской конторы и чутья на выгодные инвестиции.

Сету, как и всем мужчинам в роду, предстояло поработать в адвокатской конторе, хотя ему и не доставало соревновательного духа, отличавшего предыдущие поколения Беласко. Сет получил юридическое образование по необходимости и занимался делами не из жадности и не из почтения к судебной системе, а потому, что ему было жаль клиентов. Его сестра Полин, которая была на два года младше, куда лучше подходила для такой неблагодарной работы, но это не освобождало Сета от ответственности за дом. В свои тридцать два он так и не вошел в разум, как выражался его отец; он продолжал подкидывать сложные дела сестре, развлекался, не думая о расходах, и крутил романы с полудюжиной случайных подружек. Он выставлял напоказ свои таланты поэта и байкера, чтобы производить впечатление

на девушек и пугать родителей, но не собирался отказываться от верного адвокатского заработка. Сет не был циничен — он был ленив по части работы и взбалмошен почти для всего остального. Он сам очень удивился, обнаружив, что в портфеле, где ему надлежало хранить юридические документы, начали скапливаться страницы его рукописи. Этот тяжелый кожаный портфель карамельного цвета выглядел архаично, однако Сет им пользовался, веря в его магическую силу, — это было единственное возможное объяснение спонтанному приращению его рукописи. Слова зарождались сами по себе в плодовитом чреве портфеля и спокойно разгуливали по просторам его воображения. Это были двести пятьдесят страниц, заполненные второпях; Сет не давал себе труда их править, потому что его план состоял в том, чтобы пересказать все, что удастся вытянуть из бабушки, добавить собственные наблюдения, а потом заплатить писателю-анониму и какому-нибудь толковому издателю, чтобы они отшлифовали эти заметки, придали им форму книги. Этих листков вообще бы не было, если бы не настойчивое желание Ирины их прочитать и ее беззастенчивая критика, заставлявшая парня регулярно выдавать по десять-пятнадцать страниц, — словом, не задаваясь такой целью, Сет превращался в романиста.

Внук был единственным членом семьи, по которому Альма скучала, хотя и не признавалась в этом. Если он несколько дней не звонил и не приходил, у нее начинало портиться настроение, и скоро она уже изобретала предлог для встречи. И внук не заставлял себя ждать. Он влетал как вихрь, с мотоциклетным шлемом под мышкой, растрепанный, покрасневшийся, и приносил бабушке и Ирине по подарочку: сладкие молочные бисквиты, миндальное мыло, бумагу для рисования, фильмы про зомби из других галактик и тому подобное. Если Сет не заставлял девушку, то выглядел заметно разочарованным, однако Альма притворялась, что ничего не замечает. Вместо приветствия он похлопывал бабушку по плечу, она отвечала ему ворчанием, как оба давно привыкли: они общались как испытанные заговорщики, по-товарищески просто, без проявлений нежности — для них это было бы дурновкусием. Болтали они подолгу: сначала со сноровкой бывалых сплетниц пробегались по событиям настоящего (не забывая и про членов семьи), но быстро переходили к тому, что их по-настоящему волновало. Бабушка и внук навсегда застыли в

мифическом прошлом из мелких эпизодов и непроверенных легенд, во временах, предшествовавших рождению Сета. Альма оказалась потрясающей рассказчицей: ей удавалось в точности воскресить еще не оскверненный особняк в Варшаве, где прошло ее раннее детство, с мрачными комнатами, монументальной мебелью и слугами в ливреях, скользящими вдоль стен, не поднимая глаз, — но прибавляла к этому еще и вымышленного пони пшеничного цвета с длинной гривой, который в голодные времена закончил свое существование в виде жаркого. Альма освобождала прабабушку и прадедушку Сета и возвращала им все, что отобрали фашисты, она усаживала их за пасхальный стол с подсвечниками и серебряными приборами, с французскими бокалами, баварским фарфором и скатертями, которые вышили испанские монахини. В самых трагических эпизодах Альма становилась такой красноречивой, что Сет с Ириной как будто оказывались рядом с Менделями по дороге в Трешлинку: они ехали вместе со всеми в товарном вагоне среди тысяч несчастных, отчаявшихся, лишенных воды, воздуха и света; блевали, испражнялись и агонизировали вместе со всеми; они, раздетые, заходили в камеру ужаса и исчезали вместе со всеми в дыму крематория. Еще Альма рассказывала о прадедушке, Исааке Беласко: он умер весной, в ту ночь, когда снежная буря погубила его сад, и у него было двое похорон, потому что первые не вместили всех людей, желавших принести ему дань уважения: сотни белых, чернокожих, азиатов и латиноамериканцев, которые были ему чем-то обязаны, заполнили кладбище и равнину пришлось повторить церемонию; и о прабабушке Лиллиан, так верно любившей мужа, что в день, когда она его потеряла, она потеряла и зрение и все оставшиеся годы прожила в сумерках, и врачи так и не сумели поставить ей диагноз. Еще Альма рассказывала о семье Фукуда и о перемещении японцев — как о событии, которое нанесло ей детскую травму, но об Ичimei Фукуда отдельного рассказа не было.

СЕМЬЯ ФУКУДА

Такао Фукуда жил в Соединенных Штатах с двадцати лет и не имел желаний адаптироваться. Как многие *иссэй*, японские эмигранты первого поколения, он не хотел переплавляться в американском тигле, как поступали представители других рас, прибывающие с четырех концов света. Такао Фукуда гордился своей культурой и своим языком, которые он сохранял в неприкосновенности и безуспешно пытался передать своим отпрыскам, соблазненным грандиозностью Америки. Такао многим восхищался в этой огромной стране, где горизонт сливается с небом, однако не мог избавиться от чувства превосходства, которого никогда не выказывал вне домашних стен, — это было бы верхом невежливости по отношению к стране, его принявшей. С годами он все больше поддавался чарам ностальгии, все меньше понимал причины, по которым покинул Японию, и в конце концов стал идеализировать замшелые традиции, когда-то побудившие его эмигрировать. Его возмущали американское чувство превосходства и материализм: для Такао это было не проявление широты натуры и здравого смысла, а пошлость; ему было больно видеть, как его дети перенимают индивидуализм и грубость белых американцев. Все четверо родились в Калифорнии, но унаследовали японскую кровь отца и матери, и ничто не оправдывало их безразличия к предкам и неуважительного отношения к иерархической системе. Детей не интересовало, какое место уготовано для них судьбой: они заразились неразумной амбициозностью американцев, для которых не существовало ничего невозможного. Такао знал, что дети предают его и в бытовых мелочах: они дули пиво до потери рассудка, жевали жвачку, точно коровы, и отплясывали под модную музыку в двухцветных туфлях, намазав волосы жиром. Определенно, Чарльз и Джеймс искали темные уголки, чтобы потискать девушек сомнительной нравственности, но Такао верил, что Мегуми такого непотребства не допускает. Дочка копировала в одежде нелепую моду американок и тайком почитывала журналы с киногероями и их любовными историями, что он настрого ей запрещал, зато она хорошо училась и, по крайней мере внешне, вела себя уважительно. Такао мог

держат под контролем только Ичimei, однако вскоре и младшему предстояло ускользнуть из его рук и, подобно братьям, превратиться в чужака. Такова была плата за жизнь в Америке.

В 1912 году Такао Фукуда оставил семью и эмигрировал по метафизическим причинам, но в его воспоминаниях этот фактор неуклонно терял свою значимость, и Такао часто задавался вопросом, откуда взялся тот решительный порыв. В это время Япония уже открылась для внешнего влияния, и многие молодые люди уезжали в другие страны на поиски новых возможностей, но в семье Фукуда разлука с родиной считалась непросительным предательством. Фукуда всегда были воинами, они веками проливали кровь за императора. Такао, единственный мальчик из четырех детей, выживших после эпидемий и детских болезней, воплощал собой семейную честь, на нем лежала ответственность за родителей и сестер и обязанность воздавать почести предкам перед домашним алтарем и на всех религиозных празднествах. Но в пятнадцать лет он открыл для себя Оомото, Путь богов, — вышедшую из синтоизма новую религию, набиравшую силы в Японии, и почувствовал, что наконец отыскал компас, который будет направлять его в жизни. По словам духовных лидеров, почти все из которых были женщинами, богов может быть много, но все они в сущности один бог, имена и ритуалы не имеют значения; боги, религии, пророки и провозвестники на всем протяжении истории восходят к одному источнику: к Верховному Богу Вселенной, Единому Духу, которым проникнуто все сущее. А через людей Бог старается восстановить и очистить вселенскую гармонию, и когда этот труд будет завершен, Бог, человечество и природа станут пребывать в любви на земле и в пространстве духа. Такао полностью предался этой вере. Оомото проповедовал мир, достижимый только с помощью личной добродетели, и юноша понял, что его предназначением не может стать военная карьера, как полагалось мужчинам в его роду. Единственным выходом ему показался отъезд, потому что, если он останется и не пойдет в армию, это будет воспринято как бессовестная трусость, как страшнейшее оскорбление семьи. Юноша пытался объяснить это отцу, но только разбил его сердце; однако речи его звучали столь пылко, что тот в конце концов смирился с потерей сына. Молодые люди, которые уезжают, больше не возвращаются. Бесчестье смывается кровью. Лучше было бы лишиться

себя жизни, сказал отец. Но этот вариант противоречил принципам Оомото.

Такао прибыл на калифорнийское побережье с двумя сменами белья, раскрашенной от руки фотографией родителей и самурайским мечом, который в его семье хранили семь поколений мужчин. Отец передал ему меч в час расставания, потому что не мог вручить его ни одной из дочерей, и, хотя юноша не собирался пользоваться оружием, меч мог принадлежать только ему. Эта катана была единственным сокровищем семьи Фукуда — старинные мастера изгибали его шестнадцать раз, рукоять была из серебра и бронзы, ножны деревянные с золотыми пластинами, покрытые красным лаком. Юноша в дороге обмотал меч тряпками, чтобы он не привлекал внимания, но такой длинный изогнутый предмет было невозможно ни с чем перепутать. Мужчины, жившие бок о бок с Такао во время долгого путешествия в корабельном трюме, проявляли к нему должное почтение, ведь такое оружие свидетельствовало о его знатном происхождении.

По прибытии путешественник сразу же связался с крохотной общиной Оомото в Сан-Франциско и через несколько дней получил место садовника в паре с одним из соотечественников. Вдалеке от осуждающего взгляда отца, который полагал, что солдат не должен пачкать руки землей — только лишь кровью, Такао преисполнился решимости овладеть новым ремеслом и вскоре заслужил доброе имя среди *иссэй*, трудящихся в садах. Юноша был неутомим в работе, жил скромно и добродетельно, как требовала его религия, и за десять лет накопил восемьсот долларов, необходимых, чтобы выписать супругу из Японии. Сваха предложила ему трех кандидаток, Такао остановился на первой, потому что ему понравилось имя. Ее звали Хейдеко. Такао отправился встречать ее в порт в своем единственном костюме, купленном с рук, залоснившимся на локтях и на ягодицах, но из хорошей ткани, в лакированных туфлях и купленной в китайском квартале шляпе-панаме.

Невеста-путешественница оказалась крестьянкой на десять лет младше его, дородная телом, приятная лицом, с крутым нравом и бойким язычком, вовсе не такая кроткая, как расписывала сваха. Когда Такао справился с удивлением, он посчитал эту крепость характера достоинством.

Хейдеко, ступая на землю Калифорнии, уже не строила никаких иллюзий. На корабле она жила в тесной каюте с дюжиной других приглашенных невест и слушала душераздирающие истории о таких же невинных девушках, которые бросали вызов морским опасностям, чтобы в Америке выйти замуж за состоятельного молодого человека, но на причале их поджидали старые нищоброды или, что еще хуже, сутенеры, продававшие их в бордели или на подпольные фабрики в качестве рабынь. Это был не ее случай, потому что Такао Фукуда прислал девушке свою недавнюю фотографию и не обманывал насчет денег: жених объявил, что готов предложить ей жизнь, полную труда и усилий, но достойную и не такую горькую, как в ее японской деревне. У них родилось четверо детей: Чарльз, Мегуми и Джеймс, а еще через несколько лет, в 1932-м, когда Хейдеко решила, что уже вышла из детородного возраста, появился Ичимеи — недоношенный и такой слабенький, что ему предрекли скорую смерть и в первые месяцы не давали имени. Мать как могла укрепляла младенца травяными настоями, сеансами акупунктуры и холодной водой, пока он чудесным образом не склонился в сторону выживания. Тогда его нарекли японским именем, в отличие от старших детей, получивших английские имена, которые легко произносить в Америке. Мальчика называли Ичимеи, что означает «жизнь», «свет», «сияние» или «звезда» в зависимости от *кандзи* — идеограммы, которую используют при написании. С трех лет Ичимеи плавал, как угорь, сначала в бассейне, затем в студеной воде бухты Сан-Франциско. Отец ковал его характер с помощью физического труда, любви к растениям и боевых искусств.

Ичимеи родился во время Великой депрессии, когда семья Фукуда выживала из последних сил. Они арендовали участок у землевладельца из Сан-Франциско, где выращивали овощи и фрукты для продажи на местных рынках. Такао увеличивал семейный доход, приезжая к Беласко — первой семье, которая дала ему место, когда он начал работать независимо от соотечественника, на первых порах обучавшего его садоводству. Здесь помогла его хорошая репутация: Исаак Беласко позвал именно Фукуду создавать сад на земле, приобретенной в Си-Клифф, где собирался выстроить дом, в котором его потомки смогут прожить сотню лет, как он в шутку объявил архитектору, не зная, что это окажется правдой. Его адвокатской конторе всегда хватало денег, потому что она представляла интересы

Западной калифорнийской железной дороги; Исаак был одним из немногих, кто не пострадал во время кризиса. Средства он хранил в золоте, а вкладывал в рыболовецкие суда, лесопилки, ремонтные мастерские, прачечные и другие подобные предприятия. Он поступал так, чтобы дать работу хоть кому-то из отчаявшихся людей, стоявших в очередях за тарелкой супа в благотворительных столовых, чтобы облегчить их безденежье, однако его альтруистический замысел оказался неожиданно прибыльным. Дом в Си-Клифф строили, потакая всем причудам Лиллиан Беласко, а Исаак в это время делился с Такао мечтой воспроизвести на скалистом холме, беззащитном перед туманом и снегом, ландшафты других географических широт. Перенося это несообразное видение на бумагу, Исаак Беласко и Такао Фукуда проникались друг к другу взаимным уважением. Они сообщали каталоги, отбирали и заказывали на разных континентах деревья и цветы, которые прибывали во влажных мешках, с их родной землей, укрывающей корни; вместе расшифровывали присланные инструкции и соорудили теплицу из лондонских стекол — деталька к детальке, словно разгадывали головоломку; им предстояло вместе поддерживать жизнь в этом невероятном эдемском саду.

Безразличие Исаака Беласко к общественной жизни и к большинству семейных дел, которые он полностью препоручал Лиллиан, компенсировалось неудержимой страстью к ботанике. Исаак не пил и не курил, не имел явных пороков и необоримых искушений, ничего не понимал в музыке и изысканной кухне и, если бы Лиллиан позволила, питался бы таким же черствым хлебом и жидким супом, что и безработные времен Депрессии, прямо на кухне, стоя. Человек такого склада был неприступен для стяжательства и тщеславия. Его уделом была интеллектуальная неуспокоенность, стремление защищать своих подопечных с помощью сутяжных приемчиков и тайная склонность к помощи нуждающимся — но ни одна из этих радостей не могла сравниться с его увлечением садоводством. Третья часть библиотеки Исаака была отведена ботанике. Церемонная дружба с Такао Фукудой, основанная на взаимном восхищении и любви к природе, сделалась опорой для его душевного спокойствия, бальзамом от разочарований в системе американского правосудия. В саду Исаак Беласко превращался в покорного подмастерья японского учителя, открывавшего ему тайны растительного мира, которые книги по

ботанике частенько не могли прояснить. Лиллиан обожала своего мужа и заботилась о нем как чуткая возлюбленная, но никогда не желала его сильнее, чем глядя с балкона, как он трудится бок о бок с садовником. В рабочем комбинезоне, сапогах и соломенной шляпе, потный на солнцепеке или мокрый от дождя, Исаак молодец и в глазах Лиллиан снова становился тем пылким поклонником, который соблазнил ее в девятнадцать лет, или молодоженом, который набрасывался на нее еще на лестнице, не давая подняться в спальню.

Через два года после приезда Альмы Исаак Беласко объединился с Такао для устройства питомника декоративных растений и цветов, мечтая сделать его лучшим в Калифорнии. Сначала предстояло приобрести несколько участков на имя Исаака, тем самым обходя закон 1913 года, запрещающий *иссэй* владеть недвижимостью в городах, земельными наделами и другой собственностью. Для Фукуды речь шла о единственной возможности, а для Беласко — о дальновидном вложении капитала, подобном многим другим, которые он делал в драматические годы Депрессии. Исаака никогда не интересовали колебания на фондовой бирже, он предпочитал вкладывать деньги в рабочие места. Мужчины заключили договор, подразумевая, что, когда Чарльз достигнет совершеннолетия и Фукуда смогут выкупить свою долю у Беласко по текущей цене, они передадут питомник Чарльзу и закроют товарищество. Старший сын Такао, родившийся в Соединенных Штатах, являлся американским гражданином. Это было джентльменское соглашение, скрепленное обыкновением рукопожатием.

До садов семьи Беласко не доходило эхо клеветнической кампании против японцев, которых пропаганда обвиняла в незаконной конкуренции с американскими аграриями и рыбаками, в ненасытном сладострастии, опасном для белых женщин, и в подрыве общественных устоев своими азиатскими антихристианскими обычаями. Альма ничего не знала об этих предрассудках целых два года после приезда в Сан-Франциско, как вдруг однажды семья Фукуда превратилась в желтую угрозу. К тому времени они с Ичimei были неразлучными друзьями.

Японская империя, внезапно атаковав Перл-Харбор в декабре 1941 года, уничтожила восемнадцать военных кораблей, оставив

сальдо в две с половиной тысячи убитых и раненых, и меньше чем за сутки переменяла изоляционистский менталитет американцев. Президент Рузвельт объявил Японии войну, а через несколько дней Гитлер и Муссолини, союзники Империи восходящего солнца, поступили так же в отношении США. Страна мобилизовалась для участия в войне, от которой уже восемнадцать месяцев истекала кровью Европа. На ужас, охвативший американцев после налета на Перл-Харбор, наложилась истерическая кампания в прессе, вопившей о неминуемом вторжении «желтых» на Тихоокеанское побережье. Так подпитывалась ненависть к азиатам, существовавшая уже более ста лет. Японцы, давно живущие в стране, их дети и внуки неожиданно попали под подозрение в шпионаже и содействии врагу. Вскоре начались облавы и задержания. Хватало обнаруженного на борту коротковолнового передатчика, единственного средства связи между рыбаками и землей, чтобы арестовать хозяина судна. Динамит, применяемый крестьянами для очистки посевных земель от деревьев и валунов, стал считаться доказательством терроризма. Конфисковать могли что угодно, от охотничьих дробовиков до кухонных ножей и рабочих инструментов; забирали бинокли, фотоаппараты, культовые статуэтки, церемониальные кимоно и документы на иностранных языках. Через два месяца Рузвельт подписал приказ об эвакуации в целях безопасности всех лиц японского происхождения с Западного побережья (Калифорния, Орегон, Вашингтон) — то есть оттуда, где азиатские войска могли начать вторжение, которого все так страшились. Военными зонами также были объявлены Аризона, Айдахо, Монтана, Невада и Юта. Армия получила три недели на обустройство новых мест проживания.

Однажды в марте Сан-Франциско проснулся весь заклеенный плакатами об эвакуации японского населения, значения которых Такао с Хейдеко не поняли, но Чарльз им разъяснил. Для начала им запрещено удаляться от места проживания дальше восьми километров без специального разрешения; они обязаны находиться дома после объявленного комендантского часа, с восьми вечера до шести утра. Власти принялись сносить дома и конфисковывать имущество, начались аресты влиятельных людей, которые могли бы подстрекнуть к измене, глав общин, директоров предприятий, учителей и духовных наставников — их увозили неизвестно куда, на пороге оставались

перепуганная жена и дети. Японцам приходилось быстро, по бросовой цене распродавать имущество и закрывать торговые точки. Вскоре они обнаружили, что их банковские счета арестованы — это было разорение. Питомник Такао Фукуды и Исаака Беласко так и остался проектом.

В августе переместили больше ста двадцати тысяч мужчин, женщин и детей; стариков вытаскивали из больниц, младенцев — из приютов, душевнобольных — из лечебниц, чтобы разместить в концентрационных лагерях далеко внутри страны, а в городах оставались фантасмагорические кварталы с безлюдными улицами и пустыми домами, по которым бродили растерянные привидения и покинутые животные, прибывшие в Америку вместе с эмигрантами. Эта мера была применена, чтобы защитить Западное побережье, а также и японцев, которые могли бы стать жертвами ярости остального населения; то было временное решение, претворять его в жизнь следовало гуманными методами. Таков был официальный посыл, однако язык ненависти распространялся быстрее. «Гадюка всегда остается гадюкой, где бы она ни отложила свои яйца. Американский японец, рожденный от японских родителей, воспитанный по японским обычаям, живущий в перенесенной из Японии обстановке, неизбежно, за редчайшими исключениями, вырастает японцем, а не американцем. Все они враги». Достаточно было иметь прадеда, рожденного в Японии, чтобы попасть в число гадюк.

Как только Исаак Беласко узнал об эвакуации, он пришел к Такао предложить свою помощь и заверить, что этот отъезд — ненадолго: такое переселение противоречит конституции и нарушает принципы демократии. Японский компаньон ответил низким поклоном, он был глубоко тронут дружбой этого человека: в последние недели его семья терпела оскорбления, издевательства и насмешки со стороны белых американцев. *Шиката га най* — что поделаешь? — ответил Такао. Таков был девиз его народа в неблагоприятных обстоятельствах. После настойчивых уговоров Исаака японец попросил его об одном одолжении: чтобы хозяин Си-Клифф позволил ему зарыть в саду меч семьи Фукуда. Ему удалось спрятать меч от агентов, обыскивавших дом, но место было ненадежное. Меч воплощал отвагу его предков и кровь, пролитую за императора; Такао не мог подвергнуть реликвию какому-либо бесчестию.

В ту же ночь Фукуда, одетые в белые кимоно приверженцев Оомото, отправились в Си-Клифф; Исаак с Натаниэлем встретили их в черных костюмах, в ермолках, которые они надевали в тех редких случаях, когда ходили в синагогу. Ичимеи принес в накрытой платком корзине своего кота, чтобы ненадолго препоручить его заботам Альмы.

— Как его зовут? — спросила девочка.

— Неко. По-японски это значит «кот».

Лиллиан с дочерьми приготовила для Хейдеко и Мегуми чай в гостиной на первом этаже, а Альма, плохо понимая, что происходит, но чувствуя важность момента, кралась вслед за мужчинами в тени деревьев, обеими руками держа корзину с котом. Мужчины, освещая путь парафиновыми лампами, шли вниз по террасам сада, к площадке с видом на море, где была подготовлена яма. Впереди шествовал Такао, он нес меч, обернутый белым шелком; следом — Чарльз, он нес металлические ножны, когда-то сделанные по специальному заказу; дальше шли Джеймс и Ичимеи; Исаак и Натаниэль замыкали кортеж. Такао, даже не пытаясь скрыть слезы, несколько минут молился, потом точным движением вложил меч в ножны, которые держал его старший сын, и простерся на колени, лбом касаясь земли; в это время Чарльз и Джеймс опускали катану в яму, а Ичимеи горстями бросал землю. Они засыпали место захоронения и разровняли поверхность лопатами. «Завтра я посажу здесь белые хризантемы, чтобы отметить место», — хриплым от волнения голосом пообещал Исаак Беласко и помог Такао подняться.

Альма не осмелилась подбежать к Ичимеи, потому что догадалась, что существует веская причина, по которой присутствие женщин на такой церемонии недопустимо. Она дождалась, пока старшие вернутся в дом, и только потом схватила Ичимеи за руку и утащила в укромное место. Мальчик объяснил, что не придет в сад ни в следующую субботу, ни потом — в течение некоторого времени, быть может, нескольких недель или месяцев, и по телефону они тоже связаться не смогут. «Почему? Почему?» — допытывалась Альма и трясла Ичимеи, но у него не было ответа. Он даже не знал, почему и куда они должны уехать.

ЖЕЛТАЯ УГРОЗА

Фукуда закрыли ставни на окнах и повесили замок на дверь. Семья оплатила аренду за весь год, а также внесла квоту на покупку дома, которую намеревалась осуществить, когда появится возможность оформить договор на имя Чарльза. Они подарили все, что не смогли или не захотели продать, потому что спекулянты предлагали им по два-три доллара за вещи, стоившие в двадцать раз дороже. Им выделили совсем мало времени, чтобы распорядиться имуществом, собрать в дорогу по чемодану на члена семьи и в назначенный срок явиться к позорному автобусу. Они были вынуждены все это проделать, иначе бы их арестовали и обвинили в предательстве и шпионаже в военное время. Фукуда присоединились к сотням других семей, которые, надев самое лучшее (женщины в шляпках, мужчины при галстуках, дети в лакированных туфлях), медленно сходились к Центру гражданского контроля. Люди шли, потому что у них не было выбора и потому что тем самым они подтверждали свою верность Соединенным Штатам и свое возмущение японским авианалетом. Это был их вклад в дело войны, как выражались лидеры японской общины, и мало кто решился им противоречить. Семье Фукуда достался лагерь в Топазе, в пустынной зоне штата Юта, но об этом они узнают лишь в сентябре: сначала им предстояло шестимесячное ожидание на ипподроме.

Привычно благоразумные *иссэй* подчинялись без споров, но они не смогли помешать *нисэй*, молодым людям из второго поколения, открыто выражать свой протест. Недовольных разлучили с семьями и отправили в «Тьюл-Лейк», концентрационный лагерь с более жестким режимом, где они прожили всю войну на положении преступников. Белые американцы стояли на тротуарах и наблюдали за скорбной процессией знакомых им людей: мимо шли владельцы магазинчиков, где они каждый день покупали продукты, рыбаки, садовники и плотники, которых они нанимали, школьные товарищи, соседи... Большинство смотрело в смущенном молчании, однако нашлись и такие, кто выкрикивал расистские оскорбления и злые шутки. Две трети эвакуированных в те дни родились в Америке и являлись гражданами Соединенных Штатов. Японцы стояли в многочасовых

очередях перед столами, где каждого записывали и выдавали картонки с идентификационными номерами, чтобы повесить на шею и на чемоданы. Группа квакеров, осуждающих эту меру как расистскую и антихристианскую, предлагала японцам воду, фрукты и бутерброды.

Такао Фукуда уже садился с семьей в автобус, когда появился Исаак Беласко, держащий за руку Альму. Он злоупотребил данной ему властью, чтобы протиснуться сквозь кордоны полицейских и солдат, пытавшихся его остановить. Адвокат страшно лютовал: он не мог не сравнивать происходящее в нескольких кварталах от его дома с тем, что, быть может, случилось с его родственниками в Варшаве. Он прокладывал дорогу локтями, чтобы крепко обнять своего друга и передать конверт с деньгами, от которого Такао безуспешно пытался отказаться, а Альма в это время прощалась с Ичимеи. «Пиши мне». — «Пиши мне», — вот последнее, что сказали друг другу дети, когда печальная вереница автобусов поползла по дороге.

Путешествие показалось Ичимеи очень долгим, хотя длилось всего час, и вот они приехали на ипподром Танфоран в Сан-Бруно. Развлекательный комплекс окружили колючей проволокой, конюшни наскоро переоборудовали под жилье, построили бараки, чтобы можно было разместить восемь тысяч человек. Эвакуацию было приказано провести так стремительно, что не было времени закончить обустройство и доставить в лагерь все необходимое. Моторы автобусов смолкли, и пленники начали выходить, вынося вещи и детей, помогая пожилым. Люди шли молча, тесными группами, все были ошарашены и не понимали визгливых команд, которые раздавались из плохо настроенных громкоговорителей. Дождь превратил землю в трясину, вода заливала людей и скарб.

Вооруженные охранники отделили мужчин от женщин для медицинского осмотра. Всем сделали прививки от тифа и кори. В течение следующих часов Фукуда искали свои вещи среди гор тюков и чемоданов, а потом обживали указанное им пустое стойло. С потолка свисала паутина, на полу лежал толстый слой пыли вперемешку с соломой, тут же обитали тараканы и мыши; в воздухе витал запах лошадей и креозота, которым здесь пытались провести дезинфекцию. Семье достались две койки, по одному тюфяку и по два армейских одеяла на человека. Такао, осоловев от усталости и униженный до последнего уголка души, сел на пол, уперев локти в колени и обхватив

ладонями голову; Хейдеко сняла шляпку и туфли, переобулась в шлепанцы, закатала рукава и приготовилась отыграть хоть что-то у внезапного несчастья. Она не оставила детям времени на жалобы: сначала велела собирать походные койки и мести пол, потом отправила Чарльза и Джеймса за досками и палками, оставшимися после строительства, — женщина заметила их по дороге, теперь им предстояло стать полками для небогатой кухонной утвари, которую семья взяла с собой. Мегуми с Ичимеи Хейдеко поручила набить тюфяки соломой и показала, как делать матрасы; сама же отправилась обходить другие жилища, здороваться с женщинами и проверять на прочность часовых и охранников, которые были столь же растеряны, как и вверенные им узники, и сами не знали, сколько времени им предстоит здесь находиться.

Единственными очевидными врагами, которых Хейдеко обнаружила при первом обходе, оказались корейские переводчики, жестокие с эвакуированными и подобострастные с американскими офицерами. Хейдеко убедилась, что туалетов и душей на ипподроме недостаточно, к тому же они без дверей; для женщин были поставлены четыре ванны, горячей воды на всех не хватало. Права на интимность не существовало. При этом женщина определила, что голод им не грозит: она увидела грузовики с продовольствием и узнала, что в столовых еду будут готовить трижды в сутки.

Ужин состоял из картофеля, сосисок и хлеба, но сосиски закончились раньше, чем подошла очередь семьи Фукуда. «Придите попозже», шепнул им японец, стоявший на раздаче. Хейдеко с Мегуми дождались, когда столовая опустела, получили миску мясного рагу с картошкой и отнесли еду своим. В ту ночь Хейдеко начала мысленно составлять список мер, которые следовало принять, чтобы вынести пребывание на ипподроме. Первое место в списке занимало упорядоченное питание, а последнее (в скобках, потому что женщина сильно сомневалась в возможности осуществления) — замена переводчиков. Хейдеко всю ночь не сомкнула глаз, а с первыми лучами солнца, проникшими сквозь щели в стене, толкнула в бок мужа, который тоже не спал, с вечера застыв в неподвижности. «Здесь много чего нужно сделать, Такао. Нам понадобятся представители для переговоров с властями. Надевай пиджак и иди собирать мужчин».

Проблемы в Танфоране не заставили себя ждать, однако меньше чем за неделю эвакуированные организовали свою жизнь, демократическим голосованием избрали представителей, в число которых вошла и единственная женщина — Хейдеко Фукуда, провели перепись взрослого населения по занятиям и навыкам: учителя, земледельцы, плотники, кузнецы, бухгалтеры, врачи... Заключенные открыли школу, хотя у них не было ни карандашей, ни тетрадок, разработали программу спортивных и развлекательных мероприятий, чтобы дать занятие юношам, изнывающим от собственной ненужности и праздности. Ночью и днем люди жили в очередях, очередь была на все: в душ, в больницу, в прачечную, на религиозную службу, на почту и три раза в день — в столовую; требовалось великое терпение, чтобы избегать суеты и свар. В лагере был комендантский час, перекличка дважды в сутки и запрет говорить по-японски, что для *иссэй* было немыслимо. Чтобы предотвратить вмешательство охранников, узники взяли на себя охрану порядка и надзор за нарушителями, однако никто не мог справиться со слухами, которые носились как ветерок и иногда порождали панику. Люди старались придерживаться правил вежливости, чтобы нужда, скученность и унижение были более переносимы.

Шесть месяцев спустя, 11 сентября, началась отправка заключенных на поездах. Никто не знал, куда идут эти поезда. Проведя две ночи и день в обшарпанных душных вагонах с малым количеством туалетов, без света в темное время суток, проехав по незнакомой пустынной местности, они остановились на станции Дельта, в штате Юта. Оттуда на грузовиках и автобусах поехали в Топаз, «Сокровище пустыни», как был назван концентрационный лагерь — кажется, без всякой иронии. Эвакуированные были чуть живы от усталости, грязны и напуганы, но от голода и жажды не страдали: их кормили бутербродами и в каждом вагоне стояли корзины с апельсинами.

Топаз, расположенный на высоте почти в четыре тысячи метров, был как город из кошмаров с одинаковыми рядами приземистых домов. Это место походило на наспех устроенную военную базу с колючей проволокой, караульными вышками и вооруженными солдатами. Местность была безлюдная и выжженная, продуваемая ветрами, пыль завивалась вихрями. Другие концентрационные лагеря для японцев выглядели так же и всегда размещались в пустынных

зонах, чтобы загодя пресечь любые попытки побега. Вокруг не видно было ни дерева, ни кустов, вообще никакой зелени. Только ряды темных баранов, тянущиеся до самого горизонта и там теряющиеся из виду. Прибывшие держались семьями, не разжимая рук, чтобы не потерять друг друга в толчее. Все стремились попасться туалет, но никто не знал, где здесь туалеты. Охранникам потребовалось несколько часов, чтобы распределить людей по их новым жилищам, но в конце концов всех разместили.

Семья Фукуда, преодолевая пыльную завесу, которая туманила взгляд и затрудняла дыхание, добралась до своего жилья. Каждый барак был поделен на шесть секций размером четыре на шесть метров, по секции на каждую семью: их разгораживали тонкие переборки из просмоленной бумаги; двенадцать барачков составляли блок, всего было сорок два блока, при каждом находились столовая, прачечная, душевые и туалеты. Лагерь занимал громадную площадь, но на восемь тысяч перемещенных отводилось чуть более двух километров. Вскоре узникам предстояло узнать, что температура здесь колеблется от нестерпимого зноя летом до нескольких градусов ниже нуля зимой. Летом помимо удушающей жары приходилось выдерживать массированные атаки москитов и пыльные бури, от которых темнело небо и выгорали легкие. Ветер задувал одинаково в любое время года, он приносил с собой зловоние сточных вод, образовавших болото в километре от лагеря.

Японцы быстро организовали свою жизнь в Топазе, так же как раньше на ипподроме Танфоран. Через несколько недель у них были школы, детские сады, спортивные центры и своя газета. Из камней, досок и других материалов люди творили искусство: изготавливали украшения из окаменевших раковин, набивали кукол тряпками, делали игрушки из палочек. Из отданных книг сформировали библиотеку, собрали театральные труппы и музыкальные коллективы. Ичimei убедил отца, что можно выращивать растения в ящиках, несмотря на безжалостный климат и глинистую почву. Такао попробовал, и вскоре его примеру последовали другие. Группа *иссэй* решила устроить декоративный сад: вырыли яму, заполнили водой и вот, к восторгу ребятишек, получили пруд. Ичimei своими волшебными пальцами сделал деревянный парусник, запустил его в пруд, и уже через три дня по поверхности водоема скользили дюжины суденышек.

Кухнями в лагере ведали сами заключенные; повара творили чудеса, имея в своем распоряжении сухую пищу и привозимые из соседних поселков консервы. А через год эти люди сумели вырастить и овощи, поливая ростки из ложечки. Японцы были непривычны к жиру и сахару, и многие заболели, как и предвидела Хейдеко. Очереди к туалетам тянулись на целые кварталы, нетерпение и неудобство были столь велики, что никто не дожидался сумерек, чтобы затенить интимные стороны своей жизни. Все отхожие места заполнились испражнениями, и крохотная больница, в которой вместе работали белые и японцы, не могла вместить всех пациентов.

Как только запасы древесины для изготовления мебели закончились, а самые непоседливые узники получили задания и обязанности, перемещенные погрузились в скуку. Дни бесконечно удлинялись в этом кошмарном городе, за которым изблизи надзирали усталые часовые на вышках, а издали — величественные горы Юты; все дни были на одно лицо, никаких занятий, повсюду очереди, ожидание почты, время тратили на игру в карты, на изобретение муравьиных дел, на повторение тех же самых разговоров, терявших смысл по мере стирания слов. Обычаи предков выходили из употребления, отцы и деды ощущали, как тает их власть, супругов легко было застать за самыми сокровенными занятиями, семьи начали расщепляться. Узники даже не могли собраться на ужин за семейным столом, пищу принимали в сутолоке общих столовых. И как бы Такао ни побуждал всех Фукуда садиться вместе, сыновья предпочитали занимать места рядом с другими юношами, и отцу стоило большого труда удерживать при себе Мегуми, превратившуюся в красавицу с пунцовыми щечками и блестящими глазами. Единственными, кого не затронуло разрушительное отчаяние, были дети: они повсюду шныряли стайками, развлекались мелкими шалостями и вымышленными приключениями, воображая, что у них такие каникулы.

Зима подступила быстро. Когда пошел снег, каждой семье выдали угольные печки, сразу ставшие центром домашней жизни, и списанное армейское обмундирование. Эта выцветшая зеленая униформа, которая всем была велика, нагоняла такую же тоску, как промерзшая пустыня и черные бараки. Женщины принялись украшать свои жилища бумажными цветами. И не было средства против ночного ветра с

ледяными пластинками, который со свистом врывался сквозь щели и хлопал кровельными листами. Фукуда, как и остальные узники, спали на походных койках, натянув на себя все, что у них было, завернувшись в выданные одеяла и тесно прижимаясь друг к другу, чтобы делиться теплом и утешением. Через несколько месяцев, летом, им придется спать голыми, а с утра они будут просыпаться, покрытые песком цвета пепла, мелким, как тальк. Однако Фукуда знали, что им повезло, ведь они остались вместе. Другие семьи были разделены: сначала мужчин забрали в так называемые лагеря перераспределения, а потом женщин отделили от детей; в некоторых случаях воссоединение семьи занимало два или три года.

Переписка между Альмой и Ичимеи с самого начала не пошла гладко. Письма опаздывали на целые недели — не по вине почты, а из-за чиновников Топазе, которым не хватало времени прочесть сотни бумаг, скапливавшихся на их столах. Письма Альмы, не подвергавшие риску безопасность Соединенных Штатов, доходили полностью, а вот письма Ичимеи так сильно оципывались цензурой, что девочке приходилось угадывать смысл отдельных фраз между полос чернильных вымарок. Описания бараков, еды, туалетов, привычек охранников и даже климата представлялись подозрительными. По совету товарищей, более опытных в искусстве обмана, Ичимеи умащивал свои письма похвалами американцам и патриотическими лозунгами до тех пор, пока тошнота не заставила его отказаться от этой тактики. И тогда он решил рисовать. Мальчику стоило большого труда научиться писать и читать, в десять лет он еще не окончательно подчинил себе буквы: они так и норовили перемешаться, презрев орфографию, но верный глаз и твердая рука помогали ему в рисовании. Иллюстрации мальчика проходили цензуру без помех, и Альма таким образом узнавала подробности их жизни в Топазе, как будто смотрела фотографии.

3 декабря 1986 года

Вчера мы говорили о Топазе, но я не сказал тебе самого главного, Альма: не все было плохо. У нас были праздники, спорт, искусство. Мы ели индейку в День благодарения, мы украшали бараки на Рождество. Снаружи нам присылали сладости, игрушки и книги. Матушка всегда вынашивала какие-то планы, ее уважали все, в том

числе и белые. Мегуми была влюблена и очарована своей работой в больнице. Я рисовал, копался в огороде, чинил поломанные вещи. Уроки были такие короткие и простые, что даже я получал хорошие оценки. Почти весь день я играл; там было много детей и сотни беспризорных собак, все похожие, с короткими лапами и жесткой шерстью. Больше всех страдали мой отец и Джеймс.

После войны узники разъехались из лагерей по стране. Молодые люди начали жить сами по себе, пришел конец нашей изоляции в рамках плохой подделки под Японию. Мы вошли в состав Америки.

Я думаю о тебе. Когда увидимся, я приготовлю чай и мы будем разговаривать.

Ичи

ИРИНА, АЛЬМА И ЛЕННИ

Женщины обедали в ротонде универмага «Нейман-Маркус» на площади Юнион, в золоченом свете витражей старинного купола, куда они приходили главным образом за поповерами — теплыми пористыми воздушными булочками, которые подавали прямо из печи, и за розовым шампанским — его любила Альма. Ирина заказывала лимонад, и они выпивали за лучшую жизнь. Про себя, чтобы не оскорбить хозяйку, Ирина произносила тост еще и за деньги Беласко, позволявшие ей наслаждаться этим моментом, тихой музыкой и обществом элегантных бизнес-леди, официантов в зеленых галстуках и стройных моделей, которые для привлечения публики дефилировали в нарядах от прославленных кутюрье. Это был изысканный мир, противоположность ее молдаванской деревне, бедности ее детства и страхам отрочества. За обедом женщины не торопились, смакуя блюда, приготовленные под влиянием восточной кухни, и заказывая себе еще поповеров. После второго бокала шампанского воспоминания Альмы выбирались на простор; в этот раз она снова заговорила о Натаниэле, ее муже, появлявшемся во многих ее рассказах. Альма сумела целых три десятилетия хранить в памяти его живой образ. Сет помнил своего дедушку смутно: какой-то обескровленный скелет с горящими глазами и куча пуховых подушек. Мальчику было всего четыре года, когда страждущий взор дедушки в конце концов потух, но он навсегда запомнил запах лекарств и эвкалиптового пара в его комнате. Альма рассказывала, что Натаниэль был таким же добрым, как и его отец, Исаак Беласко, и после его смерти она нашла в его бумагах сотни долговых расписок, по которым он не потребовал уплаты, а также четкое распоряжение простить всем его многочисленным должникам. Альма оказалась не готова взять на себя дела, которые муж запустил во время изнурительной болезни.

— Никогда в жизни я не занималась денежными вопросами. Забавно, верно ведь?

— Вам повезло. Почти всех моих знакомых эти вопросы беспокоят. Постояльцам Ларк-Хаус едва хватает на жизнь, некоторые не могут купить себе лекарства.

— У них что, нет медицинской страховки? — удивилась Альма.

— Страховка покрывает только часть. Если семья не помогает, мистеру Фогту придется залезать в особые фонды Ларк-Хаус.

— Я с ним поговорю. Почему ты мне раньше не рассказывала?

— Вы не можете решить всех проблем, Альма.

— Нет, но Фонд Беласко может позаботиться о парке при Ларк-Хаус. Фогт экономит кучу денег, которые сможет тратить на помощь самым бедным постояльцам.

— Мистер Фогт упадет в обморок в ваших объятиях, если вы ему такое предложите.

— Какой ужас! Надеюсь, до этого не дойдет.

— Рассказывайте дальше. Как вы поступили, когда умер ваш муж?

— Я собиралась повеситься среди этих бумаг, но тут вспомнила про Ларри. Мой сын всю жизнь прятался в тень и превратился в благоразумного и ответственного господина, да так, что никто и не заметил.

Ларри женился молодым, в спешке и без свадебных торжеств, потому что его отец был болен, а невеста, Дорис, — очевидным образом беременна. Альма признала, что в это время ее совершенно поглотили заботы о муже и она не дала себе труда познакомиться с невесткой, хотя они и жили под одной крышей, но Альма сильно ее любила, потому что, помимо прочих достоинств, Дорис обожала Ларри и была матерью Сета — этого шаловливого мальчика, который скакал, как кенгуру, изгоняя из дому печаль, — и Полин, спокойной девочки, развлекавшей себя самостоятельно и как будто не нуждавшейся в других людях.

— А мне никогда не приходилось заниматься деньгами, да и докуки с работой по дому я не знала. Свекровь заботилась о доме в Си-Клифф до последнего вздоха, несмотря на слепоту, а потом у нас появился мажордом. Он был как карикатура на этих персонажей английских фильмов. Наш мажордом так задирает нос, что мы в семье подозревали, что он над нами насмехается.

Альма рассказала, что мажордом провел в Си-Клифф восемь лет, а ушел после того, как Дорис осмелилась дать ему совет по уходу за усадьбой. «Или я, или она», — объявил мажордом Натаниэлю, который уже не вставал с постели и был слишком слаб, чтобы решать

такие вопросы, однако именно он занимался наймом и увольнением служащих. Услыхав подобный ультиматум, Натаниэль предпочел остаться с новоиспеченной невесткой, которая, несмотря на юный возраст и семимесячное пузо, проявила себя как вполне достойная хозяйка дома. Во времена Лиллиан дела велись в охотку, с выдумкой, а при мажордоме единственными заметными изменениями явились задержка с выносом каждого блюда и недовольная мина повара, который не понимал, почему так происходит. Под безжалостным руководством Дорис дом превратился в образчик прециозности, но никто не чувствовал себя по-настоящему удобно. Ирина видела результаты этой эффективной деятельности: кухня представляла собой стерильную лабораторию, детей не пускали в гостиные, шкафы благоухали лавандой, простыни были накрахмалены, каждодневный рацион составлялся из причудливых блюд, подаваемых крохотными порциями, а букеты обновлялись раз в неделю профессиональной флористкой, но приносили в дом не радость, а помпезность торжественных похорон. Единственным местом, которое пощадила волшебная палочка домоводительницы, была комната Альмы: перед новой родственницей Дорис почтительно трепетала.

— Когда Натаниэль заболел, во главе адвокатской конторы Беласко встал Ларри, — продолжала Альма. — С самого начала он поставил дело очень хорошо. И когда Натаниэль умер, я могла препоручить ему семейное состояние, а сама занялась воскрешением Фонда Беласко, который находился при смерти. Городские парки засыхали, заполнялись мусором, шприцами и использованными гондонами. Там поселились нищие со своими тележками, груженными грязными узлами, и со своими картонными хибарами. Я ничего не понимала в растениях, но все-таки погрузилась в садоводство из любви к свекру и мужу. Для них это была священная миссия.

— Мне кажется, Альма, все мужчины в вашей семье отличались внутренним благородством. Таких людей в мире мало.

— Таких людей много, Ирина, просто они скромны. А вот от плохих много шуму, поэтому они всегда на виду. Ты мало знакома с Ларри, но если однажды тебе что-то потребуется, а меня рядом не будет, не раздумывай, обращай к нему за помощью. Мой сын — замечательный мальчик, он не подведет.

— Он такой серьезный, боюсь, я не осмелюсь его беспокоить.

— Он всегда был серьезный. В двадцать лет казался пятидесятилетним, в этом возрасте он заморозился и теперь выглядит ровно так же. Обрати внимание: на всех фотографиях у него озабоченный вид и плечи поникшие.

Ганс Фогт разработал простую систему, по которой постояльцы Ларк-Хаус оценивали работу персонала; теперь директор недоумевал, как это Ирине всегда удается получать высший балл. Он предположил, что ее секрет — в умении тысячу раз выслушивать одни и те же истории с прелестью новизны; ведь старики повторяют свои рассказы, чтобы обустроить прошлое и создать приемлемый образ самих себя, стирая угрызения совести и преувеличивая свои реальные или вымышленные добродетели. Никто не хочет заканчивать жизнь с банальным прошлым. Однако секрет Ирины был не столь очевиден: для нее каждый обитатель Ларк-Хаус был как отражение ее стариков, Костеа и Петруты, которых она вспоминала перед сном по ночам, прося, чтобы они не оставляли ее в темноте — так же, как в детстве. Ирина выросла у них, возделывая кусок неблагодарной земли в далекой молдавской деревушке, которой не достигало пламя прогресса. Большая часть жителей там по-прежнему кормились от земли и продолжали трудиться так же, как век назад трудились их предки. Ирине было два года, когда в 1989 году рухнула Берлинская стена, и четыре, когда окончательно развалился Советский Союз и ее страна превратилась в независимую республику; эти два события ничего не значили для девочки, зато старики причитали наперебой с соседями. Все единодушно твердили, что при коммунизме бедность была такая же, но существовало снабжение и уверенность, а независимость принесет только разруху и запустение. Кто мог уехать — уехали, так поступила и Радмила, мать Ирины, по домам остались только старики и дети, которых родители не могли взять с собой. Ирина запомнила бабушку с дедушкой сгорбленными от вечной возни с картофелем, морщинистыми от августовского солнца и январской стужи, усталыми до изнеможения, почти без сил и совсем без надежды. Ирина сделала вывод, что деревня для здоровья вредна. Внучка была причиной, по которой ее старики продолжали бороться, их единственной радостью помимо домашнего красного вина, едкого,

как растворитель для красок, раз за разом спасавшего от тоски и одиночества.

На рассвете, прежде чем пешком отправиться в школу, Ирина таскала ведрами воду из колодца, а вечером, перед ужином из супа и хлеба, колола дрова для печи. Сейчас девушка весила пятьдесят килограммов в зимней одежде и ботинках, но обладала силой солдата и могла, словно новорожденную, поднять на руки Кэти, свою любимую постоянлицу, чтобы перенести из кресла-каталки на диван или на кровать. Своими мускулами она была обязана ведрам воды и топору, а тем, что ей посчастливилось выжить, святой Параскеве — покровительнице Молдавии, посреднице между землей и блаженными небесными созданиями. В детстве Ирина по вечерам молилась вместе со стариками, встав на колени перед иконой этой святой; они просили об урожае картошки и здоровье для кур, просили о защите от бандитов и военных, просили за свою хрупкую республику и за Радмилу. Для девочки эта святая в синем покрывале, в золотом ореоле и с крестом в руке была более живой, чем мать на выцветшей фотографии. Ирина не скучала по Радмиле, но любила помечтать, как однажды мама вернется домой с сумкой подарков. Девочка ничего не знала о матери до восьми лет, когда Костеа с Петрутой получили от далекой дочки немного денег и потратили их с осторожностью, чтобы не возбуждать зависти в соседях. Ирина почувствовала себя обманутой, потому что мама не прислала ничего специально для нее, даже записки; в конверте лежали только деньги и две фотографии незнакомой женщины с обесцвеченными волосами и суровым лицом, совсем не похожей на девушку со снимка, который старики держали рядом с иконой святой Параскевы. Потом деньги начали поступать по два-три раза в год, и для нищих стариков это было поддержкой.

Драма Радмилы мало чем отличалась от историй тысяч других девушек из Молдавии. Она забеременела в шестнадцать лет от русского солдата, полк которого проходил через их деревню, и больше о нем известий не было; она родила Ирину, потому что попытки сделать аборт не удались, и, как только смогла, уехала подальше от дома. Много лет спустя, желая предупредить дочь об опасностях этого мира, Радмила перескажет ей подробности своей одиссеи — со стаканом водки в руке и еще двумя во лбу.

Однажды в их деревню приехала женщина из города, она набирала девушек для работы официантками в другой стране. Она предлагала Радмиле блестящую возможность, которая выпадает раз в жизни: паспорт и билет, несложную работу за хорошие деньги. Приезжая уверяла, что на одних чаевых Радмила накопит достаточно, чтобы купить дом меньше чем за три года. Презрев отчаянные предупреждения родителей, Радмила запрыгнула вместе со сводней в поезд, не подозревая, что окажется в лапах у турецких сутенеров в борделе Ак-сарай, в Стамбуле. Два года ее держали пленницей, она обслуживала по тридцать-сорок человек за сутки, чтобы выплатить долг за билет, который совершенно не уменьшался, потому что у нее вычитали за жилье, за еду, за душ и за презервативы. Девушек, которые сопротивлялись, избивали и клеймили ножом, жгли огнем или выбрасывали мертвыми в проулок. Убежать без денег и документов было невозможно, проститутки жили взаперти, не зная языка, квартала и уж тем более города; если удавалось ускользнуть от сутенеров, они попадали к полицейским, которые одновременно являлись и постоянными клиентами, ублажать их требовалось бесплатно. «Одна девчонка выпрыгнула из окна третьего этажа, ее наполовину парализовало, но от работы это не освободило», — рассказывала Радмила дочери со смесью назидательности и драматизма; этот тон она считала подходящим для истории своих бедствий. «Поскольку эта девушка не могла больше управлять своими сфинктерами, она все время была грязная, и тогда хозяева стали брать за нее половинную цену. Другая залетела и обслуживала мужчин на матрасе с дыркой посередине, чтобы помещался живот. В этом случае клиенты платили больше: считалось, что отыметь беременную помогает от гонореи. Когда сутенерам хотелось подновить состав, они продавали нас в другие бордели, и так мы опускались все ниже, пока не попадали на дно ада. Меня спас огонь и один мужчина, который надо мной сжалился. Однажды случился пожар, он охватил несколько домов в квартале. Сбежались журналисты с камерами, и полиция уже не могла закрыть на все глаза. Нас, дрожащих на улице, арестовали, однако не арестовали никого из наших мерзостных хозяев, никого из клиентов. Нас показывали по телевизору, нас объявили злодейками, это мы были виноваты в свинстве, которое творилось в Анкаре. Нас собирались депортировать, но один знакомый полицейский помог мне сбежать и

добыл для меня паспорт». Радмила короткими перебежками добралась до Италии, где занималась уборкой офисов, потом стала работницей на фабрике. У нее болели почки, она была истерзана трудной жизнью, наркотиками и алкоголем, но все еще молода, и кожа не совсем еще утратила свою белизну — такую же, какой отличалась ее дочь. Радмила приглянулась американскому автомеханику, они поженились, и он увез ее в Техас, куда через какое-то время предстояло отправиться и ее дочери.

Ирина в последний раз видела своих стариков в то утро 1999 года, когда ее посадили на кишиневский поезд (первый этап ее долгого путешествия в Техас). Костеа было шестьдесят два года, а Петруте шестьдесят один. Но они были куда более дряхлые, чем любой из девяностолетних постояльцев Ларк-Хаус, которые старели постепенно, с достоинством и полным набором зубов, своих или вставных. Впрочем, Ирина уже убедилась, что это один и тот же процесс: шаг за шагом приближаешься к концу, одни движутся быстрее других, а по дороге лишаешься всего. На ту сторону смерти ничего унести невозможно. Через несколько месяцев Петрута опустила голову в тарелку с жареной картошкой и больше уже не проснулась. Костеа, проживший с ней сорок лет, сделал вывод, что одному продолжать не имеет смысла. Он повесился в амбаре, соседи нашли его через три дня, когда обратили внимание на лай собаки и рев недоенной козы. Ирина узнала об этом через несколько лет от судьи в Далласском суде по делам несовершеннолетних. Но об этом времени она ни с кем не разговаривала.

В начале осени в одну из отдельных квартир Ларк-Хаус въехал Ленни Билл. Новый постоялец прибыл в сопровождении Софии, белой собаки с черным пятном вокруг глаза, придававшим ей пиратский видок. Появление Ленни стало памятным событием, поскольку ни один из малочисленных местных мужчин с ним тягаться не мог. У одних имелась пара, другие доживали век в подгузниках на третьем уровне, готовясь перебраться в Парадиз, а несколько оставшихся вдовцов не представляли интереса, с точки зрения женщин Ларк-Хаус. Ленни Биллу было восемьдесят лет, но никто не дал бы ему больше семидесяти; в пансионе это был самый сексапильный экземпляр за последние несколько десятилетий: пепельные волосы с короткой

косичкой, невероятные лазоревые глаза, мятые хлопковые брюки молодежного покроя и парусиновые туфли без носков. Из-за Ленни между старушками чуть не разразилась потасовка; он заполнял собой пространство, как будто в сгущенную атмосферу женской тоски запустили тигра. Даже сам Ганс Фогт с его богатым администраторским опытом задавался вопросом, что делает здесь этот человек. У таких крепких, хорошо сохранившихся мужчин всегда есть более молодая женщина — вторая или третья жена, которая о них заботится. Директор принял нового постояльца со всем энтузиазмом, который только мог проявить между приступами геморроя, продолжавшего его донимать. Кэтрин Хоуп лечила его с помощью иголок в своей клинике, куда три раза в неделю приходил китайский доктор, но исцеление шло медленно. Фогт рассудил, что даже самые траченные жизнью дамы — из тех, что целый день сидят, уставясь в пустоту и вспоминая былые времена, потому что настоящее либо от них ускользает, либо пролетает так быстро, что остается непонятным, — даже они очнутся ради Ленни Билла. И не ошибся. Уже на следующее утро появились сиреневые парики, жемчуг и лак на ногтях — непривычные украшения для дам, увлеченных буддизмом и экологией, презирающих искусственность... «Ну и дела! Мы теперь как дом престарелых в Майами», — шепнул директор Кэти. Женщины заключали пари, стараясь угадать, чем Ленни занимался раньше: актер, кутюрье, специалист по искусству Востока, профессиональный теннисист... Альма Беласко положила конец пустопорожним домыслам, сообщив Ирине для всеобщего сведения, что Ленни Билл работал стоматологом, однако никто не хотел верить, что этот человек зарабатывал на жизнь, ковыряясь в чужих зубах.

Ленни Билл и Альма Беласко познакомились тридцать лет назад. Их встреча в холле Ларк-Хаус началась с долгого объятия, а когда они наконец разлепились, у обоих были влажные глаза. Ирина никогда не видела такого проявления эмоций у Альмы, и если бы ее подозрения насчет любовника не были столь прочными, решила бы, что Ленни и есть участник ее тайных вылазок. Девушка сразу же позвонила Сету, чтобы поделиться новостями.

— Друг моей бабушки, говоришь? Никогда о таком не слышал. Я выясню, кто он такой.

— Каким образом?

— Для этого у меня есть особые люди.

Особые люди Сета были бывшие заключенные, один белый, другой черный, оба неприятные на вид, они собирали информацию о делах до судебного разбирательства. Сет продемонстрировал их тактику Ирине на недавнем примере. Один моряк подал в суд на компанию «Навьера» за несчастный случай на работе, после которого, по его словам, с ним случился паралич, однако Сет этому человеку не верил. И вот его люди пригласили инвалида в клуб сомнительной репутации, хорошенько напоили и засняли, как он отплясывает сальсу с нанятой девицей. С помощью этой улики Сет заткнул рот адвокату противоположной стороны, они пришли к соглашению и обошлись без утомительной тяжбы. Сет признался Ирине, что по нравственным понятиям его сыщиков это была достойная работа; другие их дела выглядели гораздо более мутно.

Через два дня Сет позвонил и назначил встречу в пиццерии, куда они обычно ходили, но Ирина на выходных помыла пять собак и была настроена гульнуть. Она предложила сходить в приличный ресторан. Альма успела привить своей помощнице пристрастие к белым скатертям. «Плачу я», — сразу объявила Ирина. Сет заехал за подругой на мотоцикле и, петляя между машин на запрещенной скорости, повез в итальянский квартал, куда они прибыли, шмыгая носами, со сплюснутыми после шлемов прическами. Ирина поняла, что ее наряд не соответствует уровню заведения — как, впрочем, и всегда, — и высокомерный взгляд метрдотеля это подтвердил. Увидев цены в меню, она чуть не хлопнулась в обморок.

— Не бойся, моя контора заплатит, — успокоил ее Сет.

— Ужин обойдется дороже, чем кресло-каталка!

— Зачем тебе кресло-каталка?

— Это я для сравнения, Сет. В Ларк-Хаус есть бабульки, которым нужно кресло, но они не могут его купить.

— Как это печально, Ирина. Рекомендую устрицы с трюфелями. С хорошим белым вином, разумеется.

— Мне — кока-колу.

— С устрицами идет шабли. Кока-колы тут нет.

— Ну тогда мне минеральную воду с долькой лимона.

— Ирина, ты что — алкоголичка после реабилитации? Ты можешь мне признаться, это такое же заболевание, как диабет.

— Я не алкоголичка, но от вина у меня болит голова, — ответила Ирина. Она не собиралась поверять Сету свои худшие воспоминания.

Перед первым блюдом им принесли по ложке черной пены, вроде драконьей блевотины, — это был комплимент от шеф-повара, который Ирина проглотила с недоверием. В это время Сет рассказывал, что Ленни Билл — холостяк, детей нет, занимался зубоврачебной практикой в одной из клиник Санта-Барбары. Ничего выдающегося в своей жизни не совершил, помимо того, что был хорошим спортсменом и несколько раз участвовал в «Ironman», знаменитом соревновании по плаванию, велогонке и бегу, которое Сету, если откровенно, не казалось увлекательным занятием. Он упомянул Ленни Билла в разговоре с отцом — тот неуверенно предположил, что Ленни был другом Альмы и Натаниэля; он смутно помнил, что видел его в Си-Клифф, когда Натаниэль уже был болен. Многие верные друзья приходили в те дни в усадьбу, чтобы повидаться с Натаниэлем, и Ленни Билл мог быть одним из них, сказал Ларри. На данный момент это была вся информация, которой располагал Сет, зато он нашел кое-что об Ичimei.

— Во время Второй мировой войны семья Фукуда провела три с половиной года в концентрационном лагере.

— Где?

— В Топазе, посреди пустыни Юта.

Ирина слышала только о немецких концлагерях в Европе, но Сет ввел подругу в курс дела и показал групповую фотографию из Японско-американского национального музея^[10]. Подпись гласила, что это и есть семья Фукуда. Сет сказал, что сейчас его помощник проверяет имя и возраст каждого из них в списках лиц, перемещенных в Топаз.

УЗНИКИ

В первый год жизни в Топазе Ичimei часто отправлял Альме рисунки, но затем они стали приходить реже, потому что цензоры не справлялись с работой и были вынуждены ограничить переписку эвакуированных. Наброски, бережно хранимые Альмой, стали лучшим свидетельством этого этапа жизни Фукуда: семья, зажатая в тесном отсеке барака; дети, делающие уроки возле туалетов; мужчины за игрой в карты; женщины за стиркой белья в больших корытах. Фотоаппараты у заключенных конфисковали, а те немногие, кому удалось их спрятать, не могли проявить негативы. Дозволялись только официальные фотографии — оптимистические, отражающие гуманность обращения и безмятежное веселье в Топазе: дети, играющие в бейсбол; молодые люди, поющие национальный гимн на утреннем поднятии флага, но ни в коем случае не колючая проволока, сторожевые вышки или солдаты с бойцовыми псами. Один из американских охранников согласился сфотографировать семью Фукуда. Его звали Бойд Андерсон, и он влюбился в Мегуми, которую впервые увидел в больнице, где она была волонтером, а он пришел подлечить рану, когда порезался, открывая банку с тушенкой.

Андерсону было двадцать три года, он был высок и белобрыс, как его шведские предки; благодаря простодушию и приветливости ему одному из немногих удалось завоевать доверие эвакуированных. В Лос-Анджелесе его с нетерпением дожидалась невеста, но когда Андерсон увидел Мегуми в белоснежной униформе, сердце его замерло. Девушка промыла рану, врач зашил ее девятью стежками, она с профессиональной аккуратностью перебинтовала, не глядя солдату в глаза, а Бойд Андерсон в это время смотрел на медсестру так замороженно, что даже не почувствовал боли. С этого дня Андерсон начал осторожно за нею ухаживать — потому что не хотел пользоваться властью над пленницей и особенно потому, что смешение рас было запрещено для белых и отвратительно для японцев. Луноликая Мегуми, грациозно порхающая по миру, могла позволить себе роскошь выбирать из самых привлекательных юношей Топазы, но почувствовала такое же незаконное влечение к охраннику и вступила в

борьбу с расизмом еще в зародыше, моля небеса об окончании войны, о возвращении ее семьи в Сан-Франциско и чтобы она смогла сбросить с себя это греховное искушение. А Бойд тем временем молился, чтобы война не кончалась никогда.

Четвертого июля в Топазе устроили праздник, чтобы отметить День независимости, так же как шесть месяцев назад отмечали Новый год. В первый раз праздник не удался, потому что лагерь только начинал организовываться и люди не смирились с положением узников, зато в 1943 году эвакуированные стремились доказать свой патриотизм, а американцы — свои добрые намерения, несмотря на пыльные вихри и жару, нестерпимые даже для ящериц. Белые и японцы весело перемешивались, повсюду были стейки, знамена, торты, флаги и даже пиво для мужчин, которые в этот день получили возможность обойтись без мерзкого пойла, подпольно изготавливаемого из консервированных персиков в сиропе. Бойду Андерсону, в числе других, было поручено фотографировать праздник, чтобы заткнуть рот сволочным журналистам, критиковавшим негуманное обращение с гражданами японского происхождения. Охранник воспользовался этим заданием и попросил семью Фукуда ему позировать. Позже одну фотографию он передал Такао, другую тайком Мегуми, а для себя увеличил снимок и вырезал девушку из семейной группы. Эта фотография останется с ним на всю жизнь; Андерсон носил ее в бумажнике запаянной в целлофан, с нею он будет похоронен пятьдесят два года спустя. На фотографии Фукуда стояли перед черным приземистым зданием: Такао с поникшими плечами и угрюмой миной на лице; Хейдеко, маленькая и дерзкая; Джеймс вполоборота — он позировал нехотя; Мегуми в цветении своих восемнадцати лет; и одиннадцатилетний Ичimei, худенький, с копной непокорных волос и ссадинами на коленках.

На этой единственной семейной фотографии Фукуда не хватало Чарльза. В этом году старший сын Такао и Хейдеко записался в армию — потому что считал это своим долгом, а не чтобы выбраться из заточения, как поговаривали о волонтерах другие молодые люди, отказывавшиеся служить. Чарльз поступил в 442-й пехотный полк, набранный исключительно из *нисэй*. Ичimei послал Альме портрет своего брата под знаменем и приписал в двух строчках, не вычеркнутых цензурой, что на странице не поместились еще

семнадцать парней в форме, которые отправляются на войну. Рисунки у мальчика выходили так хорошо, что несколькими штрихами ему удалось передать выражение невероятной гордости на лице Чарльза — гордости, восходящей к былым временам, к поколениям самураев в его семье, которые шли на бранное поле в уверенности, что не вернуться, готовые никогда не сдаваться и умереть с честью; это наполняло юношу нечеловеческой отвагой. Внимательно, как и всегда, рассмотрев рисунок Ичimei, Исаак Беласко обратил внимание дочери, что, по иронии, эти юноши готовятся рисковать жизнью ради интересов страны, которая держит их семьи в концентрационных лагерях.

Джеймсу Фукуде исполнилось семнадцать лет, и в тот же день его увели двое вооруженных солдат. Семье ничего не объяснили, однако Такао с Хейдеко предчувствовали беду: их второй сын был непокорным с самого рождения, а когда семью интернировали, превратился в вечную проблему. Все Фукуда, как и прочие интернированные японцы, приняли свое положение с философским смирением, но Джеймс и некоторые другие *нисэй*, полуамериканцы-полуяпонцы, ушли в постоянный протест, при первой возможности нарушали правила, а потом начались подстрекательства к мятежу. Вначале родители приписывали такое поведение вспыльчивому характеру парня, столь непохожего на брата Чарльза, потом трудностям переходного возраста, а под конец — дурному влиянию друзей. Начальник лагеря не раз их предупреждал, что Джеймс ведет себя неподобающе, парня сажали в карцер за драки, дерзость и причинение легкого ущерба федеральной собственности, но ни за одну из этих провинностей Джеймс не заслуживал ареста. Не считая выходок отдельных *нисэй*, таких как Джеймс, в Топазе царил образцовый порядок, серьезных преступлений не случалось, самыми тяжелыми провинностями были забастовки и акции протеста, после того как часовой застрелил старика, который слишком близко подошел к проволочному ограждению и не отреагировал на приказ остановиться. Начальник принимал во внимание молодость Джеймса и поддавался хитроумным маневрам Бойда Андерсона, который всячески его выгораживал.

Правительство распространило анкету, единственным приемлемым ответом в которой было «да». Всем эвакуированным от шестнадцати лет и старше полагалось ее заполнить. Каверзных вопросов было немало, от японцев требовалась верность Соединенным Штатам, готовность сражаться, куда ни пошлют, применительно к мужчинам, и служить во вспомогательных частях, если отвечали женщины, и отказ в повиновении императору Японии. Для *иссэй*, таких как Такао, требуемые ответы означали отказ от своей национальности без права сделаться американцем, но этот путь выбрали почти все. Отказывались некоторые молодые *нисэй*, которые были американцами и потому чувствовали себя оскорбленными. Таких отказников прозвали *No-No*, правительство посчитало их опасными; японская община, с незапамятных времен избегавшая скандалов, их осудила. Одним из *No-No* оказался Джеймс. Отцу было невероятно стыдно, после ареста сына Такао заперся в своей барачной секции и выходил только по нужде. Ичимеи приносил ему еду, а потом вставал в очередь во второй раз, чтобы поесть самому. Хейдеко и Мегуми, тоже страдавшие от выходов Джеймса, пытались заниматься привычными делами, с высоко поднятыми головами снося нехорошие шепотки, упреки в глазах соотечественников и попреки лагерного начальства. Всех Фукуда, включая Ичимеи, несколько раз допрашивали, но серьезных последствий эта история не возымела — благодаря получившему повышение Бойду Андерсону, который защищал их как мог.

— Что будет с моим братом? — спросила Мегуми.

— Не знаю. Возможно, его пошлют в Тьюл-Лейк или в Форт-Ливенворт в Канзасе, это будет решать Федеральное бюро тюрем. Думаю, его не выпустят до окончания войны, — ответил Бойд.

— Здесь поговаривают, что *No-No* расстреляют как шпионов...

— Не верь всему, что слышишь, Мегуми.

Арест Джеймса необратимым образом повлиял на характер Такао. В первые месяцы после эвакуации он участвовал в жизни общины, терпеливо возделывал огороды и мастерил мебель из упаковочной древесины, которую добывал на кухне. Когда ни один предмет больше не влезал в ограниченное пространство барака, Хейдеко предложила мужу делать мебель для других семей. Такао попробовал получить разрешение на кружок дзюдо для мальчиков, но ему отказали;

начальник лагеря испугался, что мастер посеет в учениках бунтарские идеи и поставит под угрозу безопасность солдат. Такао втайне продолжал тренировать своих детей. Он жил в надежде на освобождение, считал дни, недели и месяцы, ставил пометки в календаре. Его не покидали мысли о питомнике для цветов и декоративных растений, который им с Исааком Беласко так и не удалось создать, о деньгах, которые он скопил и которых лишился, о доме, за который платил годами, а теперь владелец оставил его за собой. Десятилетия упорства, труда и верности долгу, а в конце концов ты заперт за колючей проволокой, точно преступник, горестно повторял Такао. Он был человек непубличный. Многолюдье, неизбежные очереди, шум, отсутствие личного пространства — все это его раздражало.

А вот Хейдеко в Топазе расцвела. В сравнении с другими японскими женщинами она была непочтительной супругой: она могла яростно препираться со своим мужем, но при этом посвятила всю жизнь домашнему очагу, детям и тяжелому садовому труду, не подозревая, что внутри ее дремлет ангел гражданской активности. В концентрационном лагере у Хейдеко не было времени на отчаяние или скуку, она всечасно решала чужие проблемы и боролась с лагерным начальством, добиваясь на первый взгляд невозможного. Дети ее жили за забором — в заточении, но в безопасности, ей не приходилось за ними надзирать: для этого существовало восемь тысяч пар глаз и еще контингент Вооруженных сил США. Основной заботой Хейдеко сделался присмотр за Такао, чтобы тот не рассыпался окончательно: ей уже не хватало изобретательности выдумывать задания, которые помогали мужу чувствовать себя при деле и не оставляли времени на раздумья. Такао постарел, их десятилетняя разница в возрасте стала намного заметней. Вынужденное барачное общежитие положило конец влечению, прежде подслащавшему сложности совместной жизни, нежность сменилась разочарованием с его стороны и терпением — с ее. Стесняясь детей, живущих в той же комнате, супруги старались не прикасаться друг к другу на своем узком ложе, и таким образом простейшая связь между ними истончилась. Такао замкнулся в озлобленности, а Хейдеко раскрывала свои способности к служению и лидерству.

Мегуми Фукуда меньше чем за два года получила три предложения руки и сердца, и никто не мог понять, отчего она отвергла всех поклонников, — никто, кроме Ичimei, состоявшего посыльным между сестрой и Бойдом Андерсоном. У девушки были только два желания: стать врачом и выйти замуж за Бойда — в таком порядке. В Топазе она без труда, с отличием окончила среднюю школу, однако высшее образование было для нее недостижимо. В нескольких университетах на востоке принимали ограниченное число студентов японского происхождения, которых отбирали из лучших учеников концентрационных лагерей, такие люди могли получить финансовую поддержку от правительства, но после случая с Джеймсом, позорного пятна на семье Фукуда, у Мегуми не было шансов. И оставить семью девушка тоже не могла: в отсутствие Чарльза она чувствовала себя ответственной за младшего брата и за родителей. Мегуми продолжала накапливать опыт в больнице, бок о бок с врачами и медсестрами, набранными из заключенных. Ее наставником был белый доктор Фрэнк Делильо, возрастом за пятьдесят; от него разило потом, табаком и виски, он потерпел неудачу в личной жизни, но при этом был человек знающий и преданный своему делу. Делильо взял Мегуми под свою опеку с первого дня, когда девушка явилась в больницу в плиссированной юбке и накрахмаленной блузке, чтобы, как она сказала, попроситься в ученицы. Это было сразу по прибытии обоих в Топаз. Мегуми начала с выноса уток и мытья инвентаря, но проявила столько воли и прилежания, что Делильо вскоре назначил ее своей ассистенткой.

— Когда кончится война, я собираюсь изучать медицину, — объявила девушка.

— Это может оказаться дольше, чем ты готова ждать, Мегуми. Предупреждаю, тебе будет сложно стать врачом. Ты женщина и притом японка.

— Я американка, как и вы.

— Ну как скажешь. Не отходи от меня ни на шаг, и тогда кой-чему обучишься.

Мегуми восприняла этот совет буквально: приклеившись к Фрэнку Делильо, она обучилась зашивать раны, накладывать шины, лечить ожоги и принимать роды; более сложных операций не было — потому что тяжелые случаи направлялись в больницы Дельты и Солт-

Лейк-Сити. Десять часов в день у Мегуми были поглощены работой, но иногда по вечерам она выкраивала время для Бойда Андерсона, причем покрывал их Фрэнк Делильо, единственный человек, помимо Ичимеи, посвященный в их секрет. Несмотря на риск, влюбленные, ведомые удачей, наслаждались двумя годами тайной любви. На горячей земле прятаться было негде, хотя молодым *нисэй* как-то удавалось изобретать наивные предлоги и укрываться от родительского надзора и нескромных взглядов. Однако в случае Мегуми все было иначе, ведь Бойд в военной форме, в каске и с винтовкой не мог петлять, как кролик по чахлой поросли пустыни. Казармы, конторы и дома белых, где влюбленные могли бы свить себе гнездышко, были отделены от лагеря, и Мегуми никогда не получила бы доступа без божественного вмешательства доктора Делильо, который не только добыл для нее пропуск через кордоны, но даже отлучался из своей комнаты в условленное время. И там, среди беспорядка и грязи, среди переполненных пепельниц и пустых бутылок, Мегуми рассталась с девственностью, а Бойд обрел райское блаженство.

Интерес Ичимеи к земледелию, привитый отцом, в Топазе только углубился. Многие японцы, прежде зарабатывавшие на жизнь сельскохозяйственными работами, сразу же порешили устроить себе огороды, и ни засушливая почва, ни безжалостный климат не сломили их решимости. Узники поливали свои участки вручную, считая воду по каплям и защищая растения бумажными тентами летом и жаровнями в самые суровые зимние холода; так им удавалось отвоевывать у пустыни фрукты и овощи. В столовых не случалось недостатка в еде, можно было положить полную тарелку, а потом подойти еще раз, однако без железного упорства этих крестьян весь лагерный рацион состоял бы из консервов. Ичимеи проводил положенные часы в школе, а остальное время дня занимался садами. Вскоре прозвище Зеленые Пальцы заменило мальчику имя, потому что все, чего он касался, взрастало и приносило плоды. По вечерам, дважды отстояв очередь в столовую — для отца, а потом для себя, — Ичимеи аккуратно переплетал сказки и учебные тексты, которые присылали для маленьких *нисэй* далекие учителя. Он рос услужливым, задумчивым мальчиком и мог часами неподвижно наблюдать лиловые горы на фоне кристально-чистого неба, заблудившись в собственных

мыслях и чувствах. Поговаривали, что он создан для монашества и в Японии уже стал бы учеником в буддистском монастыре. Несмотря на то что Оомото не признает прозелитизма, Такао упорно проповедовал свою религию жене и детям, но единственным, кто искренне ее воспринял, оказался Ичимеи — это учение соответствовало его характеру и представлению о жизни, сложившемуся с ранних лет. Ичимеи отправлял культ Оомото вместе с отцом и семейной парой из соседнего барака. В лагере молились буддисты и представители нескольких христианских конфессий, но к Оомото принадлежали только эти люди. Хейдеко иногда к ним присоединялась, но без большого рвения; Чарльз и Джеймс никогда не интересовались отцовским вероучением, а Мегуми, к ужасу Такао и изумлению Хейдеко, перешла в христианство. Девушка приписывала этот шаг вещему сну, в котором ей явился Иисус.

— Откуда ты знаешь, что это был Иисус? — возмущался разгневанный Такао.

— А кто еще станет гулять в терновом венце? — отвечала Мегуми.

Девушка прошла предварительное обучение у пресвитерианского пастора и короткий обряд конфирмации в узком кругу: присутствовали только Ичимеи — из любопытства — и Бойд Андерсон, до глубины души тронутый этим доказательством любви. Пастор, разумеется, понял, что обращение японки связано больше с охранником, нежели с христианством, но препятствий чинить не стал. Он дал влюбленным свое благословение и спросил, в каком уголке вселенной они намерены обосноваться.

АРИЗОНА

В декабре 1944 года — за несколько дней до того, как Верховный суд единогласно постановил, что граждане США, независимо от происхождения, не могут быть задержаны без причины, — военный начальник Топаса в сопровождении кортежа из двух солдат вручил Хейдеко сложенное треугольником знамя, а на грудь Такао приколол фиолетовую ленточку с медалью. От скорбной песни трубы перехватило горло у сотен людей, собравшихся вокруг, чтобы воздать почести Чарльзу Фукуде, павшему в бою. Хейдеко, Мегуми и Ичимеи плакали, а по лицу Такао было непонятно, что он чувствует. За годы, проведенные в концентрационном лагере, лицо его застыло, превратилось в ритуальную маску надменности, но сгорбленные плечи и угрюмое молчание свидетельствовали, что этот человек сломлен. К пятидесяти двум годам в нем не осталось ни способности радоваться новому ростку, ни мягкого юмора, ни почтительной нежности к Хейдеко. Героическая жертва Чарльза, старшего сына, которому следовало заботиться о семье, когда сам Такао будет уже не в силах, явилась ударом, который сломил его окончательно. Чарльз погиб в Италии, как сотни других американских японцев из 442-го пехотного полка, благодаря великому множеству медалей за храбрость прозванного батальоном Пурпурного Сердца. Этот полк, сформированный исключительно из *нисэй*, получил самое большое количество наград за всю военную историю Соединенных Штатов, однако семью Фукуда это никак не утешило.

14 августа 1945 года Япония капитулировала, и концентрационные лагеря начали закрывать. Фукуда получили двадцать пять долларов и билеты на поезд, следующий в Аризону. Как и другие эвакуированные, впредь они будут обходить молчанием годы унижений, когда были поставлены под сомнение их верность Соединенным Штатам и патриотизм; без чести их жизнь стоила очень мало. *Шиката га най*. Семье не разрешили вернуться в Сан-Франциско, да их ничего туда и не влекло. Такао потерял право на аренду земель, которые возделывал до войны, и право на съем дома; ничего не осталось от прежних сбережений и от денег, которые перед

отъездом передал ему Исаак Беласко. В груди его постоянно шумел мотор, он кашлял не переставая и едва терпел боль в спине; Такао чувствовал, что не сумеет вернуться к тяжелому сельскохозяйственному труду, единственной доступной работе для человека в его положении. Судя по отсутствию всяческой активности, его мало заботила бедность семьи; ярость его замерзла и сделалась безразличием. Если бы не помощь Ичimei, который упорно заставлял отца есть и выходить вместе с ним на прогулку, он остался бы курить в углу до самой смерти, в то время как его жена и дочь брали дополнительные смены на заводе, чтобы хоть как-то кормить семью. *Иссэй* в конце концов смогли получить гражданство, но даже это событие не вывело Такао из протрации. Он тридцать пять лет мечтал иметь такие же права, как и любой американец, а теперь, когда ему предоставлялись все возможности, хотел только вернуться в Японию, на свою поверженную родину. Хейдеко попробовала отвести мужа в Службу иммиграции и натурализации, но в итоге отправилась туда одна, потому что все немногие фразы, которые произносил Такао, сводились к проклятиям в адрес Соединенных Штатов.

Мегуми снова была вынуждена отложить изучение медицины и мечту о замужестве, но Бойд Андерсон, переведенный в Лос-Анджелес, не забывал о ней ни на миг. Законы против смешанного брака и сожительства отменили почти во всех штатах, однако подобная связь до сих пор выглядела скандально; ни он, ни она не осмеливались признаться родителям, что их роман длится уже три года. Для Такао Фукуды это было бы катастрофой: он бы никогда не принял союз своей дочери с белым, тем более с человеком, который сторожил их за колючей проволокой в Юте. Бму пришлось бы презирать такую дочь — и лишиться ее. Такао уже лишился Чарльза на войне и Джеймса, которого депортировали в Японию, и никаких вестей от него не ожидалось. Родители Бойда Андерсона, шведские эмигранты первого поколения, живущие в Омахе, владели молочной лавкой, но в тридцатые годы разорились и заканчивали жизнь кладбищенскими смотрителями. Это были люди безупречной честности, очень религиозные и в расовом вопросе толерантные, однако сын не собирался даже упоминать про Мегуми до тех пор, пока девушка не примет его обручальное кольцо.

Каждый понедельник Бойд Андерсон начинал писать письмо и потом день за днем добавлял новые абзацы, вдохновляясь «Искусством писать любовные письма» — учебником, популярным среди возвращавшихся с войны солдат, которых по домам дожидались невесты; а в пятницу Бойд относил письмо на почту. По крайней мере дважды в месяц по субботам этот пунктуальный мужчина пробовал звонить Мегуми по телефону, что удавалось не всегда, а по воскресеньям он ходил на ипподром. Бойд Андерсон был неудержимый игроман, прихоти фортуны расшатывали его нервы и ускоряли развитие язвы желудка, но, по счастью, на скачках ему сопутствовала удача, и он пользовался этим, чтобы приумножить свои невеликие доходы. По вечерам парень изучал механику, мечтая уйти с военной службы и открыть автомастерскую на Гавайях. Он считал это место наилучшим для жизни, потому что там проживала многочисленная японская община, которая избежала интернирования, несмотря на то что нападение японцев произошло именно там. В письмах Бойд старался убедить Мегуми в преимуществах Гавайских островов, где они могли бы растить детей вдалеке от расовой ненависти, но девушка о детях не думала. Мегуми долго и настойчиво переписывалась с двумя китайскими врачами, обсуждая возможности обучения восточной медицине, раз уж западная оставалась для нее под запретом. Вскоре девушка убедилась, что и в этом направлении женщина-японка не имеет шансов продвинуться, как и предупреждал ее учитель, Фрэнк Делильо.

В четырнадцать лет Ичимеи поступил в среднюю школу. Поскольку Такао был парализован меланхолией, а Хейдеко знала по-английски не больше четырех слов, нести за него ответственность выпало Мегуми. В день, когда сестра отправилась записывать мальчика, она подумала, что Ичимеи будет чувствовать себя в школе как дома: здание показалось ей таким же безобразным и негостеприимным, как бараки в Топазе. Их приняла директор, мисс Броуди, — во время войны эта женщина упорно доказывала политикам и общественности, что дети из японских семей имеют такое же право на образование, как и любые другие американцы. Она собрала тысячи книг для отправки в концентрационные лагеря. Ичимеи переплетал некоторые из них и прекрасно их помнил, потому что на обложке каждой книги стояла подпись мисс Броуди. Мальчик

воображал эту благодетельницу крестной феей из сказки про Золушку, а увидел дородную тетку с руками лесоруба и голосом базарного зазывалы.

— У моего брата проблемы с учебой. Он плохо читает и пишет и с арифметикой не в ладах, — смущенно объяснила Мегуми.

— С чем же ты тогда в ладах, Ичimei? — обратилась мисс Броуди к самому мальчику.

— С рисунками и растениями, — шепотом ответил Ичimei, не поднимая взгляда от носков ботинок.

— Прекрасно! Это как раз то, чего нам не хватает! — воскликнула женщина.

В первую неделю другие ученики бомбардировали Ичimei расистскими прозвищами, распространившимися во время войны, — в Топазе мальчик такого не слышал. Он не знал и о том, что японцев ненавидят больше немцев, и не видел комиксов, в которых азиаты выглядят дегенеративными дикарями. Ичimei сносил такие шутки со своей всегдашней невозмутимостью, но когда один из школьных здоровяков поднял на него руку, тотчас отправил его кувыркаться с помощью дзюдоистского приема, которому выучился у отца, того самого, каким когда-то воспользовался, чтобы показать Натаниэлю Беласко возможности боевых искусств. Бойца отправили за наказанием в кабинет директора. «Отлично, Ичimei», — вот и все, что сказала мисс Броуди. После этого начальственного комментария мальчик смог проучиться в школе четыре года без унижений.

16 февраля 2005 года

Я ездил в Прескотт, штат Аризона, навестить мисс Броуди. Ей исполнилось восемьдесят пять лет, и многие ее бывшие ученики собрались на этот праздник. Для своего возраста она была в полном порядке — сразу же меня узнала, как только увидела. Представь себе! Сколько учеников она видела за долгую жизнь! Как она может нас всех помнить? А она запомнила, что я рисовал афиши для школьных праздников и по воскресеньям работал в саду. В средней школе я был худшим учеником, просто ужасным, но она дарила мне хорошие оценки. Благодаря мисс Броуди я не окончательно безграмотен и теперь могу писать тебе, моя дорогая.

Эта неделя, когда мы не смогли увидеться, тянулась очень долго. Дождь и холод сделали ее особенно печальной. А еще, прости, я не нашел гардений тебе в подарок. Пожалуйста, позвони мне.

Ичи

БОСТОН

В первый год разлуки Альма жила ожиданием писем, однако со временем привыкла к молчанию своего друга, как привыкла и к молчанию родителей и брата. Дядя с тетей старались оберегать девушку от дурных вестей из Европы, в особенности от слухов об участии евреев. Альма Беласко задавалась вопросом о своей семье, но была вынуждена довольствоваться столь фантастическими ответами, что война делалась похожей на легенды о короле Артуре, которые она читала вместе с Ичимеи в садовой беседке. По словам тети Лиллиан, письма не приходили из-за сложности почтового сообщения с Польшей, а в случае с Самуэлем — из-за британских мер государственной безопасности. Самуэль выполняет ответственные, опасные и секретные задания в ВВС Британии, говорила Лиллиан, он обречен на полнейшую анонимность. Не могла же она рассказать племяннице, что брат ее погиб во Франции, его самолет сгорел. Исаак показывал Альме продвижение и отступление войск союзников, втыкая булавки в карту, но не имел мужества раскрыть правду о ее родителях. С тех пор как Мендели лишились собственности и были отправлены в позорное варшавское гетто, о них не было никаких вестей. Исаак переводил значительные суммы организациям, которые пытались помочь людям в гетто, и знал, что число евреев, перемещенных нацистами между июлем и сентябрем 1942 года, превысило 250 тысяч; знал он и о тысячах евреев, ежедневно гибнувших от недоедания и болезней. Стена с колючей проволокой поверху, отделяющая гетто от остального города, не была совершенно непроницаема; внутрь проникали контрабандные продукты и лекарства, наружу просачивались кошмарные фотографии умирающих от голода детей — а значит, способы для сообщения имелись. Поскольку все попытки отыскать родителей Альмы ни к чему не привели, а самолет Самуэля разбился, оставалось только предположить, что все трое погибли, но пока у Исаака не было неопровержимых доказательств, он почитал за лучшее избавить племянницу от лишней боли.

На какое-то время Альма как будто привыкла к тете с дядей, их детям и дому в Си-Клифф, но в пору созревания опять сделалась такой же замкнутой, какой была по прибытии в Калифорнию. Альма развилась рано, и первый всплеск гормонов совпал для нее с бессрочным исчезновением Ичimei. Девочке было десять лет, когда они расстались, пообещав друг другу поддерживать связь мысленно и по почте; одиннадцать, когда письма стали приходить все реже, и двенадцать, когда расстояние между ними сделалось непреодолимым и Альма смирилась с потерей друга. Она без пререканий выполняла свои обязанности по школе, в которой было скучно, и вела себя в соответствии с ожиданиями ее приемной семьи, стараясь оставаться незаметной, чтобы избежать сочувственных расспросов, которые могли вызвать к жизни бурю непокорства и тоски, притаившихся в ее душе. Натаниэль был единственным, кого не вводило в заблуждение безупречное поведение Альмы. Этот юноша обладал шестым чувством на моменты, когда его двоюродная сестра закрывалась в шкафу; он прокрадывался на цыпочках через весь дом, вызволял девочку из тайника с помощью уговоров, произносимых шепотом, чтобы не разбудить Исаака с его чутким слухом и беспокойным сном, укутывал на кровати одеялом и оставался рядом, пока Альма не засыпала. Натаниэль тоже ходил по жизни с осторожностью, а внутри носил бурю. Он считал месяцы до окончания школы и отъезда в Гарвард для учебы на юридическом факультете, потому что ему не приходило в голову противиться желанию отца. Мать хотела, чтобы Натаниэль учился в Школе права в Сан-Франциско, а не на другом краю континента, однако Исаак Беласко утверждал, что парню следует отправиться подальше, как поступил в его возрасте он сам. Его сын должен стать человеком ответственным и положительным, настоящим *меншем*^[11].

Альма восприняла решение Натаниэля уехать в Гарвард как личное оскорбление и добавила двоюродного брата в список людей, которые ее покинули: сначала Самуэль и родители, затем Ичimei, а теперь и он. Девочка решила, что такова ее судьба: терять самых любимых людей. Она держалась за Натаниэля так же крепко, как и в первый день в порту Сан-Франциско.

— Я буду тебе писать, — обещал Натаниэль.

— То же самое говорил мне Ичimei, — в ярости отвечала она.

— Ичимеи находится в лагере для перемещенных лиц, Альма. А я буду в Гарварде.

— Это, кажется, в Бостоне? Значит, еще дальше.

— Я буду проводить с тобой все каникулы, обещаю.

Пока Натаниэль готовился к отъезду, Альма следовала за ним по дому, словно тень, выдумывая предлоги, чтобы его удержать, а когда из этого ничего не вышло, стала искать причины, чтобы меньше его любить. В свои восемь лет она влюбилась в Ичимеи детской любовью, а к Натаниэлю ее привязала взвешенная любовь. В ее сердце эти люди выполняли разные функции, но были одинаково необходимы; девушка была уверена, что без Ичимеи и Натаниэля не сможет жить. Первого она любила пылко, ей хотелось видеть его каждый миг, вместе убежать в сад Си-Клифф, простирающийся до самого пляжа, с его замечательными укромными уголками, где можно изучать безошибочный язык ласк. С тех пор как Ичимеи оказался в Топазе, Альма питала себя воспоминаниями о саде и страницами дневника, сверху донизу испещренного вздохами самым мелким почерком. Уже в этом возрасте Альма проявляла фанатичное упорство в любви. А вот с Натаниэлем ей не приходило в голову прятаться в саду. Она любила его горячо и считала, что знает его лучше всех, они, бывало, спали вместе, держась за руки — в те ночи, когда Натаниэль доставал девочку из шкафа, — он был ее наперсником, ее ближайшим другом. В первый раз, когда Альма обнаружила на своем белье темные пятна, она, трясась от страха, дождалась возвращения Натаниэля из школы и затащила в ванную, чтобы предъявить убедительные доказательства: она истекает кровью там, внизу. Натаниэль приблизительно представлял себе причину, но точно не меры, которые следовало предпринять; именно ему пришлось спрашивать у Лиллиан, что происходит, поскольку сама девушка не могла набраться смелости. Натаниэль знал обо всем, что происходит в жизни Альмы. Она скопировала для Натаниэля шифровальные ключи к ее дневнику, но у юноши не было нужды его читать, чтобы оставаться в курсе ее дел.

Альма окончила школу на год раньше Ичимеи. К тому времени они вообще не общались, но девушка чувствовала присутствие друга, потому что непрерывный монолог в ее дневнике предназначался ему — она писала скорее из привычки доверяться, нежели от тоски. Альма

смирилась, что никогда его не увидит, но за неимением других друзей питала любовь трагической героини воспоминаниями о тайных играх в саду. Пока Ичимеи от зари до зари батрачил на свекольном поле, Альма скрепи сердце участвовала в балах дебютанток, как велела ей тетушка Лиллиан. Праздники устраивали в их особняке, а еще во внутреннем дворе Палас-отеля с его полувековой историей, достославным стеклянным потолком, гигантской хрустальной люстрой и тропическими пальмами в кадках из португальского фаянса. Лиллиан взяла на себя обязательство удачно выдать девочку замуж, полагая, что это будет легче, чем пристроить собственных дочерей-дурнушек, но со стороны Альмы натолкнулась на саботаж ее лучших планов. Исаак Беласко почти не вмешивался в жизнь женщин своей семьи, однако в этот раз промолчать он не смог.

— Лиллиан, охотиться за женихами недостойно!

— Какой ты наивный, Исаак! Думаешь, ты был бы сейчас на мне женат, если бы моя мать не накинула тебе лассо на шею?

— Альма совсем еще шмакодявка. Замужество до двадцати пяти лет следовало бы признать незаконным.

— Двадцать пять! В таком возрасте ей уже будет не найти хорошую партию, Исаак, — всех разберут! — отрезала Лиллиан.

Племянница пожелала уехать учиться в другой город, и тетушка в конце концов уступила. Два-три года высшего образования всякому к лицу, подумалось ей. В семье договорились, что Альма поедет в женский колледж в Бостон, а там рядом будет Натаниэль, который сможет оградить ее от опасностей и искушений этого города. Лиллиан перестала поставлять девушке потенциальных кандидатов и принялась собирать гардероб из круглых, как тарелка, юбок, жилетов и свитеров из ангорской шерсти, пастельных тонов, потому что они как раз вошли в моду, хотя и совершенно не красили девушку с костистой фигурой и резкими чертами лица.

Альма настояла, что поедет одна, несмотря на все опасения тетушки, искавшей кого-нибудь, кто держит путь в те же края, чтобы отправить ее с надежным человеком; и вот девушка вылетела в Нью-Йорк рейсом компании «Бранифф», а там собиралась пересесть на поезд до Бостона. В аэропорту Нью-Йорка она увидела Натаниэля. Родители предупредили его телеграммой, и молодой человек решил ее встретить, чтобы вместе поехать на поезде. Брат с сестрой обнялись с

нежностью, накопленной за шесть месяцев с последнего приезда Натаниэля в Сан-Франциско, и сразу затараторили, обмениваясь новостями, пока чернокожий носильщик в униформе вез багаж Альмы к стоянке такси. Натаниэль, пересчитав чемоданы и шляпные коробки, поинтересовался, неужели сестра привезла одежду на продажу.

— У тебя нет права меня осуждать, ты всегда одет как денди, — ответила девушка.

— Ну как твои дела, Альма?

— Я ведь тебе писала, братишка. Ты знаешь, я обожаю твоих родителей, но в этом доме я задыхаюсь. Мне нужно обособиться.

— Ну да. На деньги моего папы?

Эта деталь от Альмы как-то ускользнула. Первым шагом на пути к независимости было получение диплома, не важно, по какой специальности. С призванием девушка пока не определилась.

— Твоя мама повсюду ищет мне мужа. А я не осмеливаюсь сказать, что собираюсь выйти за Ичимеи.

— Альма, проснись наконец! Ичимеи уже десять лет как исчез из твоей жизни.

— Восемь, а не десять.

— Выбрось его из головы. Даже в том невероятном случае, если он снова объявится и будет в тебе заинтересован, ты прекрасно знаешь, что не сможешь за него выйти.

— Почему?

— То есть как почему? Потому что он принадлежит к другой расе, к другому классу, другой культуре, другой религии, у него другой уровень достатка. Тебе нужны еще причины?

— Ну тогда останусь старой девой. А у тебя, Нат, есть возлюбленная?

— Нет, но если появится, ты первая об этом узнаешь.

— Так даже лучше. Можем изобразить, что мы вместе.

— Зачем?

— Чтобы ко мне не клеились всякие дураки.

За последние месяцы внешность двоюродной сестры переменилась: это была уже не школьница в гольфах, новый наряд переводил ее в категорию элегантных женщин, вот только на Натаниэля, хранителя всех ее откровений, не произвели впечатления ни сигаретка, ни аквамариновый костюм, ни шляпка, перчатки и туфли

вишневого цвета. Альма оставалась все той же балованной девчушкой, она вцепилась в своего спутника, испугавшись нью-йоркской толчеи и грохота, и не отпускала до самого гостиничного номера.

«Поспи со мной, Нат», — взмолилась она с тем же отчаянным выражением, какое было у нее в детстве, в шкафу для рыданий; но Натаниэль уже утратил невинность, и спать с Альмой теперь означало для него совсем другое. На следующий день они сели на бостонский поезд, нагруженные невообразимым багажом.

Альма представляла себе Бостонский колледж более свободным продолжением школы, которая для нее проскочила незаметно. Девушка торопилась блистать нарядами, вести богемную жизнь, вместе с Натаниэлем ходить по барам и кафе, а в свободное время посещать какие-нибудь занятия, чтобы не расстраивать дядю с тетей. Вскоре Альма обнаружила, что никто на нее не смотрит, что в Бостоне есть сотни куда более соблазнительных девушек, что у двоюродного брата всегда находится повод, чтобы отменить встречу, и что она плохо подготовлена к учебе. В соседки ей досталась толстушка из Виргинии, которая при первой возможности представила Альме библейские доказательства превосходства белой расы. Черные, желтые и краснокожие происходят от обезьян; Адам и Ева были белые; Иисус, возможно, был американец, тут она не уверена. В целом соседка не одобряла поведения Гитлера, но была вынуждена признать, что в еврейском вопросе он не ошибался: евреи — проклятая раса, поскольку они распяли Иисуса. Альма попросилась в другую комнату. Переселение заняло две недели, а новая соседка целиком состояла из маний и фобий, но по крайней мере не была антисемиткой.

Первые три месяца Альма жила в замешательстве, не могла приспособиться даже к самым простым вещам: еда, стирка, расписание уроков; этим всегда занимались ее воспитательницы, а потом самоотверженная тетушка Лиллиан. Альма ни разу в жизни не заправляла постель и не гладила блузку — для этого имелись служанки; не приходилось ей и придерживаться бюджета, потому что в Си-Клифф о деньгах не говорили. Альма удивилась, когда Натаниэль объяснил, что в ее месячную дотацию не включены рестораны, чайные салоны, маникюр, парикмахерские и массаж. Раз в неделю двоюродный брат приходил с тетрадью и карандашом в руке, чтобы

приучить сестру к подсчету расходов. Альма обещала исправиться, но через неделю снова была в долгах. Она чувствовала себя чужой в этом надменном, величественном городе; соученицы не принимали ее в свой круг, а молодые люди не замечали, но об этом она не писала тете с дядей, а когда Натаниэль советовал вернуться домой, упрямо повторяла, что для нее что угодно будет лучше униженного возвращения с поджатым хвостом. Альма запиралась в ванной, как раньше — в шкафу, и включала душ, чтобы не было слышно ругательств, которыми она проклинала свою несчастную жизнь.

В ноябре на Бостон всей тяжестью обрушилась зима. Свои первые шесть лет Альма провела в Варшаве, но тамошней погоды не помнила; она была совершенно не подготовлена к тому, что происходило в течение нескольких месяцев. Под натиском града, шквалистого ветра и снега город утратил краски, пропал свет, все стало серым и белым. Жизнь протекала за закрытыми дверями, в ознобе, как можно ближе к батареям. Сколько бы одежды Альма на себя ни натягивала, мороз проникал сквозь кожу и пронизывал кости, стоило ей высунуть нос наружу. Ладони и ступни покрылись обморожениями, простуда и кашель приобрели характер постоянства. Альме приходилось собирать волю в кулак, чтобы по утрам вылезти из постели, закутаться по-эскимосски и перейти из здания в здание, перебирая ногами по льду, прижимаясь к стенам — иначе ветер повалит на землю. Улицы становились непроходимыми, машины стояли, запертые сугробами, которые автолюбителям с утра приходилось атаковать ломом и лопатами; люди ходили ссутулившись, покрыв себя шерстью и мехом, с улиц исчезли дети, птицы и домашние животные.

И вот когда Альма наконец признала поражение и сказала Натаниэлю, что готова позвонить дяде с тетей и попросить, чтобы ее вызволили из этого холодильника, произошла ее первая встреча с Верой Ньюман, художницей и импресарио, сделавшей свое искусство доступным для простых людей в форме платков, простыней, скатертей, тарелок, платьев и, в общем, любых вещей, на которые можно наносить рисунок или штамповку. Вера зарегистрировала свою марку в 1942 году и уже скоро создала новый рынок. Альма смутно помнила, что тетя Лиллиан соревновалась с подругами, чтобы в каждом сезоне первой блеснуть шалью или платьем с новым дизайном от Веры, но о самой художнице Альма ничего не знала. Студентка попала на ее

выступление случайно, когда хотела спрятаться от холода между лекциями, и вот она оказалась в зале, где стены были завешаны тканями. Все цвета, сбежавшие от бостонской зимы, спрятались внутри этих стен — дерзкие, причудливые, фантастичные.

Публика приветствовала докладчицу стоя, бурной овацией, и Альма в очередной раз познала меру своего невежества. Девушка и не подозревала, что дизайнер платков тетушки Лиллиан — знаменитая фигура. Вера Ньюман не отличалась внушительной внешностью. Росту в ней было полтора метра, вела она себя робко, пряталась за толстыми очками в темной оправе, закрывавшими половину лица, но как только эта женщина открыла рот, всем стало ясно, что выступает гигант. Альма плохо видела сцену, но внимала каждому слову, и внутри у нее сжимался комок. Девушка ясно почувствовала, что этот момент — решающий в ее жизни. Один час и пятнадцать минут эта эксцентричная, яркая, крохотная феминистка потрясала слушателей рассказом о своих нескончаемых путешествиях, источнике вдохновения для ее разнообразных коллекций: здесь были Индия, Китай, Гватемала, Исландия, Италия и вся оставшаяся часть планеты. Вера говорила о философии, о технологиях, о превращении ее изделий в товар и об их распространении, о препятствиях, которые ей удалось преодолеть.

В тот же вечер Альма позвонила Натаниэлю, чтобы с восторгом сообщить о своих планах на будущее: она пойдет по стопам Веры Ньюман.

— Кого?

— Женщины, которая создала простыни и скатерти в доме твоих родителей, Нат. Я не собираюсь тратить время на лекции, которые мне никогда не пригодятся. Я решила изучать в университете дизайн и живопись. Я буду ходить на занятия к Вере, а потом, как она, отправлюсь путешествовать по свету.

Через несколько месяцев Натаниэль закончил учебу на юридическом факультете и вернулся в Сан-Франциско, но Альма с ним не поехала, несмотря на все давление тети Лиллиан. Девушка выдержала четыре бостонские зимы, больше не упоминала про климат, неумоимо занималась рисунком и живописью. Она не обладала легкостью Ичимей в рисунке и отвагой Веры в цветовых решениях, но была преисполнена решимости заместить нехватку таланта хорошим

вкусом. Уже тогда Альма ясно представляла себе направление, в котором будет двигаться. Ее изделия будут более утонченными, чем у Веры, потому что в ее намерения входило не потакать массовому вкусу и добиваться коммерческого успеха, а творить для собственного удовольствия. Альме никогда не приходило в голову, что можно работать, чтобы жить. Никаких платков по десять долларов, никаких простыней и салфеточек оптом: она будет рисовать или штамповать только на определенных предметах одежды, всегда из лучших сортов шелка, и каждое произведение будет подписано. Все, что выйдет из ее рук, будет таким эксклюзивным и дорогим, что подруги тети Лиллиан ради обладания этими предметами будут готовы убивать соперниц. В те годы Альма победила паралич, в который вгонял ее этот великолепный город, она начала двигаться, пить коктейли, не теряя при этом головы, и заводить друзей. Она до такой степени почувствовала себя бостонкой, что, когда приезжала на каникулы в Калифорнию, ей казалось, что это какая-то отсталая страна на другом континенте. У девушки появились поклонники и на танцплощадках: безудержные детские пляски с Ичимеи принесли свои плоды, а первая сексуальная близость прошла у нее без церемоний, за кустами во время одного из пикников. Этот случай умерил ее любопытство и избавил от комплекса двадцатилетней девственницы. Потом у Альмы было еще два-три подобных приключения с разными партнерами — они ничем примечательным не запомнились и подтвердили ее решение ждать Ичимеи.

ВОСКРЕСЕНИЕ

За две недели до выпуска Альма позвонила Натаниэлю в Сан-Франциско, чтобы согласовать детали путешествия семьи Беласко в Бостон. Она была первой женщиной в их семействе, получающей университетский диплом, и тот факт, что ее специальность — дизайн и история искусств, материи сравнительно темные, не уменьшал ее заслуг. На церемонии собирались быть даже Марта и Сара, отчасти из-за того, что потом планировали отправиться в Нью-Йорк за покупками; а вот дядя Исаак присутствовать не мог: кардиолог запретил ему летать на самолетах. Дядюшка собирался ослушаться этого приказа, ведь он был привязан к Альме больше, чем к родным дочерям, но тетя Лиллиан этого не допустила. В разговоре с двоюродным братом Альма мимоходом заметила, что уже несколько дней чувствует себя так, как будто за ней шпионят. Сама она не придает этому никакого значения, сказала девушка, это определенно капризы воображения, нервозность выпускных экзаменов; но Натаниэль настойчиво потребовал подробностей. Было два анонимных звонка: мужской голос с иностранным акцентом спрашивал Альму Беласко, а потом трубку сразу бросали; возникло неприятное ощущение, что за ней наблюдают, ходят по пятам; какой-то мужчина расспрашивал о ней ее приятельниц, и, по описаниям, это был тот самый незнакомец, которого она сама видела несколько раз — в аудитории, в коридорах, на улице. Натаниэль с подозрительностью адвоката посоветовал сестре подать письменное заявление в полицию при университетском кампусе, это такая легальная мера предосторожности: если что-то случится, ее подозрения будут зафиксированы. А еще Натаниэль запретил ей выходить из дому в одиночку. Альма его не послушалась.

Было время безудержных вечеринок, когда студенты прощались с университетом. За музыкой и алкоголем Альма совсем позабыла о придуманной ею зловещей тени — до пятницы перед самым выпускным вечером. Большую часть ночи девушка провела в отчаянном разгуле, слишком много пила, удерживаясь на ногах с помощью кокаина, — такую смесь она переносила лучше всего. В три часа утра веселая компания в автомобиле с откинутым верхом

высадила Альму перед ее квартирой. Пошатываясь, с туфлями в руках, растрепанная ночебродка искала в сумочке ключ, но не нашла, потому что рухнула на колени и блевала, пока не опустошилась совершенно. Приступы сухой тошноты сотрясали ее еще несколько минут, по щекам текли слезы. В конце концов Альме удалось подняться: она была мокрая от пота, дрожала и подвывала от омерзения. И вдруг ее ухватили за плечи две крепкие руки. Ее резко оторвали от земли. «Альма Мендель, тебе должно быть стыдно!» Девушка не узнала голос, который слышала по телефону. Она перегнулась пополам в приступе тошноты, но железная хватка сделалась еще крепче. «Пустите, пустите!» — взвизгнула Альма, брыкаясь. Оплеуха на мгновение ее протрезвила, и она смогла разглядеть очертания незнакомца — темное лицо, все изрезанное шрамами, бритый наголо череп. Девушка непонятно от чего почувствовала огромное облегчение, закрыла глаза и сдалась на милость последствий пьянки и своего рискованного положения: она находилась в железных объятиях незнакомца, который только что ее ударил.

В субботу в семь утра Альма проснулась, укрытая грубым одеялом, царапавшим кожу, на заднем сиденье какого-то автомобиля. Пахло блевотиной, мочой, сигаретами и алкоголем. Девушка не понимала, где она, и не помнила ничего из событий прошлой ночи. Альма села и попыталась привести себя в порядок. И только тогда обнаружила, что лишилась платья и нижней юбки, на ней только лифчик, трусы, пояс и драные чулки, туфель нет. В голове звенели безжалостные колокола, рот пересох, ей было холодно и очень страшно. Альма повалилась обратно на сиденье и замерла, съежившись, поскуливая и мысленно взывая к Натаниэлю.

Потом ее потрясли за плечо. Альма с большим трудом разлепила веки, постаралась сфокусировать взгляд и разглядела мужскую фигуру, наклонившуюся к ней через открытую дверь.

— Кофе и аспирин. От этого тебе немного полегчает. — Мужчина протянул ей стакан и две таблетки.

— Пустите, мне нужно идти, — попросила она, едва ворочая языком и пытаясь приподняться.

— В таком состоянии тебе идти некуда. Семья приезжает через несколько часов. Выпускной — завтра. Пей кофе. И если тебе интересно, я твой брат Самуэль.

Так воскрес Самуэль Мендель, одиннадцать лет спустя после своей гибели на севере Франции.

Когда кончилась война, Исаак Беласко получил достоверные сведения о судьбе родителей Альмы: они попали в нацистский лагерь смерти, рядом с деревней Треблинка, на севере Польши. Русские не документировали освобождение лагеря, как поступали в других местах американцы, и официальных сведений о происходившем в этом аду сохранилось крайне мало, однако, по подсчетам Еврейского агентства, между июлем 1942 и октябрём 1943 года там погибло 840 тысяч человек, из них 800 тысяч были евреями. Что касается Самуэля Менделя, Исаак выяснил, что его самолет был сбит над территорией Франции, оккупированной немцами, и, по сведениям британских военных архивов, выживших не было. Альма уже много лет ничего не знала о своей семье и признала всех погибшими задолго до того, как дядя смог это подтвердить. Получив точные известия, девушка не заплакала, как можно было ожидать, потому что в течение многих лет так прилежно училась контролировать свои чувства, что утратила способность их выражать. Исаак с Лиллиан посчитали необходимым поставить точку в давней трагедии и отвезли племянницу в Европу. На кладбище во французской деревушке, близ которой упал самолет Самуэля, они установили памятную плиту с его именем и датами рождения и смерти. Им не удалось получить разрешения на поездку в Польшу, подконтрольную советским властям; это паломничество Альма совершит гораздо позднее. Война окончилась четыре года назад, но Европа до сих пор лежала в руинах, и по ней путешествовали толпы людей в поисках родины. Альма почувствовала, что ей не хватит одной жизни, чтобы расплатиться за роскошь быть единственной выжившей из семьи.

Потрясенная словами незнакомца, назвавшегося Самуэлем Менделем, Альма подскочила на сиденье и в три глотка расправилась с кофе и аспирином. Этот мужчина не был похож на юношу с румяными щеками и озорным выражением лица, с которым она прощалась на данцигском причале. Ее настоящий брат был тем смутным воспоминанием, а не человеком, которого она видела перед собой, — худым, высохшим, с тяжелым взглядом и жестоким ртом, с

обожженной кожей и с глубокими бороздами морщин и шрамов по всему лицу.

— Как я могу проверить, что ты мой брат?

— Никак не можешь. Но если бы не так, я не стал бы тратить на тебя время.

— Где моя одежда?

— В прачечной. Через час будет готова. У нас есть время поговорить.

Самуэль рассказал, что последнее, что он видел из сбитого самолета, — это мир с высоты, который вращался не переставая. Он не спрыгнул с парашютом, это уж наверняка, потому что тогда угодил бы прямо к немцам, и он не мог внятно объяснить, как уберется от смерти, когда машина упала и загорелась. Самуэль считал, что его выкинуло из кабины и он приземлился на кроны деревьев, зацепился и повис. Немецкий патруль обнаружил тело второго пилота и дальше искать не стал. Самуэля спасли участники французского Сопротивления, он был без памяти, с многочисленными переломами. Увидев, что летчик обрезан, его передали в группу еврейского Сопротивления. Несколько месяцев раненого прятали по пещерам, конюшням, подземельям, заброшенным заводам и в домах добрых людей, готовых помочь; его часто перемещали с места на место, пока сломанные кости не срослись; он перестал быть обузой и смог влиться в отряд в качестве бойца. Пелена, замутнявшая его разум, сходила гораздо дольше, чем заживало тело. По форме, которая на нем была, когда его нашли, Самуэль знал, что прибыл из Англии. Он понимал английскую и французскую речь, но отвечал по-польски; прошли целые месяцы, прежде чем молодой человек восстановил другие языки, которыми владел. Товарищи не знали его имени, поэтому называли его Резаный из-за многочисленных шрамов, но сам он решил назваться Жаном Вальжаном в честь героя романа Виктора Гюго, который читал во время выздоровления. Он сражался бок о бок с товарищами в войне, состоящей из мелких стычек, которая как будто не имела никакого смысла. Немцы действовали столь эффективно, их самомнение было столь незыблемо, жажда власти и крови столь велика, что диверсионные акции, которые устраивала группа Самуэля, не могли даже оцарапать кожу чудовища. Бойцы жили в тени, с вечным

ощущением поражения и собственной ненужности, в отчаянии перебегали с места на место, как крысы, но все-таки продолжали двигаться, потому что выбора у них не было. Для приветствия им служило только одно слово: победа. Для прощания им служило то же слово: победа. Финал можно было предвидеть — Самуэля арестовали во время одной из диверсий и отправили в Освенцим.

В конце войны Жану Вальжану, выжившему в концлагере, удалось подпольно переправиться в Палестину, куда, несмотря на помехи со стороны Великобритании, накатывали волны еврейских беженцев. Англичане контролировали этот регион и всячески препятствовали эмиграции, чтобы не допустить конфликта с арабами. Война превратила Самуэля в одинокого волка, который никогда не ослаблял защитных инстинктов. В любви молодой человек довольствовался случайными подругами, пока одна из них, его товарищ по Моссаду (израильской разведывательной службе), отважная опытная шпионка, не объявила, что у него будет ребенок. Девушку звали Анат Ракоши, она эмигрировала из Венгрии вместе с отцом, из многочисленной семьи выжили только они двое. Связь двух разведчиков строилась на взаимной склонности, без романтики и планов на будущее, это устраивало обоих, и они ничего не стали бы менять, если бы не неожиданная беременность. Анат считала себя бесплодной после голода, побоев, изнасилований и медицинских «экспериментов», которые на ней проводили. Убедившись, что в животе у нее не просто вздутие, а ребенок, Анат решила, что это такая шутка Бога. Она ничего не говорила своему любовнику вплоть до шестого месяца. «Ох! А я уж думал, ты наконец-то немножко потолстела», — так отреагировал Самуэль, но известие его определенно порадовало. «В первую очередь нужно выяснить, кто ты такой, чтобы это существо знало, откуда оно родом. Фамилия Вальжан слишком уж театральная», — сказала Анат. Он год за годом откладывал выяснение собственной личности, однако его подруга приступила к делу незамедлительно, с тем же упорством, с каким искала для Моссада убежища нацистских преступников, спасшихся от Нюрнбергского трибунала. Она начала с Освенцима, последнего местопребывания Самуэля перед концом войны, а потом вытягивала ниточку его истории виток за витком. Выставив живот вперед, она отправилась во Францию, чтобы встретиться с одним из немногих членов еврейского Сопротивления, которые до сих пор

оставались в стране, и он помог ей выйти на бойцов, спасавших английского пилота; дело оказалось непростое, потому что после войны выходило так, что все французы были героями Сопротивления. Анат завершила свои поиски в Лондоне, просматривая архивы Королевских военно-воздушных сил, там она нашла фотографии нескольких юношей, отдаленно напоминавших ее возлюбленного. Больше зацепок у нее не было. Она назвала по телефону пять фамилий. «Есть что-то знакомое?» — спросила она. «Мендель! Я уверен. Моя фамилия — Мендель», — ответил он, едва сдерживая рыдания.

— Моему сыну четыре года, его зовут Барух, как и нашего отца. Барух Мендель, — произнес Самуэль, сидя рядом с Альмой на заднем сиденье.

— Ты женился на Анат?

— Нет. Мы пытаемся жить вместе, но это не так просто.

— Ты уже четыре года про меня знаешь, и до сих пор тебе не приходило в голову меня повидать? — упрекнула Альма.

— Зачем мне было тебя искать? Брат, которого ты знала, погиб в воздушном бою. Ничего не осталось от мальчишки, который уехал в Англию и записался в летчики. Я знаю эту историю, потому что Анат ее упорно мне пересказывает, но я не чувствую ее своей, этот рассказ пустой, без смысла внутри. Честно сказать, я тебя не помню, но я уверен, что ты моя сестра, потому что Анат в таких вещах не ошибается.

— А вот я помню, что у меня был брат, который возился со мной и играл на пианино, но ты на него не похож.

— Мы не виделись много лет, и, говорю тебе, я уже не такой.

— Почему ты решил появиться сейчас?

— Я здесь не из-за тебя, у меня задание, но об этом я не могу говорить. Я воспользовался тем, что оказался рядом, и заехал в Бостон, потому что Анат считает, что Баруху нужна тетя. Отец Анат умер несколько месяцев назад. От ее семьи никого не осталось, и от моей тоже, только ты. Не хочу тебе ничего навязывать, Альма, я только хочу, чтобы ты знала: я жив и у тебя есть племянник. Вот что передает для тебя Анат.

И Самуэль протянул сестре цветную фотографию их семьи. Анат Ракоши на снимке сидела, держа сына на руках, это была худая, выцветшая женщина в круглых очках. Рядом, скрестив руки на груди, сидел Самуэль. У мальчика были резкие черты и темные взъерошенные волосы, как у отца. На обратной стороне фотографии Самуэль написал тель-авивский адрес.

— Приезжай, Альма, познакомишься с Барухом, — сказал он на прощание, когда забрал одежду из прачечной и подвез сестру домой.

МЕЧ СЕМЬИ ФУКУДА

Агония продолжалась три недели. Легкие были поражены раком, дыхание стало хриплым, судорожным, как у рыбы без воды, и смерть стоила Такао Фукуде больших усилий. Он почти не мог говорить и был настолько слаб, что даже попытки общаться письменно оказались бесполезны: распухшие, дрожащие руки не могли выводить тонкие иероглифы. Такао отказывался есть, а пищевой зонд выдергивал, стоило родственникам или сиделкам на мгновение отвлечься. Вскоре Такао погрузился в тяжелую дремоту, но Ичимеи, дежуривший в больнице посменно с матушкой и сестрой, знал, что отец пребывает в сознании и тоске. Ичимеи поправлял подушки, чтобы поддерживать умирающего в полусидячем положении, обмакивал пот, протирал лосьоном шелушащуюся кожу, клал на язык кусочки льда, рассказывал о садах и растениях. В один из таких моментов, когда никого рядом не было, Ичимеи заметил, что отцовские губы шевелятся, проговаривая одно и то же слово как будто марку сигарет, однако мысль, что батюшка в сложившихся обстоятельствах собрался покурить, была такой вздорной, что Ичимеи не принял ее всерьез. Он провел целый вечер, стараясь расшифровать отцовское послание. Кеми Морита? Вы про нее говорите, батюшка? Хотите ее видеть? — наконец догадался он. Такао кивнул, собрав всю оставшуюся в нем энергию. Кеми Морита была духовным лидером Оомото, женщиной, о которой говорили, что она общается с духами. Ичимеи был с ней знаком, потому что Кеми Морита часто путешествовала, навещая малые общины Оомото.

— Батюшка хочет, чтобы мы позвали Кеми Мориту, — сказал он старшей сестре.

— Ичимеи, она живет в Лос-Анджелесе.

— Сколько у нас осталось денег? Мы могли бы купить ей билет.

Когда Кеми Морита приехала, Такао больше не шевелился и не открывал глаза. Единственным признаком жизни оставалось гудение дыхательного аппарата. Такао висел на самом краю, в ожидании. Мегуми сумела одолжить машину у подруги с работы и встретила служительницу Оомото в аэропорту. Кеми Морита казалась

десятилетней девочкой в белой пижамке. Серые волосы, сторбленные плечи и шаркающая походка не сочетались с ее гладким лицом без морщин — бронзовой маской спокойствия.

Кеми Морита мелкой поступью подошла к постели и взяла умирающего за руку; Такао приоткрыл глаза и не сразу, но узнал свою духовную наставницу. И тогда его изможденное лицо едва заметно переменялось. Ичimei, Мегуми и Хейдеко отошли вглубь палаты, а Кеми начала читать долгую молитву — или поэму — на старояпонском языке. Потом она приникла ухом к губам Такао. Через несколько минут Кеми поцеловала его в лоб и обернулась к семье.

— Здесь собрались мать, отец, дед и бабушка Такао. Они проделали долгий путь, чтобы сопроводить его на Другую Сторону, — произнесла она по-японски, указывая на изголовье кровати. — Такао готов уходить, но прежде он должен передать весть Ичimei. Вот эта весть: «Меч семьи Фукуда захоронен в саду над морем. Он не может оставаться там, Ичimei, ты должен его забрать и перенести туда, где ему надлежит быть, на семейный алтарь предков».

Ичimei принял эту весть, согнувшись в глубоком поклоне, поднеся руки ко лбу. Он не очень ясно помнил ночь, когда хоронили меч семьи Фукуда, годы стерли подробности этой церемонии, но Хейдеко и Мегуми знали, о каком саде над морем идет речь.

— А еще Такао просит о последней сигарете, — добавила Кеми Морита на прощание.

Вернувшись из Бостона, Альма увидела, что за годы ее отсутствия семья Беласко переменялась сильнее, чем можно было предположить по письмам. В первые дни она чувствовала себя лишней, случайной гостьей и спрашивала себя, где ее место в этой семье и что ей вообще делать со своей гребаной жизнью. Сан-Франциско казался ей провинциальным: чтобы сделать себе имя, ей нужно было перебраться в Нью-Йорк, оказаться среди художников, поближе к европейским веяниям.

За это время родились представители нового поколения Беласко: сыну Марты исполнилось три месяца, а еще были близняшки Сары, по ошибке генетики родившиеся с нордической внешностью.

Натаниэль руководил отцовской конторой, он один проживал в пентхаусе с видом на бухту Сан-Франциско, а в свободные часы

рассекал эту бухту под парусом. Сын Исаака был скуп на слова и скуп на дружбу. В свои двадцать шесть лет он продолжал сопротивляться наступательной кампании матери по поиску достойной супруги. Кандидаток было более чем достаточно, ведь Натаниэль происходил из хорошей семьи, имел и деньги, и привлекательную внешность, был тем самым *меньше*, каким его хотел видеть отец, и все девушки на выданье из еврейской общины на него заглядывались. Тетушка Лиллиан изменилась мало, она была все такая же активная и добродушная, вот только глухота ее усилилась, говорила она криком, а голова поседела — Лиллиан не красила волосы вовсе не потому, что не хотела молодиться, как раз наоборот. На ее мужа два десятилетия обрушились одним махом, и теперь несколько лет, составлявшие разницу между ними, как будто увеличились втрое. Исаак перенес инфаркт и, хотя сумел восстановиться, ощутимо ослабел. На два часа в день он в порядке самодисциплины ходил в контору, но, вообще-то, всю работу он препоручил Натаниэлю; Исаак полностью отказался от светской жизни, никогда его не привлекавшей, много читал, любовался морем и бухтой из беседки в своем саду, растил мастиковые деревья в теплице, штудировал книги по юриспруденции и ботанике. Исаак помягчел характером, и даже при самых незначительных эмоциях на его глаза накатывали слезы. А Лиллиан жила с кинжалом постоянного страха в печенках. «Поклянись, что не умрешь раньше меня, Исаак», — требовала она в моменты, когда у него перехватывало дыхание и он влачился к постели, бледный, как простыня, едва переставляя ноги. Лиллиан вовсе не умела готовить, всегда доверяла заботы по кухне повару, однако с тех пор, как муж ее начал дряхлеть, сама варила ему супчики по проверенным рецептам своей матери, записанным от руки в тетради. Лиллиан обязала мужа пройти осмотр у дюжины докторов, ходила вместе с ним на консультации, чтобы не давать Исааку умалчивать о болезнях, и следила за тем, как он принимает лекарства. Кроме того, она не пренебрегала и эзотерикой. Она молила Бога не только утром и вечером, как это положено, но и в любой час дня: «*Shemá Ysrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad*». В целях безопасности Исаак спал под бирюзовым глазом и рукой Фатимы^[12] из раскрашенной латуни, висящими в изголовье кровати; на комодке всегда находились зажженная свеча, еврейская Библия, христианская

Библия и пузырек со святой водой, которую служанка принесла из часовни Святого Иуды.

— Что это? — спросил Исаак, когда на его столике появился скелет в шляпе.

— Это барон Суббота. Мне его прислали из Нового Орлеана. Это божество смерти и божество здоровья, — сообщила Лиллиан.

Первым побуждением Исаака было смахнуть на пол все фетиши, заполнившие его комнату, однако любовь к жене оказалась сильнее. Ему ничего не стоило оставить все на своих местах, если это могло хоть как-то поддержать Лиллиан, необратимо соскальзывающую к паническому ужасу. Другого утешения он ей дать не мог. Исаак сам был поражен своим физическим износом: он всегда был сильным, здоровым мужчиной и считал себя непробиваемым. Неодолимая усталость проедала его До костей, и только слоновье упорство позволяло справляться с обязанностями, которые он сам на себя возложил. Среди таковых фигурировала и обязанность оставаться живым, чтобы не подводить жену.

Приезд Альмы подарил дяде глоток энергии. Он не любил публичного изъяснения чувств, но пошатнувшееся здоровье сделало его уязвимым, и ему приходилось всегда оставаться настороже, чтобы поток нежности, который он нес в себе, не выплеснулся наружу. Эта сторона жизни Исаака была доступна только для Лиллиан, в моменты особенной близости. Натаниэль был посохом, на который опирался отец, его лучшим другом, напарником и доверенным лицом, но Исаак никогда не чувствовал потребности все это ему высказывать; мужчины воспринимали такие отношения как сами собой разумеющиеся, не хотели облекать их в слова, чтобы друг друга не смущать. С Мартой и Сарой Исаак обращался как добрый благосклонный патриарх, но как-то по секрету признался Лиллиан, что дочери ему несимпатичны — слишком уж скарედные.

Матери они тоже не слишком нравились, но она этого никогда и ни перед кем не признавала. Внуками Исаак любовался издали. «Подождем, пусть подрастут, они пока еще не люди», — говорил он шутливо, как бы оправдываясь, хотя на самом деле именно так к ним и относился. А вот к Альме он в глубине души всегда чувствовал слабость.

Когда в 1939 году эта племянница явилась из Польши и начала жить в Си-Клифф, Исаак Беласко преисполнился к ней такой нежности, что позже, когда пропали ее родители, винил себя в постыдной радости: теперь у него появится возможность занять их место в сердце девочки. Он не ставил задачу формировать Альму как личность (в отличие от собственных дочерей) — только защищать, и это подарило его любви свободу. Он переложил на Лиллиан заботу о девчачьих потребностях Альмы, а сам с увлечением развивал ее интеллект и делился своей страстью к ботанике и географии. И именно в тот день, когда он показывал племяннице свои книги о садах, у него возникла идея создать Фонд Беласко. На протяжении нескольких месяцев они вместе перебирали различные возможности, прежде чем идея не сформировалась окончательно, причем именно тринадцатилетней девочке пришло в голову разбивать сады в самых бедных кварталах города. Исаак ею восхищался: он с изумлением наблюдал за эволюциями ее представлений о жизни, ему было понятно ее одиночество, его трогало, когда племянница его искала, чтобы пообщаться. В такие моменты Альма садилась рядом, клала ему руку на колено и они вместе смотрели телевизор или читали книги по садоводству, а вес и тепло маленькой ладошки были для него бесценным подарком. Сам Исаак любил погладить Альму по голове, когда проходил мимо, — только если никого не было рядом, покупал девочке сласти и подкладывал под подушку. Молодая женщина, приехавшая из Бостона, с геометрически идеальной прической, алыми губами и твердой поступью не была той прежней Альмой, что засыпала в обнимку с котом, потому что боялась спать одна, но как только обоюдную неловкость удалось преодолеть, они восстановили невидимую связь, которую поддерживали больше десяти лет.

— Ты помнишь семью Фукуда? — спросил дядя Исаак через несколько дней.

— Ну как же не помнить! — порывисто воскликнула Альма.

— Вчера мне позвонил один из детей.

— Ичимеи?

— Да. Он ведь младший, верно? Спросил, можно ли ко мне зайти, у него есть разговор. Они живут в Аризоне.

— Дядюшка, Ичимеи мой друг, и я не видела его с самой эвакуации. Пожалуйста, можно я тоже приду?

— Он дал понять, что разговор будет конфиденциальный.

— Когда он придет?

— Я тебя предупрежу.

Через две недели Ичимеи появился в Си-Клифф, он был в темном костюме, при черном галстуке. Альма ждала его с колотящимся сердцем; она распахнула дверь раньше, чем Ичимеи успел позвонить, и бросилась ему на шею. Девушка была все так же выше ростом, ее напор едва не сбил гостя с ног. Ичимеи растерялся: он не ожидал встретить Альму, а публичные проявления чувств у японцев не приветствуются, он не знал, как отвечать на такую пылкость, но девушка и не дала ему времени на раздумья; она схватила парня за руку и затащила в дом, глаза ее повлажнели, она повторяла его имя, а как только оба оказались внутри, Альма поцеловала Ичимеи в губы. Исаак Беласко ждал в библиотеке, в своем любимом кресле, держа на коленях Неко, кота Ичимеи, которому было уже шестнадцать лет. С этой позиции он наблюдал за их встречами, но, расчувствовавшись, прикрывался газетой, пока Альма не ввела гостя в библиотеку. Она оставила мужчин наедине и закрыла дверь.

Ичимеи вкратце пересказал Исааку Беласко историю своей семьи, которую старик уже знал, потому что после телефонного звонка выяснил о Фукуда все, что мог. Он не только знал о смерти Такао и Чарльза, депортации Джеймса и бедственном положении вдовы и двух оставшихся детей, но и принял на этот счет некоторые меры. Единственной новостью в рассказе Ичимеи была предсмертная просьба Такао о мече.

— Я скорблю о смерти Такао. Он был моим другом и учителем. И Чарльза с Джеймсом мне тоже жаль. Никто не прикасался к месту, где лежит ваша семейная катана. Ты можешь забрать ее, когда пожелаешь, Ичимеи, но она была захоронена с почестями, и, думаю, твой отец хотел бы, чтобы и откапывали ее с такой же торжественностью.

— Вы правы, сэр. Сейчас мне некуда поместить этот меч. Могу я пока оставить его в саду? Надеюсь, это ненадолго.

— Такой меч делает честь любому дому, Ичимеи. Ты что, торопишься его забрать?

— Его место — в алтаре моих предков, но сейчас у нас нет ни дома, ни алтаря. Матушка, сестра и я живем в съемных комнатах.

— Сколько тебе лет, Ичимеи?

— Двадцать два.

— Ты совершеннолетний, глава семьи. Тебе следует взять на себя предприятие, которое мы задумали с твоим отцом.

Исаак Беласко рассказал изумленному Ичимеи, что в 1941 году они с Такао Фукудой создали товарищество для обустройства питомника с цветами и декоративными растениями. Война помешала начать работы, однако никто из партнеров не расторгнул устного соглашения, и, таким образом, оно остается в силе. В Мартинесе, на восточном краю бухты Сан-Франциско, есть участок земли, который Исаак в свое время приобрел по весьма выгодной цене. Речь идет о двух гектарах ровной, плодородной, хорошо орошаемой земли и о маленьком, но приличном доме, в котором Фукуда могли бы поселиться, пока не приобретут более достойное жилье. От Ичимеи потребуется упорная работа, чтобы развивать их общее предприятие, как было когда-то уговорено с Такао.

— Земля у нас уже есть, Ичимеи. Я внесу начальный капитал, чтобы подготовить почву и приступить к посадкам, остальное ложится на тебя. Ты можешь выплачивать свою долю с продаж, как будет получаться, без спешки и процентов. Когда придет время, мы перепишем питомник на твое имя. На сегодня этот участок принадлежит товариществу «Беласко, Фукуда и сыновья».

Исаак не упомянул, что и организация товарищества, и сама покупка земли осуществились меньше чем за неделю. Об этом Ичимеи узнает четыре года спустя, когда пойдет переписывать предприятие на свое имя.

Фукуда вернулись в Калифорнию и поселились в Мартинесе, что в сорока пяти минутах от Сан-Франциско. Ичимеи, Мегуми и Хейдеко, работая от зари до зари, собрали первый урожай цветов. Оказалось, что земля и климат для их целей подходят как нельзя лучше, осталось только внедрить продукты на рынок. Хейдеко доказала, что у нее в этой семье больше всех стойкости и мускулов. В Топазе она развила свои бойцовские и организаторские качества, в Аризоне тащила на себе всю семью, потому что Такао едва успевал дышать между сигаретами и приступами кашля. Хейдеко любила мужа с истовой преданностью, не сомневаясь в своем предназначении жены, но вдовство оказалось для нее освобождением. Когда она вернулась с

детьми в Калифорнию и обнаружила целых два гектара возможностей, она не колеблясь встала во главе нового предприятия. Мегуми поначалу слушалась мать, ее инструментами стали лопата и борона, но в мыслях у нее жило будущее, весьма далекое от сельского хозяйства. Ичimei обожал ботанику и проявлял железную выносливость на тяжелых работах, но ему не доставало практичности и коммерческой смекалки. Он был идеалист и мечтатель, любитель живописи и поэзии, более склонный к размышлению, нежели к торговле. Ичimei не отправлялся продавать свой потрясающий цветочный урожай в Сан-Франциско до тех пор, пока мать не приказала ему вычистить грязь из-под ногтей, надеть пиджак, белую рубашку (никакого траура!), нанять грузовик и ехать в город.

Мегуми составила список самых престижных цветочных магазинов, и Хейдеко объехала их один за другим с этим списком в руке. Сама она оставалась сидеть в кабине, потому что знала, что выглядит как японская крестьянка и английский у нее безобразный; товар предлагал Ичimei, у которого от стыда покраснели уши. От всего, что связано с деньгами, ему становилось неудобно. Мегуми считала, что ее брат не создан для жизни в Америке, слишком благоразумен, аскетичен, пассивен и скромнен; если бы это зависело от него, Ичimei ходил бы в одной набедренной повязке, с плоской, и просил бы на пропитание, как индийские отшельники и библейские пророки.

В тот вечер Хейдеко и Ичimei вернулись в Сан-Франциско с пустым кузовом. «Я ездила с тобой первый и последний раз, сынок. Ты в ответе за нашу семью. Мы не можем есть цветы, ты должен научиться их продавать», — сказала Хейдеко. Ичimei попытался переложить эту миссию на сестру, но Мегуми уже стояла одной ногой на пороге. Фукуда поняли, как просто выручить хорошую цену за цветы, и подсчитали, что смогут расплатиться за землю через четыре или пять лет, если только будут на всем экономить и если не случится какого-нибудь несчастья. К тому же, посмотрев их первый урожай, Исаак Беласко пообещал получить для них контракт с отелем «Фэйрмонт» на уход за великолепными букетами живых цветов в холле и гостиных, составлявших славу этого заведения.

В конце концов, после тринадцати лет несчастий семья начала становиться на крыло; и тогда Мегуми объявила, что ей исполнилось

тридцать лет и ей пора отправляться собственным путем. К этому времени Бойд Андерсон уже успел жениться и развестись, он был отцом двух детей и снова предложил Мегуми переехать к нему на Гавайи, где Бойд процветал со своей автомастерской и парком грузовиков. «Забудь про Гавайи. Если хочешь быть со мной, это возможно только в Сан-Франциско», вот что ответила она. Девушка решила учиться на акушерку. В Топазе она несколько раз принимала роды, и всегда, когда появлялось на свет новое существо, ее охватывал экстаз, который для нее больше всего походил на божественное откровение. Совсем недавно этот вид родовспоможения, прежде являвшийся привилегией мужчин, сделался доступен и для женщин, и Мегуми хотела оказаться одной из первых. Ее записали на курсы патронажных и медицинских сестер, основное преимущество которых состояло в бесплатности. В течение трех лет Бойд Андерсон продолжал методично ухаживать за Мегуми на расстоянии, уверенный, что как только его любимая получит диплом, она выйдет за него и переедет на Гавайи.

27 ноября 2005 года

Просто невероятно, Альма: Мегуми решила уйти на пенсию. Ей стоило громадных трудов получить диплом, она так любит свою работу, что мы думали, она никогда с нею не расстанется. Мы подсчитали, что за 45 лет она вытащила на свет примерно 5500 детей. Она говорит, это ее вклад в демографический взрыв. Сейчас ей восемьдесят, уже десять лет как вдова, пять внуков — самое время отдохнуть, но сестре втемяшилось в голову открыть продуктовый магазин. В семье ее никто не понимает, ведь Мегуми даже яичницу поджарить не может. У меня выдалось несколько свободных часов для живописи. На этот раз я не буду вспоминать пейзажи Топаза, как делал раньше. Я пишу тропинку в горах на юге Японии, ведущую к далекому, очень древнему храму. Мы должны еще раз вместе съездить в Японию, я бы хотел показать тебе этот храм.

Ичи

ЛЮБОВЬ

1955 год для Ичимеи был заполнен не только трудами и потом. Это был еще и год его любви. Альма отказалась от идеи вернуться в Бостон, превратиться во вторую Веру Ньюман и странствовать по свету. Единственной целью ее жизни было находиться рядом с Ичимеи. Почти каждый вечер, когда заканчивались полевые работы, они встречались в придорожном мотеле в девяти километрах от Мартинеса. Альма всегда приезжала первой и платила за комнату пакистанскому консьержу, который с головы до ног мерил ее взглядом, полным презрения. Она смотрела пакистанцу в глаза, гордо и вызывающе — пока тот не отводил взгляд и не выдавал ключ. Эта сцена повторялась без изменений с понедельника по пятницу.

Дома Альма сказала, что ездит на вечерние курсы в университет Беркли. Для Исаака, который называл себя человеком прогрессивным и мог заключать соглашения и дружить со своим садовником, сама мысль, что кто-то из его семьи вступит в интимную связь с кем-то из Фукуда, показалась бы противоестественной. А Лиллиан была убеждена, что Альма выйдет замуж за *меша* из еврейской общины, точно так же, как поступили Марта и Сара, — это не подлежало обсуждению. Единственным, кто знал тайну Альмы, был Натаниэль, и он тоже не одобрял двоюродную сестру. Девушка не рассказывала ему про мотель, а он не спрашивал, потому что не хотел знать подробности. Он больше не воспринимал Ичимеи как нездоровую блажь Альмы, от которой она излечится после новой встречи, однако Натаниэль надеялся, что девушка рано или поздно поймет, что у нее с японцем нет ничего общего. Натаниэль не помнил собственной детской дружбы с Ичимеи — в памяти остались лишь уроки боевых искусств на улице Пайн. С тех пор как Натаниэль пошел в колледж и прекратились театральные постановки на чердаке, они виделись очень редко, хотя Ичимеи регулярно приходил в Си-Клифф, чтобы поиграть с Альмой. Когда Фукуда вернулись в Сан-Франциско, у них были две короткие встречи: отец просил передать деньги на питомник. Натаниэль не мог понять, что такого разглядела его сестра в этом парне: Ичимеи был совершенно неприметен, ходил, не оставляя следов

— полная противоположность сильному, уверенному в себе мужчине, который мог бы справиться с такой непростой женщиной, как Альма. Молодой человек был уверен, что его мнение об Ичimei не изменилось бы, даже не будь тот японцем: раса тут ни при чем — все дело в характере. Ичimei недоставало амбиций и агрессивности, необходимых настоящему мужчине; сам Натаниэль намеревался возвращать в себе эти качества с помощью волевых усилий. Он очень хорошо помнил годы страха, пытку школой и нечеловеческие усилия по освоению профессии, требовавшей коварства, которого он был начисто лишен. Натаниэль был благодарен отцу за то, что тот направил юношу по своим стопам, потому что в роли адвоката он закалился, нарастил крокодилью кожу, потребную, чтобы рассчитывать только на себя и двигаться вперед. «Это ты так думаешь, Нат, но ты не знаешь Ичimei, да и себя ты не знаешь», — отвечала Альма, когда брат излагал ей свою теорию мужественности.

Память о благословенных месяцах, когда она соединялась с Ичimei в мотеле, где невозможно было потушить свет из-за ночной активности тараканов, будет поддерживать Альму в последующие годы, когда она приняла решение с помощью самых суровых мер победить любовь и желание, заместить их покаянием безусловной верности. С Ичimei она открывала множество оттенков любви и наслаждения, от алчной нетерпеливой страсти до тех священных моментов, когда обоих возносило вверх и они замирали на постели, касаясь друг друга лбами и взглядами, благодарные судьбе, побежденные прикосновением к самой глубокой тайне, очищенные отказом от всех прикрас, открывшие друг другу все уязвимые места, достигшие такого экстаза, где наслаждение неотлично от тоски, между упоением жизнью и сладким искушением тотчас же и умереть, чтобы никогда не разлучаться. Укрытая от мира магией любви, Альма не слушала внутренние голоса, призывавшие ее к порядку и осмотрительности, предупреждавшие о последствиях. Эти двое жили только ради одного события в день, и не было у них ни завтра, ни вчера, лишь эта гадостная комната с закупоренным окном, запахом плесени, застиранными простынями и неумолчным жужжанием вентилятора. Были только они вдвоем: сначала нетерпеливо целоваться на пороге, с еще не запертой дверью, потом прикоснуться друг к другу

стоя, избавиться от одежды, побросать ее как придется, пока не останутся только обнаженные трепещущие тела, чувствовать тепло, вкус и запах другого, фактуру кожи и волос, то волшебство, когда теряешь себя в желании, полное изнеможение, потом краткий миг дремотных объятий — и снова возродиться к страсти, к шуточкам, смеху и признаниям, вернуться в фантастическую вселенную близости. Зеленые пальцы Ичimei, способные вернуть жизнь умирающему растению или вслепую починить часы, раскрыли Альме ее собственную природу, норовистую и алчущую. Она веселилась, заставляя любовника врасплох, провоцируя, заставляя краснеть от смущения и удовольствия. Она была дерзка — он осторожен, она была шумлива при оргазме — он затыкал ей рот. Ей прилетали на язык вереницы романтических, страстных, льстивых и грязных слов, которые она шептала ему на ухо — или писала в торопливых письмах; он оставался сдержан, как и было свойственно его характеру и культуре.

Альма предавалась безмысленной радости любви. И удивлялась, как это никто не замечает сияния ее кожи, бездонной черноты в ее глазах, плавности поступи, томности голоса, пылающей энергии, которую она не могла и не желала скрывать. В те дни Альма записала в дневнике, что ходит порхая, под кожей у нее всегда пузырится газировка, волоски дыбятся от наслаждения; сердце ее выросло в шар и вот-вот лопнет, но в это раздутое сердце не вмещается ничего, кроме Ичimei, — остальной мир словно вылинял; что она рассматривает в зеркале свое обнаженное тело, воображая, что это Ичimei смотрит на нее с той стороны стекла, любясь ее длинными ногами, сильными руками, упругой грудью с темными сосками, ее гладким животом с нежной линией темных волосков от пупка к лобку, ее накрашенными губами, ее бедуинской кожей; что она спит, уткнувшись лицом в его майку, напиваясь запахами почвы, растений и пота; что она затыкает уши, чтобы вновь услышать мягкий и тягучий голос Ичimei, его неуверенный смех, столь непохожий на ее резкий раскатистый хохот, его призывы к осмотрительности, его рассказы о цветах, его слова о любви, произносимые по-японски, потому что английские слова кажутся ему безжизненными, его восторженные восклицания при виде ее дизайнерских опытов, в которых она стремится подражать Вере Ньюман, притом что сам он, обладающий истинным талантом, ни разу не пожаловался, что ему едва удавалось выкроить два часа на

живопись после одуряющей работы на земле, а потом в его жизни появилась она, заграбастала все его свободное время и заглотила весь его воздух. Потребность Альмы в любви ничем было не насытить.

СЛЕДЫ ПРОШЛОГО

Вначале Альма Беласко и Ленни Билл, ее друг, поселившийся в Ларк-Хаус, решили насладиться культурной жизнью Сан-Франциско и Беркли. Они ходили в кино, в театры, на концерты и выставки, экспериментировали в экзотических ресторанах и гуляли с собакой. Впервые за три года Альма появилась в семейной ложе на опере, однако в первом акте ее друг запутался в сюжете, а во втором уснул прежде, чем Тоска вонзила столовый нож в сердце Скарпия. От оперы пришлось отказаться. Машина Ленни была удобнее, чем у Альмы, и они ездили на ней в долину Нала наслаждаться буколическими виноградниками и пробовать вино или в Болинас — дышать соленым воздухом и есть устриц, но в конце концов оба устали выглядеть молодыми и активными, держась на силе воли, и постепенно уступили искушению покоя. Вместо всех этих прогулок, которые требовали перемещений, поисков интересных мест и пребывания на ногах, они смотрели кино по телевизору, слушали музыку у него или у нее или заходили в гости к Кэти, прихватив бутылку розового шампанского, в качестве дополнения к серой икре, которую привозила дочь Кэти, стюардесса «Люфтганзы». Ленни помогал в клинике — учил пациентов делать для театра Альмы маски из влажной бумаги и зубного цемента. Вечера они проводили за чтением в библиотеке, единственном общем помещении, где было более-менее тихо: шум являлся одним из неудобств совместного проживания. Если не было других вариантов, они усаживались в столовой Ларк-Хаус под пристальным наблюдением других постоялиц, завидующих счастливому жребию Альмы. Ирина чувствовала себя отринутой, хотя иногда ее и привлекали к совместным выходам; она перестала быть незаменимой для Альмы. «Это только твои домыслы, Ирина. Ленни с тобой не соперничает», — утешал подругу Сет, хотя и сам был обеспокоен: ведь если бабушка сократит Ирине рабочие часы, у него будет меньше возможностей видеться с девушкой.

В тот вечер Альма и Ленни сидели в саду и, по обыкновению, вспоминали прошлые деньки, а Ирина неподалеку мыла из шланга трехлапую Софию. Два года назад Ленни прочел в интернете про

организацию, спасающую румынских собак — в этой стране они бегали по улицам, сбиваясь в настоящие стаи, — и вывозящую животных в Сан-Франциско, чтобы передать в опеку американцам, склонным к такому типу благотворительности. Мордочка Софии с черным пятном на глазу пленила Ленни, и он не раздумывая заполнил электронный формуляр, перечислил требуемые пять долларов и на следующий день явился за новой питомцей. В описании забыли упомянуть, что у собачки не хватает одной лапы. Наличие всех остальных позволяло Софии вести полноценную жизнь, единственным следствием увечья было то, что она уничтожала одну из конечностей любого предмета, у которого их имелось четыре (это касалось, например, столов и стульев), однако Ленни решал эту сложность с помощью неиссякаемого запаса пластмассовых кукол: как только одна из них становилась хромой или однорукой, Ленни выдавал собаке следующую жертву» вот так они и жили. Единственной слабостью Софии была неверность хозяину. Она воспылала страстью к Кэтрин Хоуп и при малейшей возможности пулей устремлялась на поиски, чтобы в один прыжок оказаться у нее на груди. Софии нравилось путешествовать в кресле-каталке.

София кротко стояла под струей из шланга, пока Ирина беседовала с ней по-румынски — для отвода глаз, а сама прислушивалась к разговору Ленни с Альмой. Ей было стыдно подслушивать, но стремление проникнуть в тайну этой женщины превратилось у них с Сетом в настоящую манию. Ирина знала от самой Альмы, что дружба с Ленни зародилась в 1984 году, когда умер Натаниэль Беласко, и продолжалась всего несколько месяцев, но в силу обстоятельств эти месяцы выдались такими наполненными, что при встрече в Ларк-Хаус Альма и Ленни начали с того же места, как будто и не расставались. В данный момент Альма рассказывала, как в семьдесят восемь лет отказалась быть главой семьи Беласко, потому что устала подлаживаться под людей и правила, как поступала с самого детства. Она провела в Ларк-Хаус три года, и ей здесь все больше нравилось. Альма выбрала эту жизнь как епитимью, в качестве покаяния за свое привилегированное положение, за свое тщеславие и приверженность материальным вещам. Уместнее всего было бы провести остаток дней в буддистском монастыре, но Альма не была вегетарианкой, от медитации у нее ломило спину, вот почему она

предпочла Ларк-Хаус — к ужасу сына и невестки, которые предпочли бы, чтобы она обрила голову и жила в Дармсале^[13]. В Ларк-Хаус Альма чувствовала себя комфортно, не отказывалась ни от одной из насущных потребностей и — случись что — находилась в получасе езды от Си-Клифф, хотя и перестала бывать в родовом доме — который никогда не чувствовала своим, ведь сначала он принадлежал ее свекру со свекровью, а потом ее сыну с невесткой; туда она навещалась только на семейные обеды. Поначалу Альма в Ларк-Хаус ни с кем не общалась, она вела себя так, как будто заехала во второразрядную гостиницу, однако со временем она кое с кем свела дружбу, а с приездом Ленни и вовсе не чувствовала себя одинокой.

— Ты могла выбрать что-нибудь и получше, Альма.

— А мне больше не нужно. Единственное, чего мне не хватает, — это камина зимой. Люблю смотреть на огонь, он похож на морские волны.

— Я знаю одну вдовицу, она провела последние шесть лет в круизах. Как только корабль прибывает в последний порт, семья покупает ей билет в новое кругосветное путешествие.

— Как же такое решение не пришло в голову моему сыну с невесткой? — рассмеялась Альма.

— Тут преимущество в том, что если ты умрешь в открытом море, капитан выкинет труп за борт и семья не будет тратить на похороны, — добавил Ленни.

— Мне здесь хорошо. Я познаю самое себя в отсутствие всех украшений и транжирства; это процесс довольно медленный, зато очень полезный. В конце жизни всем бы следовало этим заняться. Было бы у меня побольше прилежания — я постаралась бы обставить внука и написать мемуары самостоятельно. У меня есть время, свобода и тишина — то, чего никогда не было в суматохе моей прошлой жизни. Я przygotowляюсь к смерти.

— До этого тебе далеко, Альма. Ты прекрасно выглядишь.

— Спасибо. Должно быть, из-за любви.

— Из-за любви?

— У меня, скажем так, кто-то есть. Ты знаешь, о ком я говорю: это Ичимеи.

— Невероятно! Сколько же лет вы вместе?

— Подожди, дай-ка я посчитаю... Я любила его, еще когда нам было лет по восемь, но как любовники мы вместе пятьдесят восемь лет, с пятьдесят пятого, с несколькими долгими перерывами.

— Почему ты вышла за Натаниэля? — спросил Ленни.

— Потому что он хотел меня защитить, а я в тот момент нуждалась в его защите. Вспомни, какой он был благородный. Нат помог мне смириться с тем, что есть силы более могущественные, чем любовь.

— Альма, я хотел бы познакомиться с Ичимеи. Предупреди меня, когда он к тебе приедет.

— Наша связь до сих пор остается в тайне, покраснев, призналась Альма.

— Но почему? Твоя семья тебя поймет.

— Это не из-за Беласко, а из-за семьи Ичимеи. Из уважения к его жене, его детям и внукам.

— После стольких лет его жена должна бы знать, Альма.

— Ленни, она никогда не подавала виду. Я не хотела бы причинять ей боль, Ичимеи мне этого не простит. К тому же тут есть свои преимущества.

— Какие?

— Во-первых, нам никогда не приходится сталкиваться с домашними проблемами, думать о детях, о деньгах... обо всем, чем озабочены семейные пары. Мы встречаемся только для любви. К тому же, Ленни, тайная связь нуждается в защите, она хрупка и драгоценна. Ты это знаешь лучше других.

— Мы оба родились на полвека раньше, чем следовало, Альма. Мы с тобой эксперты по запретным связям.

— У нас с Ичимеи была возможность, еще тогда, в молодости, но я не осмелилась. Я не могла отказаться от надежного существования и угодила в плен к условностям. Это были пятидесятые годы, мир был другим. Помнишь?

— Мне ли не помнить! Подобный союз был тогда невозможен, и ты, Альма, потом бы сильно пожалела. Твои потери раздавили бы все хорошее, убили любовь.

— Ичимеи это знал и никогда меня не просил.

После долго паузы, во время которой друзья наблюдали за играми колибри на кусте фуксий, а Ирина сознательно медлила с вытиранием

и причисыванием Софии, Ленни признался, что ему жалко, что они почти тридцать лет не виделись.

— Я узнал, что ты живешь в Ларк-Хаус. Это совпадение заставляет меня поверить в судьбу, Альма: я ведь записался на лист ожидания несколько лет назад — раньше, чем ты приехала. Я откладывал решение тебя навестить, потому что не хотел раскапывать мертвые истории, — сказал он.

— Они не мертвые, Ленни. Сейчас они живы, как никогда прежде. Это приходит с возрастом: истории из прошлого обретают жизнь и прилепляются к нашей коже. Я рада, что ближайшие годы мы проведем вместе.

— Это будут не годы, а месяцы, Альма. У меня неоперабельная опухоль в мозге, осталось еще немного, а потом появятся более заметные симптомы.

— Боже мой, Ленни, какой ужас!

— Почему ужас, Альма? Я прожил достаточно. Агрессивное вмешательство помогло бы мне протянуть подольше, но к этому средству прибегать не стоит. Я трус и боюсь боли.

— Странно, что тебя приняли в Ларк-Хаус.

— Никто не знает, что у меня, и не надо об этом распространяться: я недолго буду занимать это место. Выпишусь, когда мое состояние ухудшится.

— Как ты узнаешь?

— Сейчас у меня головные боли, слабость, легкая неуклюжесть. Я больше не отваживаюсь кататься на велосипеде, потому что несколько раз падал, — а ведь это было увлечение всей моей жизни. Ты знала, что я трижды пересекал на велосипеде Соединенные Штаты, от Тихого океана до Атлантического? Я собираюсь насладиться оставшимся мне временем. Потом придет рвота, станет трудно ходить и разговаривать, зрение ослабеет, потом конвульсии... Но так долго я ждать не намерен. Я должен действовать, пока в голове порядок.

— Как быстро проходит жизнь, Ленни!

Ирину признание Ленни Билла не удивило. Самые светлые головы Ларк-Хаус бестрепетно обсуждали возможность добровольной смерти. По словам Альмы, на планете слишком много стариков, живущих дольше, чем необходимо для биологии и выполнимо для экономики, и нет смысла держать их в плену болезненного тела или отчаявшегося

рассудка. «Мало кто из стариков доволен, Ирина, большинство страдает от бедности, у них нет ни крепкого здоровья, ни семьи. Это самый хрупкий и сложный этап жизни, сложнее, чем детство, потому что с течением дней положение может только ухудшаться и нет у стариков иного будущего, помимо смерти». Ирина вспоминала свой разговор с Кэти — та утверждала, что скоро люди смогут выбирать для себя эвтаназию, это будет право, а не преступление. Кэти знала, что многие в Ларк-Хаус запаслись средствами для достойного ухода; Кэти понимала причины, по которым такие решения принимаются, но сама не собиралась кончать подобным образом. «Я постоянно живу с болью, Ирина, но, если я на что-то отвлекаюсь, это можно переносить. Хуже всего было при восстановлении после операции. С болью не справлялся даже морфин, и единственное, что мне помогало, — это уверенность, что так будет не всегда. Все временно». Ирина подумала, что у Ленни, учитывая его профессию, найдутся медикаменты более действенные, нежели те, что поступают в Ларк-Хаус из Таиланда в бумаге кофейного цвета без маркировки.

— Я спокоен, Альма, — продолжал Ленни. — Наслаждаюсь жизнью, особенно временем, которое мы с тобой проводим вместе. Я давно готовлюсь, врасплох меня не застать. Я научился быть внимательным к своему телу. Тело сообщает нам обо всем, надо просто уметь его слушать. Я знал, чем я болен, до того, как мне поставили диагноз, и знаю, что любое лечение будет бесполезно.

— Тебе страшно? — спросила Альма.

— Нет. Думаю, что после смерти будет то же самое, что было и до рождения. А тебе?

— Немножко... Я думаю, что после смерти нет никакого контакта с миром, нет страдания, личности, памяти, как будто этой Альмы Беласко никогда не существовало. Быть может, что-то и переходит: дух, жизненная сущность. Но, признаюсь, я боюсь остаться без тела — ведь я надеюсь, что Ичимеи будет со мной или меня разыщет Натаниэль.

— Если у тела, как ты говоришь, не будет контакта с этим миром, как же Натаниэль тебя разыщет? — не удержался Ленни.

— Ты прав, тут у меня нестыковка, — рассмеялась Альма. — Ленни, мы так привязаны к жизни! Ты называешь себя трусом, но

нужно большое мужество, чтобы отказаться от всего и переступить порог, шагнуть туда, о чем мы ничего не знаем.

— Вот почему я приехал сюда, Альма. Скорее всего, я не смогу это сделать в одиночку. Я подумал, что ты единственный человек, который может мне помочь, кого я могу попросить быть рядом со мной, когда наступит время умирать. Я прошу слишком многого?

22 октября 2002 года

Вчера, Альма, когда мы наконец сумели встретиться, чтобы отпраздновать наши дни рождения, я заметил, что ты печальна. Ты сказала, что мы достигли семидесяти внезапно и неожиданно. Ты боишься, что тело перестанет слушаться, и еще того, что ты называешь старческим безобразием, хотя сейчас ты прекраснее, чем в двадцать три года. Мы не состарились из-за того, что нам исполнилось по семьдесят. Мы начинаем стареть в момент рождения, мы меняемся день ото дня, вся жизнь — это бесконечное течение. Мы эволюционируем. Единственное отличие в том, что сейчас мы чуть ближе к смерти. Но что же в этом плохого? Любовь и дружба не стареют.

Ичи

СВЕТ И ТЕНЬ

Систематическое упражнение — воспоминание историй для книги внука — благотворно сказалось на Альме Беласко, которой в ее годы угрожало ослабление памяти. Прежде она терялась в лабиринтах и если хотела вытащить какое-нибудь драгоценное воспоминание, не могла его найти, но, чтобы достойно отвечать на вопросы Сета, принялась восстанавливать прошлое в определенном порядке, вместо того чтобы скакать в нем и кувыряться, как делали они с Ленни Биллом в досуговой обстановке. Альма представляла себе коробки разных цветов, по одной на каждый год жизни, и помещала внутрь события и чувства. Коробки она складывала в большой трехстворчатый шкаф из дома тети с дядей — тот, в который забиралась пореветь, когда ей было семь лет. Виртуальные коробки были переполнены печалью и угрызениями; там заботливо хранились детские страхи и фантазии, девические безрассудства, боль, труды, страсти и любви зрелости. С легкой душой, намереваясь простить себе все ошибки, кроме тех, которые причинили страдания другим, Альма склеивала кусочки своей биографии и приправляла их щепотками фантазии, позволяя себе преувеличения и неточности — ведь Сет не мог опровергнуть содержимое ее собственной памяти. Она занималась этим больше для упражнения, чем из любви ко лжи. И только Ичимеи она оставляла для себя, не догадываясь, что у нее за спиной Ирина с Сетом исследуют самую ценную и потаенную часть ее существования, единственное, чего она не могла открыть, — если бы она о нем рассказала, Ичимеи бы исчез, а тогда и ей самой не стоило жить.

В этом полете в прошлое Ирина была ее штурманом. Фотоснимки и другие документы проходили через руки помощницы, именно она их классифицировала, она составляла альбомы. Вопросы девушки помогали Альме возвращаться на дорогу, когда она отвлекалась на тупики; таким образом Альма Беласко расчищала и упорядочивала свою жизнь. Ирина погрузилась в эту жизнь, как будто они вместе оказались в викторианском романе: знатная дама и ее компаньонка, изнывающие от скуки бесконечных чаепитий в загородной усадьбе.

Альма утверждала, что у каждого человека есть внутренний сад, где можно спрятаться, но Ирина не хотела даже заглядывать в свой сад — она предпочитала подменить это место садом Альмы, куда более опрятным. Ирина была знакома с печальной девочкой, приехавшей из Польши, с юной Альмой из Бостона, с художницей и супругой, знала ее любимые платья и шляпки, видела первую мастерскую, где Альма начинала экспериментировать с мазками и цветами, когда ее стиль еще только определялся; девушка знала ее старые дорожные чемоданы из кожи, потертые и украшенные переводными картинками, — теперь такие уже не в ходу. Образы и воспоминания были настолько четкие и детальные, как будто сама Ирина жила в те годы и была вместе с Альмой в каждом из этих состояний. Девушку восхищало, что магии слов или старых фотографий хватает, чтобы придать прошлому реальность, и она может присвоить его себе.

Альма Беласко всегда была женщина энергичная, активная, столь же нетерпимая к чужим слабостям, как и к своим, но годы ее смягчили, она стала более снисходительна к другим и к себе. «Если у меня ничего не болит, значит я за ночь умерла», — говаривала Альма, просыпаясь, когда ей приходилось понемногу разминать мышцы, чтобы прошли судороги. Тело ее уже не работало так, как прежде, ей приходилось пускаться на хитрости, чтобы избежать подъема по лестнице или догадаться о смысле нерасслышанной фразы; все теперь требовало больше усилий и времени, а некоторые вещи она просто не могла делать, как, например, водить машину ночью, открыть бутылку с водой, носить пакеты с рынка. Для этого ей требовалась Ирина. Зато ее рассудок сохранил ясность, она помнила сегодняшние события не хуже отдаленных, если только не поддавалась искушению беспорядка; с вниманием и логическим мышлением проблем тоже не возникало. Альма и теперь могла рисовать, у нее осталась прежняя цветовая интуиция; она ходила в мастерскую, но работала мало, потому что уставала, — предпочитала давать задания Кирстен и другим помощникам. Альма Беласко не говорила об этих ограничениях и сражалась с ними без драматизма, однако Ирина знала об их появлении. Альме внушала отвращение сама зачарованность стариков своими болячками и приступами — эта тема не вызывала интереса ни у кого, даже у врачей. «Весьма распространенное мнение, хотя никто и не решается высказать его вслух: мы, старики, — лишние, мы

отнимаем пространство и средства к существованию у людей репродуктивного возраста», — говорила она. На фотографиях Альма многих не узнавала — это были малозначительные люди из ее прошлого, которых ничего не стоило вычеркнуть. По другим карточкам — тем, которые Ирина наклеивала в альбомы, — можно было изучать этапы ее жизни, течение лет, дни рождения, праздники, выпускные вечера и свадьбы. Это были счастливые моменты, ведь несчастья никто не фотографирует. Сама хозяйка редко появлялась на снимках, однако в начале осени Ирина смогла по достоинству оценить былую Альму, когда дошла до портретов, сделанных Натаниэлем, — они составляли наследие Фонда Беласко, а известность получили в богемных кругах Сан-Франциско. Одна из газет назвала Альму «Лучшей женщиной города в фотографии».

На прошлое Рождество одно итальянское издательство опубликовало подборку снимков, сделанных Натаниэлем Беласко, в виде роскошного альбома; через несколько месяцев один пронырливый американский сотрудник издательства организовал фотовыставку в Нью-Йорке и в самой престижной галерее Сан-Франциско, на Гири-стрит. Альма отказалась участвовать в обоих проектах и общаться с прессой. Она предпочитает, чтобы ее знали как модель прошлых лет, а не как ныне живущую старушку, объявила она, но Ирине призналась, что ею движет не тщеславие, а осторожность. Альме не доставало сил исследовать эту сторону своего прошлого; она боялась чего-то, чего невооруженным глазом не видно, но под объективом это может открыться. И все-таки упрямство внука сломало ее сопротивление. Сет несколько раз посетил галерею на Гири-стрит и пребывал в восторге, он не мог позволить бабушке пропустить эту выставку, такой поступок казался ему оскорблением памяти Натаниэля Беласко.

— Сделайте это ради дедушки, он ведь в гробу перевернется, если вы не сходите. Завтра я за вами заеду. И скажите Ирине, пусть составит нам компанию. Вас ждет сюрприз.

И Сет был прав. Ирина пролистала итальянский альбом, но все равно оказалась не готова к воздействию этих гигантских портретов. Сет доставил женщин на тяжелом семейном «мерседесе-бенц», потому что втроем они не помещались ни в автомобильчик Альмы, ни на его мотоцикл. Стоял мертвый полуденный час, и они рассчитывали,

что в галерее будет пусто. Им встретился только бездомный на тротуаре перед дверью да пара австралийских туристов, которым смотрительница, китайская фарфоровая куколка, пыталась втюхать какие-то сувениры и потому не обратила внимания на новых посетителей.

Натаниэль Беласко фотографировал свою жену с 1977 по 1983 год одной из первых камер «Полароид 20 x 24», способной с потрясающей точностью отображать мельчайшие детали. Беласко не входил в круг знаменитых профессиональных фотографов своего поколения, он сам называл себя любителем, зато он был одним из немногих, кто мог позволить себе такую камеру. К тому же модель ему досталась исключительная. Ирина была тронута доверием Альмы к своему мужу; увидев эти портреты, она смутилась, как будто своим присутствием опошляла сокровенный и беззастенчивый ритуал. Между художником и моделью не существовало дистанции, они сплетались в тугий узел, и из этого симбиоза рождалась фотография — чувственная, но без сексуального посыла. На некоторых снимках Альма была обнажена и как будто в одиночестве, словно не знала, что за ней наблюдают. В текучей, эфирной, прозрачной атмосфере некоторых образов женская фигура терялась в снах мужчины за стеклом фотообъектива; в других сценах, более реалистичных, она стояла перед Натаниэлем со спокойным любопытством женщины перед зеркалом, ей было комфортно в своей коже, без прикрас, с проступающими на ногах венами, со шрамом от кесарева сечения и с печатью полувекового существования на лице. Ирина не смогла бы определить причины собственного смущения, но вполне понимала нежелание Альмы появляться на публике после рентгеновской линзы ее мужа-фотографа, которого, кажется, соединяло с ней куда более сложное и неправильное чувство, чем супружеская любовь. На белых стенах галереи Альма была преумножена и выставлена на всеобщее обозрение. Эта незнакомая женщина пугала Ирину. Горло ее сжалось, и Сет, возможно испытывавший те же чувства, взял девушку за руку. И она впервые не стала сопротивляться.

Туристы ушли, ничего не купив, и китайская кукла с жадностью переключилась на их группу. Девушка представилась как Мэй Ли и докучала им подготовленной речью о камере «Полароид», технике и замысле Натаниэля Беласко, о свете и тенях, о влиянии голландской

живописи. Альма внимала с удовольствием и молча кивала. Мэй Ли не обнаружила связи между этой седой женщиной и моделью на фотографиях.

В следующий понедельник Ирина после дежурства в Ларк-Хаус зашла к Альме, чтобы отвести ее в кино — еще раз на «Линкольна»^[14]. Ленни Билл на несколько дней уехал в Санта-Барбару, и Ирина временно восстановилась в должности атташе по культуре, как называла ее хозяйка до появления Ленни, узурпировавшего эту привилегию. В прошлый раз они досмотрели фильм только до середины, потому что у Альмы так сильно закололо в груди, что она не удержалась от вскрика, и женщины вышли из зала. Альма сразу же отменила предложение администратора вызвать врача, поскольку перспектива «скорой помощи» и больницы показалась ей страшнее, чем смерть на месте. Ирина отвезла хозяйку в Ларк-Хаус. Альма давно уже доверяла помощнице ключи от своей потешной машины, потому что Ирина просто отказывалась рисковать жизнью в качестве пассажирки; отвага художницы на дороге только возросла, когда зрение начало портиться и появилась дрожь в руках. По дороге боль начала проходить, но в Ларк-Хаус Альма приехала изнуренная, с серым лицом и посиневшими ногтями. Ирина помогла хозяйке лечь в постель и, не спрашивая разрешения, позвала Кэтрин Хоуп, которой доверяла больше, чем штатному доктору пансиона. Кэти поспешно прикатила на своем кресле, осмотрела пациентку с всегдашним вниманием и заботливостью и постановила, что Альме нужно как можно скорее попасть на осмотр к кардиологу. В ту ночь Ирина соорудила себе ложе на диване в апартаментах Альмы (оно оказалось уютнее, чем матрас на полу ее комнаты в Беркли) и осталась ночевать. Альма спала спокойно, с котом в ногах, но проснулась квелиая и впервые за время их знакомства решила провести день в постели. «Завтра ты заставишь меня встать, слышишь, Ирина? Никаких поваляться с чашечкой кофе и хорошей книжкой. Я не желаю скатиться к жизни в пижаме и тапочках. Старика, которые ложатся в постель, не поднимаются никогда». Верная своим словам, на следующий день Альма сделала над собой усилие и начала утро как обычно, больше не жаловалась на слабость, и вскоре Ирина, у которой имелись и другие заботы, позабыла о происшествии в кинотеатре. А

вот Кэтрин Хоуп, наоборот, решила не оставлять Альму в покое, пока та не покажется специалисту, но ее подруга все время откладывала этот поход.

Женщины посмотрели фильм без происшествий и вышли из кино, очарованные и Линкольном, и сыгравшим его актером, но Альма устала, и они решили вернуться в Ларк-Хаус, а не ехать в ресторан, как было запланировано. Войдя к себе, художница пожаловалась на холод и легла, пока Ирина готовила ужин: овсяные хлопья с молоком. Альма, обложившаяся шестью подушками, с бабушкиной шалью на плечах, выглядела на шесть килограммов легче и на десять лет старше, чем несколько часов назад. Ирина считала свою хозяйку непробиваемой, поэтому только сейчас заметила, как та переменялась за последние месяцы. Альма потеряла в весе, а лиловые тени вокруг глаз на изможденном лице придавали ей сходство с енотом. Не было уже ни прямой осанки, ни уверенной поступи — она покачивалась, вставая со стула, на улице повисала на руке у Денни, порой просыпалась от беспричинного страха или чувствовала себя потерявшейся, словно попала в незнакомую страну. В мастерскую Альма наведывалась так редко, что решила распустить всех своих помощниц, а для Кирстен покупала комиксы и карамельки, чтобы та не горевала из-за ее отсутствия. Эмоциональное равновесие Кирстен зависело от ее повседневных дел и переживаний — пока ничего не менялось, она была довольна. Эта женщина жила в комнате над гаражом у своего брата и его жены, в ней души не чаяли трое племянников, которых она помогала растить. В полдень каждого рабочего дня она садилась на один и тот же автобус, ехала по городу и выходила рядом с мастерской. Отпирала дверь своим ключом, проветривала, вытирала пыль, садилась на режиссерский стул с ее именем, подаренный племянниками на сорокалетие, и съедала сэндвич с курицей или с тунцом, который приносила в рюкзаке. Потом Кирстен готовила ткани, кисти и краски, включала чайник и ждала, неподвижно уставившись на дверь. Бели Альма не собиралась придти, она звонила помощнице на сотовый, немножко с ней болтала и давала какое-нибудь поручение, чтобы у Кирстен было занятие до пяти часов вечера; в пять она закрывала мастерскую и шла на остановку автобуса, чтобы вернуться домой.

Год назад Альма Беласко рассчитывала прожить без перемен до девяноста, но теперь она не была так уверена; она подозревала, что смерть стала ближе. Раньше художница чувствовала, что ее смерть гуляет где-то по кварталу, потом слышала ее бормотание по углам Ларк-Хаус, а теперь она уже заглядывала к ней в квартиру. В шестьдесят лет Альма Беласко думала о смерти как об абстрактном явлении, не имеющем к ней отношения; в семьдесят относилась к ней как к дальней родственнице, о которой легко позабыть, потому что о ней не говорят, но которая непременно явится с визитом. Но после восьмидесяти их знакомство сделалось более близким — Альма обсуждала это с Ириной. Женщина видела смерть то тут, то там: в образе поваленного дерева в парке, или облысевшего после химиотерапии пациента, или ее родителей, переходящих дорогу, — ей было легко их узнать, потому что Мендели выглядели точно так же, как на данцигской фотографии. Иногда это был ее брат Самуэль, во второй раз умерший мирно, в своей постели. Дядя Исаак являлся ей в суровом обличье, каким был до сердечного приступа, а вот тетушка Лиллиан иногда заглядывала поздороваться в ее утреннюю полудрему такой, какой была в конце жизни, — старушкой в лиловом платье, слепой, глухой и счастливой, потому что считала, что муж водит ее за руку. «Видишь эту тень на стене, Ирина? Разве она не похожа на мужской силуэт? Возможно, это Натаниэль. Не волнуйся, девочка, я не сошла с ума, я знаю, что это только мои фантазии». И Альма начинала рассказывать о Натаниэле, о его доброте, об умении решать проблемы и преодолевать препятствия, о том, что он был, да и сейчас остается, ее ангелом-хранителем.

— Это такая фигура речи, Ирина. Персональных ангелов не существует.

— Как это не существует?! Если бы у меня не было пары ангелов-хранителей, я была бы уже мертвая или, возможно, совершила преступление и сидела бы сейчас в тюрьме.

— Ну что у тебя за идеи, Ирина! В иудейской традиции ангелы — это посланники Господа, а не стражи людей, но у меня-то есть телохранитель, это Натаниэль. Он всегда обо мне заботился: сначала как старший брат, потом как образцовый супруг. Мне никогда с ним не расплатиться за все, что он для меня сделал.

— Альма, вы прожили в браке почти тридцать лет, у вас есть сын, внук и внучка, вы вместе работали в Фонде Беласко, вы заботились о нем в болезни и ухаживали до самого конца. Определенно, он считал точно так же: ему никогда не расплатиться с вами за все, что вы делали.

— Натаниэль заслуживал куда большей любви, чем та, что я ему дала, Ирина.

— Вы хотите сказать, что любили его больше как брата, нежели как мужа?

— Друг, брат, кузен, муж... не знаю, в чем тут разница. Когда мы поженились, начались разговорчики — мы ведь с ним двоюродные, а это считалось кровосмешением — полагаю, считается и до сих пор. Думаю, наша любовь всегда была инцестом.

АГЕНТ УИЛКИНС

Во вторую пятницу октября в Ларк-Хаус появился Рон Уилкинс, он искал Ирину Басили. Уилкинс был агент ФБР, афроамериканец шестидесяти пяти лет, корпулентный, с седеющими волосами и выразительной жестикуляцией. Ирина удивленно спросила, как он ее нашел, и Уилкинс ответил, что информированность — неотъемлемая часть его профессии. Они не виделись три года, но общались по телефону. Время от времени Уилкинс звонил девушке, чтобы узнать, как у нее дела. «Все в порядке, не беспокойтесь. Прошлое осталось позади, я обо всем этом не вспоминаю», — таков был ее неизменный ответ, однако оба знали, что это неправда. Когда Ирина познакомилась с агентом, его костюм трещал по швам под напором мышц тяжелоатлета; одиннадцать лет спустя мускулы трансформировались в жир, но от него все так же веяло надежностью, энергией и молодостью. Рон Уилкинс похвастался Ирине, что стал дедушкой, и показал фотографию внука, двухлетнего малыша с куда более светлой кожей, чем у деда. «Его отец — голландец», — пояснил Уилкинс, хотя Ирина и не спрашивала. А еще он добавил, что вошел в пенсионный возраст, в Агентстве он теперь играет роль экспоната, но ею как будто привинтили к стулу на рабочем месте. Он не желает уходить и продолжает бороться с преступлением, которому посвятил большую часть своей жизни.

Агент Уилкинс приехал в Ларк-Хаус утром. Они с Ириной сидели на деревянной скамейке в парке и пили жидкий кофе, который в библиотеке никогда не заканчивался и при этом никому не нравился. От земли, повлажневшей под утренней росой, поднимался легкий пар, воздух понемножку теплел в лучах бледного осеннего солнца. Вокруг никого не было, они могли говорить спокойно. Некоторые постояльцы уже отправились на утренние занятия, а большинство стариков поднимались поздно. Только главный садовник Виктор Викашев, русский с внешностью татарского воина, работавший в Ларк-Хаус уже девятнадцать лет, напевал, возясь в огороде, да Кэтрин Хоуп на своем кресле пронеслась мимо, направляясь в клинику.

— У меня для тебя хорошие новости, Елизавета, — сказал Ирине агент Уилкинс.

— Меня уже много лет никто не называл Елизаветой.

— Да-да. Извини.

— Помните: я теперь Ирина Басили. Вы сами помогли мне выбрать это имя.

— Рассказывай, детка. Как ты живешь? Терапию посещаешь?

— Агент Уилкинс, давайте будем реалистами. Вы ведь знаете, сколько я зарабатываю? На психолога мне не хватает. Округ оплачивает только три посещения, и я их уже использовала, при этом, как видите, до сих пор не покончила с собой. Я живу нормальной жизнью, работаю и собираюсь брать уроки по интернету. Я хочу изучать лечебный массаж — это хорошая профессия для человека с такими сильными руками, как у меня.

— А к доктору ходишь?

— Да. Я принимаю антидепрессант.

— Где ты живешь?

— В Беркли, у меня просторная и дешевая комната.

— Работа в пансионе тебе подходит, Ирина. Здесь тебе спокойно, никто не докучает и ты в безопасности. О тебе очень хорошо отзываются, я говорил с директором, и он сказал, что ты его лучшая сотрудница. Жених у тебя есть?

— Был, но он умер.

— Господи, да как же так! Только этого нам не хватало, девочка. От чего он умер?

— Полагаю, от старости — ему было за девяносто. Но здесь есть и другие джентльмены преклонных лет, готовые стать моими женихами.

Уилкинса это известие не обрадовало.

Они еще немножко помолчали, вздыхая и прихлебывая кофе из пластиковых стаканчиков. Ирина внезапно почувствовала, как давит груз тоски и одиночества, как будто мысли этого славного человека пробрались к ней в голову и перемешались с ее собственными мыслями; у девушки перехватило горло. Повинуясь телепатическому призыву, Рон Уилкинс обнял Ирину за плечи и прижал к своей мощной груди. От него пахло приторно-сладким одеколоном — весьма странный аромат для такого мужичары. Ирина почувствовала печной

жар, исходящий от Уилкинса, грубую ткань его пиджака на своей щеке, успокоительную тяжесть его руки и на несколько минут обрела покой и защиту, вдыхая этот фривольный аромат, а Уилкинс похлопывал ее по спине — точно так же он утешал бы своего внука.

— А какие новости вы мне привезли? — спросила девушка, понемногу приходя в себя.

— Компенсация, Ирина. Существует старинный закон, о котором никто уже не помнит, дающий право жертвам — вроде тебя — получать компенсацию. С этими деньгами ты сможешь платить за терапию, которая тебе очень нужна, за учебу и, если нам повезет, даже внесешь первый взнос за маленькую квартирку.

— Это в теории, мистер Уилкинс.

— Есть люди, уже получившие компенсацию.

Агент объяснил, что, хотя дело Ирины старое, хороший адвокат может доказать, что девушка сильно пострадала вследствие происшедшего и до сих пор страдает от посттравматического синдрома, нуждается в психологической помощи и медикаментах. А Ирина напомнила, что у виновника нет средств, которые можно конфисковать в качестве компенсации.

— Арестованы и другие участники, Ирина. Это люди при власти и при деньгах.

— Эти люди ничего мне не сделали. Есть только один виновник, мистер Уилкинс.

— Послушай меня, девочка. Тебе пришлось сменить имя и место жительства, ты лишилась матери, школьных подруг и всех других знакомых, ты живешь, в общем-то, спрятавшись в другой личности. То, что случилось, принадлежит не прошлому; можно сказать, что это происходит сейчас и что виновников много.

— Раньше я тоже так думала, мистер Уилкинс, но решила не оставаться жертвой навечно и перелистнула страницу. Теперь я Ирина Басили и у меня другая жизнь.

— Мне горько об этом напоминать, но ты и сейчас остаешься жертвой. Кое-кто из обвиняемых был бы рад выплатить тебе возмещение ущерба, чтобы избежать скандала. Уполномочишь меня сообщить твое имя адвокату, который специализируется на таких делах?

— Нет. К чему ворошить старое?

— Подумай, девочка. Подумай очень хорошо и позвони мне по этому номеру. — Агент протянул ей карточку.

Ирина проводила Рона Уилкинса до ворот и оставила себе карточку, которую не собиралась использовать; она справляется со своими делами в одиночку и не нуждается в деньгах, которые считает грязными; чтобы их получить, ей пришлось бы вытерпеть новые допросы и подписать бумаги, излагая самые постыдные подробности. Ирина не желала раздувать угли прошлого в суде, она стала совершеннолетней, и теперь никакой судья не убережет ее от встречи с обвиняемыми. А журналисты? Ирину охватил ужас при мысли, что о ее прошлом узнают старушки из Ларк-Хаус, Альма и, главное, Сет Беласко.

В шесть часов вечера Ирине позвонила Кэти и пригласила выпить чаю в библиотеке. Они устроились в тихом месте возле окна, чтобы посидеть вдвоем. Кэти не любила чай в презервативах, как в Ларк-Хаус именовали одноразовые пакетики; у нее был собственный чайник, фарфоровые чашки, неисчерпаемый запас французского развесного чая и сливочное печенье. Ирина сбегала на кухню за кипятком и даже не пыталась помогать Кэти на других этапах заваривания — этот ритуал был для женщины по-настоящему важен, и она совершала его, несмотря на неуверенные движения рук. Поднести к губам хрупкую чашку Кэтрин Хоуп не могла, она пользовалась пластиковым стаканом с трубочкой, но радовалась, видя в руках гостьи чашку из наследства ее бабушки.

— Что это за негр обнимал тебя утром в саду? — спросила Кэти после того, как они обсудили последние события из сериала о женской тюрьме, за которым обе пристально следили.

— Это просто друг, с которым мы давно не виделись... — промямлила девушка и, чтобы скрыть волнение, подлила себе еще чаю.

— Ирина, я тебе не верю. Я давно уже за тобой наблюдаю и знаю: тебя что-то гложет.

— Меня? Кэти, это вы себе придумали! Говорю же, это просто друг.

— Рон Уилкинс. Мне назвали имя в приемной. Я решила спросить, кто это к тебе приходил, потому что мне показалось, что

тебя этот визит выбил из колеи.

Годы неподвижности и великих усилий по выживанию уменьшили Кэти в размерах — в своем габаритном электрическом кресле она казалась маленькой девочкой, но от нее исходило дыхание силы, смягченное добротой, которая всегда была с ней, а после катастрофы выросла многократно. Всегдашняя улыбка и очень короткая стрижка придавали ей озорной вид, не сочетавшийся с мудростью тысячелетнего монаха. Физическое страдание освободило эту женщину от чересчур индивидуальных черт и ограничило ее дух наподобие алмаза. Поражения мозга не повлияли на ее интеллектуальные способности, но, по ее собственным словам, заменили всю проводку, в Кэти проснулась интуиция, и теперь она могла видеть невидимое.

— Наклонись поближе, — сказала она.

Ручки Кэти — маленькие, холодные, с искореженными от переломов пальцами — вцепились в плечо девушки.

— Знаешь, Ирина, что лучше всего помогает в несчастье? Разговор. Никто не может бродить по свету в одиночку. Почему, как ты думаешь, я создала свой центр лечения боли? Потому что разделенную боль легче переносить. Клиника помогает пациентам, но еще больше она помогает мне. У всех у нас в темных закоулках души живут демоны, но если вытащить их на свет, наши демоны съеживаются, слабеют, замолкают и в конце концов оставляют нас в покое.

Ирина попыталась высвободиться из железных клещей, но не сумела. Серые глаза Кэти тоже долго ее не отпускали, и было в них столько сочувствия и любви, что Ирина перестала сопротивляться. Она опустила на пол, положила голову на узловатые колени Кэти и позволила себя гладить этим искореженным пальцам. Никто не прикасался к ней так после расставания с бабушкой и дедом.

Кэти сказала, что самая важная задача в жизни — это очистить свои помыслы, полностью соединиться с реальностью, приложить всю энергию к настоящему и сделать это сейчас, незамедлительно. Ждать нельзя, этому она научилась после катастрофы. В ее положении хватало времени, чтобы додумать все мысли, чтобы узнать себя досконально. Быть, существовать, любить солнечный свет, людей, птиц. Боль приходит и уходит, головокружение приходит и уходит, кишечное расстройство приходит и уходит, но отчего-то это не

отнимает нее много времени. Зато она мастерски умеет наслаждаться каждой каплей воды в ванной, прикосновениями дружеских рук, моющих ей волосы шампунем, упоительной прохладой лимонада в жаркий день. Кэти не думает о будущем — только о настоящем.

— Ирина, я пытаюсь тебе объяснить, что ты не должна цепляться за прошлое и страшиться будущего. Единственное, что реально, — это сейчас, вот этот день. Чего ты ждешь, чтобы начинать быть счастливой? Тут считается каждый день. Уж я-то знаю!

— Счастье — оно не для всех, Кэти.

— Ну разумеется, для всех. Мы все рождаемся счастливыми. По дороге наша жизнь пачкается, но мы можем ее очистить. Счастье — оно не бурлит и не переливается через край, как наслаждение или радость. Оно молчаливое, спокойное, мягкое — вечное состояние удовлетворенности, которое начинается с любви к самой себе. Тебе нужно полюбить себя так, как люблю тебя я и как любят все, кто тебя знает, особенно внук Альмы Беласко.

— Сет меня не знает.

— Это не его вина, бедняжка годами старается к тебе приблизиться, это очевидно всем и каждому. Если он ничего не добился, то исключительно потому, что ты прячешься. Расскажи мне об этом Уилкинсе, Ирина.

У Ирины имелось официальное прошлое, эту историю она когда-то выстроила с помощью Рона Уилкинса и использовала для удовлетворения любопытствующих, когда избежать разговора было невозможно. В истории содержалась и правда, но не вся правда, а лишь та часть, которую посторонний человек может принять. В пятнадцать лет суд предписал девушке посещать психолога, их встречи продолжались несколько месяцев, пока пациентка не отказалась говорить о случившемся и не решила взять себе другое имя, переехать в другой штат и менять место жительства столько раз, сколько потребуется, чтобы все начать сначала. Психолог твердила, что травмы не проходят, когда их игнорируют, — они как терпеливая горгона Медуза со змеиными волосами, которая притаилась в тени и нападает при первой возможности. Вместо того чтобы принять бой, Ирина убежала; с тех пор ее жизнь превратилась в нескончаемое бегство — до прихода в Ларк-Хаус. Девушка пряталась в работу и в виртуальные

миры видеоигр и романов фэнтези, где она была не Ириной Басили, а могущественной героиней с магическими способностями, но появление агента Уилкинса в единый миг разрушило эту хрупкую, призрачную вселенную. Кошмары из прошлого Ирины были как лежащая на дороге пыль: хватало одного дуновения, чтобы закрутить вихри. И сейчас побежденная Ирина поняла, что только надежный щит Кэтрин Хоуп способен ей помочь.

В 1997 году, когда ей было десять лет, дедушка с бабушкой получили письмо от Радмилы, пережившее всю судьбу девочки. Мать увидела по телевизору передачу о секс-траффике и узнала, что Молдавия в числе других подобных стран поставляет юную плоть в Арабские Эмираты и в бордели Западной Европы. Радмила с ужасом вспомнила время, которое сама провела в лапах безжалостных турецких сутенеров, твердо решила не допустить повторения такой судьбы для своей дочери и уговорила мужа (американского электрика, который познакомился с ней в Италии и увез в Техас) помочь девочке эмигрировать в США. Ирина получит все, что ни пожелает, лучшее образование, гамбургеры, картошку фри и мороженое, они даже съездят в Диснейленд, — вот что было обещано в письме. Бабушка с дедом велели Ирине никому про это не рассказывать, чтобы уберечься от зависти и сглаза, которые нередко подстерегают хвастунов, а сами принялись собирать документы на получение визы. Сбор длился два года. Когда билеты и паспорт наконец пришли, Ирине было двенадцать лет, но выглядела она как недокормленный восьмилетний мальчик — такая она была низенькая, тощая, с белесыми непослушными волосами. Она так мечтала об Америке, что начала уже отдавать себе отчет в нищете и убожестве всего, что ее окружало, — раньше она этого не замечала, потому что сравнивать было не с чем. Деревня казалась жертвой бомбардировки, половина домов стояли заколоченные или в развалинах, по земляным улицам бродили своры голодных псов, куры вольно рылись в мусорных кучах, а старики сидели на порогах своих лачуг и молча дымили черным табаком — потому что обо всем уже было переговорено. В эти два года Ирина поочередно простилась с каждым деревом, каждым холмом, с землей и небом, которые, по словам стариков, были такими же в эпоху коммунизма и пребудут такими вовеки. Девушка молча попрощалась с

соседями и ребятами, с ослом, козой, котами и собакой — товарищами ее детства. И наконец, попрощалась с Костеа и Петрутой.

Старики приготовили внучке в дорогу перевязанную веревкой картонную коробку с одеждой и новую икону святой Параскевы, купленную на ярмарке в ближайшем поселке. Все трое, кажется, понимали, что больше не увидятся. С этого дня у Ирины вошло в привычку — где бы она ни находилась, пусть даже на одну ночь — воздвигать маленький алтарь, на который она ставила святую Параскеву и единственную фотографию бабушки с дедушкой. Этот вручную раскрашенный снимок был сделан в день их свадьбы, оба позировали в национальных костюмах: Петрута в вышитой юбке и кружевной накидке, Костеа в штанах до колен, коротком пиджаке и с широким поясом; оба прямые как палки, неузнаваемые — потому что работа еще не поломала им спины. Ирина молилась им, не пропуская ни дня, ведь они были еще более чудесны, чем святая Параскева, — ее ангелы-хранители, как скажет она Альме много позже.

Девочка каким-то образом в одиночку добралась из Кишинева в Даллас. До этого она путешествовала всего однажды, с бабушкой на поезде навещать Костеа в больницу ближайшего города, когда деду делали операцию на глазах. Ирина никогда не видела самолет вблизи, только в воздухе, а английский знала лишь по словам популярных песен, которые запоминала на слух, не понимая смысла. Авиакомпания повесила девочке на шею пластиковый конверт с именем, паспортом и билетом. Во время одиннадцатичасового перелета Ирина ничего не ела и не пила, поскольку не знала, что это бесплатно, а стюардесса ей не объяснила; также она провела еще четыре часа в аэропорту, денег у нее не было. Воротами в американскую мечту оказалось это непонятное гигантское сооружение. Мать и отчим перепутали время прибытия с временем отправления, как они объяснили, когда наконец нашли девочку. Ирина не знала этих людей, но они увидели светленькую девочку, сидящую на скамье, с картонной коробкой в ногах и биркой на шее, а еще у них была фотография. От первой встречи Ирина запомнила, что от обоих несло алкоголем, — девочка хорошо знала этот резкий запах, потому что ее старики да и остальные жители деревни запивали потерянные мечты домашним вином.

Радмила и ее муж, Джим Робинс, отвезли пассажирку в свой дом, который показался ей роскошным, хотя это было обыкновенное

деревянное строение, давно требующее ремонта, в рабочем квартале на юге города. Мать по доброте душевной украсила одну из двух комнат подушечками в форме сердца и плюшевым мишкой с привязанным к лапе розовым воздушным шариком. Она посоветовала Ирине проводить как можно больше времени перед телевизором — сколько выдержит, это лучший способ выучить английский, так научилась она сама. Через два дня Радмила записала дочку в школу, где большинство учеников составляли негры и латиноамериканцы — таких людей молдаванка раньше не видела. Прошел месяц, прежде чем Ирина выучила несколько фраз по-английски, но у нее был хороший слух, и вскоре она уже могла следить за объяснениями на уроках. Через год она будет говорить без акцента.

Джим Робинс был электрик, член профсоюза, получал максимально возможную ставку за час, был застрахован от аварий и прочих неприятностей, но работа у него была не всегда. Договоры заключались по очереди, в соответствии со списком членов профсоюза — сначала с первым в списке, потом со вторым, с третьим и так далее. По окончании договора работник перемещался в конец очереди и порой месяцами дожидался, пока его снова вызовут, если только у него не было налаженных связей с лидерами профсоюза. Радмила работала продавщицей в секции детского белья, дорога в магазин занимала час с четвертью и столько же обратно. Когда у Джима был контракт, дома его почти не видели — он предпочитал работать до изнеможения, потому что за сверхурочные часы платили в двойном или тройном размере. В такие дни он не пил и ничего не употреблял, ведь любая оплошность грозила ударом тока, однако в долгие периоды простоя он заливал в себя столько алкоголя и смешивал наркотики в таких дозах, что было удивительно, как это Джим вообще ухитряется стоять на ногах. «Мой Джим вынослив как бык, его ничем не свалишь», — с гордостью говорила Радмила. Она сопровождала супруга в загулах, насколько позволял организм, но не выдерживала темпа и отрубалась первой.

В первые же дни американской жизни отчим заставил Ирину усвоить его правила, как он это называл. Мать ничего не знала или притворялась, что не знает, пока через два года на пороге их дома не появился Рон Уилкинс и не предъявил удостоверение агента ФБР.

ТАЙНЫ

После долгих уговоров со стороны помощницы и собственных колебаний Альма согласилась возглавить группу «Отчуждение» — эта идея пришла в голову Ирине, когда она осознала, как тоскливо приходится постояльцам Ларк-Хаус, которые держатся за свое имущество, в то время как тех, у кого собственности меньше, их жизнь вполне устраивает. Девушка уже наблюдала, как Альма отказывается от самых разных вещей, и начала опасаться, что скоро придется одалживать хозяйке зубную щетку, вот она и подумала, что Альма сможет вдохнуть жизнь в эту группу. Первое собрание намеревались устроить в библиотеке. Записалось пять человек, в том числе и Ленни Билл. Все явились в назначенный час, а вот Альма не пришла. Ее ждали пятнадцать минут, потом Ирина сама отправилась за хозяйкой. Она обнаружила пустую квартиру и записку, в которой Альма объявляла, что ее не будет в Ларк-Хаус несколько дней, и просила девушку позаботиться о Неко. Кот был болен и плохо переносил одиночество. В доме, где жила Ирина, животных держать было запрещено, и ей пришлось контрабандой пронести его в большой сумке.

В тот вечер Сет позвонил Ирине с вопросом про бабушку: он заходил ее навестить во время ужина, не застал и теперь волнуется; Сет полагал, что Альма не до конца восстановилась после приступа в кинотеатре. Ирина ответила, что хозяйка упорхнула на очередное любовное свидание и забыла о встрече с внуком; а ей самой пришлось несладко на группе «Отчуждение». У Сета была назначена деловая встреча с клиентом в Окленде, а теперь, поскольку он находился рядом с Беркли, он пригласил девушку на ужин в суши-ресторан: эта еда показалась ему самой подходящей для разговора о японском любовнике. Ирина уже лежала в постели вместе с Неко и играла в «Elder Scrolls V», свою любимую видеоигру, но все-таки оделась и вышла из дома. Ресторан был как островок восточного покоя, вся обстановка из светлого дерева, с секциями, разделенными перегородками из рисовой бумаги, с лампами в виде красных шаров, теплое освещение которых приглашало к умиротворению.

— Как ты думаешь, куда отправляется Альма, когда исчезает из Ларк-Хаус? — спросил Сет, сделав заказ.

Ирина налила sake в его керамическую чашечку. Альма ей рассказывала, что в Японии принято прислуживать сотрапезнику и дожидаться, пока кто-нибудь не поухаживает за тобой.

— В мотель Пойнт-Рейес, это где-то час с четвертью от Сан-Франциско, — ответила Ирина. — Там у воды стоят простые хижины, это довольно уединенное местечко, с хорошей рыбой и морепродуктами, сауной, чудесным видом и романтическими апартаментами. Сейчас холодно, но в каждом номере есть камин.

— Откуда ты все это узнала?

— По чекам от кредитки Альмы. Мотель я нашла в интернете. Предполагаю, что там Альма встречается с Ичimei. И не вздумай им мешать, Сет!

— Да как ты могла подумать! Бабушка мне никогда не простит. Но я мог бы послать одного из моих людей посмотреть...

— Нет!

— Ну конечно нет. Но согласись, Ирина, повод для беспокойства есть. Бабушка слабая, с ней может случиться новый приступ, как в кинотеатре.

— Сет, она и сейчас хозяйка своей жизни. А про Фукуда ты что-нибудь еще узнал?

— Узнал. Мне пришло в голову спросить папу, и оказалось, он помнит Ичimei.

В 1970 году, когда Ларри Беласко было двенадцать лет, его родители отремонтировали дом в Си-Клифф и приобрели соседний участок земли, чтобы расширить сад, который и так уже был обширный, но до сих пор не оправился от губительных весенних заморозков в год смерти Исаака Беласко и от заброшенности следующих лет. Как рассказал Ларри, однажды к ним пришел мужчина азиатской внешности в рабочей одежде и бейсболке; он не хотел заходить в дом, потому что его ботинки были в грязи. Это был Ичimei Фукуда, владелец цветочного питомника, созданного на паях с Исааком Беласко, а теперь принадлежавшего только ему. Интуиция подсказала Ларри, что этот мужчина знаком с его матерью. Отец объявил Фукуде, что совершенно не разбирается в садоводстве и

пускай решения принимает Альма, что показалось мальчику странным, ведь Натаниэль руководил Фондом Беласко и, следовательно, должен был иметь представление садах, по крайней мере, в теории. Из-за размеров участка и грандиозности планов Альмы реализация проекта заняла несколько месяцев. Ичимеи измерил землю, исследовал состав почвы, температуру, направление ветра, занес в альбом для рисования стрелочки и цифры — за всеми этими действиями Ларри следил как зачарованный. Вскоре прибыла бригада из шести работников, тоже азиатов, и первый грузовик с материалами. Ичимеи был человек спокойный, уравновешенный, с внимательным взглядом, он никогда не торопился, говорил мало, а когда говорил, голос его звучал так тихо, что мальчику приходилось наклоняться, чтобы его расслышать. Ичимеи редко начинал разговор первым или отвечал на вопросы о себе, зато, заметив заинтересованность Ларри, рассказывал ему о природе.

— Папа сказал мне очень странную вещь, Ирина. Он утверждает, что у Ичимеи есть аура, — добавил Сет.

— Что?

— Аура, незримое сияние. Это круг света над головой, как у святых на религиозных картинах. Только у Ичимеи сияние зримое. Папа говорит, что не всегда мог его разглядеть — лишь временами, и это зависело от освещения.

— Сет, ты шутишь?

— Мой папа никогда не шутит, Ирина. Да, и вот еще что: этот человек, наверное, факир: он контролирует свой пульс и температуру тела, может нагреть одну руку, как будто у него лихорадка, а другую сделать ледяной. Ичимеи несколько раз демонстрировал этот фокус папе.

— Это тебе Ларри рассказал или ты выдумываешь?

— Клянусь, это его слова! Ирина, мой отец — настоящий скептик: он не верит ни во что, чего не может подтвердить собственным опытом.

Ичимеи Фукуда успешно завершил проект, а в качестве подарка прибавил маленький японский садик, который спроектировал для Альмы, — а потом препоручил все работы другим садовникам. Теперь Ларри видел его только время от времени: Ичимеи регулярно появлялся, чтобы проверить, как идут дела. Мальчик обратил

внимание, что японец никогда не общается с Натаниэлем — только с Альмой, да и с ней держится официально, по крайней мере, в его присутствии. Ичимеи приходил к черному ходу с букетом цветов, снимал ботинки и приветствовал хозяйку легким поклоном. Альма всегда ждала его на кухне и отвечала таким же легким поклоном. Она ставила цветы в кувшин, он соглашался выпить чашку чая, и тогда они вместе исполняли медленный молчаливый ритуал, это была пауза в привычном течении их жизни. Спустя два года, когда Ичимеи перестал появляться в Си-Клифф, мать объяснила Ларри, что он отправился в путешествие по Японии.

— Как ты думаешь, в те годы они были любовниками? — спросила Ирина?

— Об этом я не могу спрашивать своего отца. Да он и не знает. Ирина, нам почти ничего не известно о наших собственных родителях. Но давай исходить из того, что они были любовниками в пятьдесят пятом году, как сказала моя бабушка Ленни Биллу, расстались, когда Альма вышла за Натаниэля, вновь соединились в шестьдесят втором и с тех пор остаются вместе.

— Почему в шестьдесят втором? — не поняла девушка.

— Это мое предположение, Ирина, я не уверен. Но в этом году умер мой прадедушка, Исаак Беласко.

И Сет рассказал о двух похоронах Исаака и как вся его семья наконец осознала, сколько добра сделал за свою жизнь их патриарх, скольких людей он защищал бесплатно в качестве адвоката, сколько денег подарил или одолжил в трудный час, скольким чужим детям дал образование, сколько благородных начинаний поддержал. Сет узнал, что семья Фукуда многим обязана Исааку Беласко, как они его уважали и любили, и вывел из этого, что кто-нибудь из Фукуда определенно присутствовал на похоронах. По семейным легендам, незадолго до его кончины Фукуда откопали старинный меч, захороненный ими в Си-Клифф. В саду до сих пор оставалась табличка, установленная Исааком, чтобы отметить место. Самое вероятное, что Альма воссоединилась с Ичимеи именно в это время.

— С пятьдесят пятого до две тысячи тринадцатого прошло пятьдесят с чем-то лет, примерно столько, сколько Альма называла Ленни, — подсчитала Ирина.

— Если мой дедушка Натаниэль и подозревал, что у его жены есть любовник, он притворялся, что ничего об этом не знает. В моей семье видимость значит больше, чем истина.

— И для тебя тоже?

— Нет. Я — белая ворона. К тому же я влюблен в одну девушку, такую бледную, точно молдавский вампир.

— Вампиры — они из Трансильвании, Сет.

3 марта 2004 года

В последние дни я часто вспоминал про Исаака Беласко, потому что моему сыну Майку исполнилось сорок лет и я решил передать ему катану семьи Фукуда: теперь хранить меч — его долг.

Однажды в начале 1962 года твой дядя Исаак позвонил мне и сказал, что пришло время достать меч, на двадцать лет захороненный в саду Си-Клифф. Он, несомненно, уже знал, что очень болен и скоро умрет. Собрались все, кто остался от нашей семьи: я, моя мать и моя сестра. С нами отправилась Кеми Морита, духовный лидер Оомото. В тот день, когда мы проводили ритуал в саду, ты где-то путешествовала со своим мужем. Быть может, твой дядя выбрал именно эту дату, чтобы не дать нам с тобой встретиться. Что он знал о нас с тобой? Полагаю, что немало, но он был весьма хитер.

Ичи

Ирина запивала суши зеленым чаем, а вот Сет перебрал с подогретым саке. Содержимое чашки исчезало с одного глотка, и Ирина, увлекшаяся разговором, тут же наливала новую порцию. Ни он, ни она не отметили момент, когда официант в синем кимоно и бандане принес им новую бутылку. Когда подошло время десерта — мороженого с сиропом, — Ирина заметила пьяную мольбу во взгляде Сета, и это был знак, что пора прощаться, пока ситуация не вышла из-под контроля, но бросить парня в таком состоянии она не могла. Официант предложил вызвать такси, но Сет отказался. Он вышел из ресторана, спотыкаясь, держась за свою спутницу, а свежий воздух только усилил воздействие саке.

— Кажется, мне не надо за руль... Можно, я останусь у тебя? — пробормотал Сет заплетающимся языком.

— А мотоцикл куда? Отсюда его могут угнать.

— Хрен с ним, с мотоциклом.

Они преодолели три километра до дома Ирины, путешествие заняло почти час, потому что Сет двигался рачьим шагом. Девушке доводилось жить в местах и похуже, но при Сете ей стало стыдно за эту грязную, обшарпанную хибару. В доме было пятнадцать жильцов, втиснутых в комнатухи с фанерными перегородками, окон и вентиляции хватало не на всех. Это был обычный для Беркли дом, поддерживать который в приличном состоянии не было возможности, так как хозяева не могли повышать арендную плату. Краска снаружи облупилась, ставни не держались на петлях, во дворе громоздилась ненужная рухлядь: старые покрышки, ломаные велосипеды, унитаз фиштаккового цвета, пролежавший здесь пятнадцать лет. Внутри в нос шибало смесью курительных палочек и прогорклого супа из цветной капусты. Коридоры и общие туалеты никто не мыл. Душ Ирина принимала в Ларк-Хаус.

— Почему ты живешь в таком свинарнике? — возмутился Сет.

— Потому что он дешевый.

— Выходит, Ирина, ты намного беднее, чем мне казалось.

— Не знаю, что там тебе казалось, Сет. Почти все на свете живут беднее, чем семья Беласко.

Ирина помогла ему снять ботинки и уложила на полу на матрас, служивший ей постелью. Простыни были чистые, потому что бабушка с дедушкой когда-то внушили ей, что бедность — это не оправдание для грязюки.

— А это что? — Сет показал на колокольчик на стене, шнурок от которого уходил в соседнюю комнату.

— Ничего, не беспокойся.

— Как это ничего? Кто там живет?

— Тим, мой приятель из кафе и компаньон по мытью собак. Иногда мне снятся кошмары, и я начинаю кричать, тогда Тим дергает за шнурок, колокольчик звенит, и я просыпаюсь. Такой у нас уговор.

— У тебя бывают кошмары, Ирина?

— Конечно. А у тебя разве не бывает?

— Нет. Эротические сны случаются, это да. Хочешь, расскажу тебе один сон?

— Спи давай!

Сет выполнил ее приказ меньше чем за две минуты. Ирина дала лекарство Неко, вымылась с помощью кувшина и тазика, которые держала в углу, сняла джинсы и рубашку, надела старую футболку и притиснулась к стене, отгородившись от Сета котом. Ей стоило больших усилий заснуть: мешало близкое соседство мужчины, шум соседей за стенками и капустный запах. Единственное окошко во внешний мир помещалось так высоко, что виден был только маленький прямоугольник неба. Иногда к девушке ненадолго заглядывала поздороваться луна, но эта ночь была не из удачных.

Ирина проснулась от малой толики утреннего света, проникшего через окошко, и увидела, что ее друга уже нет. Было девять, ей полагалось выехать на работу еще полтора часа назад. У Ирины болела голова и ныли кости, как будто похмелье от саке передалось ей диффузионным путем.

ИСПОВЕДЬ

Альма не вернулась в Ларк-Хаус ни в тот день, ни на следующий и не позвонила справиться, как там Неко. Кот не ел три дня и с трудом глотал воду, которую Ирина вводила ему в глотку шприцем; лекарство никак на него не подействовало. Девушка хотела попросить, чтобы Ленни Билл свозил их к ветеринару, но в Ларк-Хаус приехал Сет — свежий, выбритый, в чистой одежде и с выражением раскаяния на лице — ему было стыдно за минувшую ночь.

— Я только сейчас узнал, что крепость sake — семнадцать градусов...

— Ты на мотоцикле? — перебила Ирина.

— Да. Он простоял всю ночь там, где мы его оставили.

— Тогда отвези меня к ветеринару.

Их принял доктор Каллет, тот самый, что несколько лет назад ампутировал лапу Софии. И это не было совпадением: ветеринар служил волонтером в организации, искавшей хозяев для румынских собак, вот Ленни и порекомендовал его Альме. Доктор Каллет диагностировал кишечную непроходимость; кот нуждался в срочной операции, однако Ирина не могла принять такое решение, а у Альмы не отвечал телефон. Сет взял ответственность на себя, заплатил положенные семьдесят долларов и передал кота медсестре. После этого они с Ириной пошли в кафе, где девушка работала до того, как перешла к Альме. Их обслуживал Тим, который за три года по карьерной лестнице не продвинулся.

Сету все еще было мутно после sake, но в голове у него прояснилось, и парень пришел к выводу, что забота об Ирине — его долг и медлить с этим нельзя. Сет не был влюблен так, как раньше влюблялся в других женщин, когда всепоглощающая страсть не оставляла места для нежности. Он хотел Ирину, и он долго ждал, чтобы девушка сама ступила на узкую тропу эротики, но все его терпение оказалось напрасным, и теперь пришел час переходить к прямому действию или окончательно от нее отказаться. Ирину не пускало что-то из прошлого — ничем иным ее биологический страх было не объяснить. У Сета было сильное искушение прибегнуть к

помощи своих агентов, однако он давно решил, что Ирина не заслуживает такого предательства. Он надеялся, что загадка разрешится как-нибудь сама собой, и не задавал лишних вопросов, но время подобных рассуждений прошло. Требовалось срочно вытащить девушку из крысятника, в котором она жила. Сет подготовил аргументы, как для выступления на суде, однако, когда он увидел ее мордашку под дурацкой шапочкой, вся речь вылетела из головы, и Сет без предисловий предложил Ирине перебраться к нему.

— У меня удобная квартира, квадратных метров в избытке, и для тебя будет отдельная комната и отдельная ванная. Это бесплатно.

— В обмен на что? — недоверчиво спросила девушка.

— Ты будешь работать на меня.

— Как именно работать?

— Помогать с книгой про Беласко. Все время требуется что-то выяснять, а мне некогда.

— Я работаю по сорок часов в неделю в Ларк-Хаус и еще двенадцать на твою бабушку, еще мою собак по выходным и собираюсь учиться по вечерам. У меня времени меньше, чем у тебя, Сет.

— Ты могла бы отказаться от всего, кроме бабушки, и заняться моей книгой. У тебя будет жилье и хорошее жалование. Я хочу проверить, как это — жить с женщиной; я никогда этого не делал и нуждаюсь в небольшой практике.

— Вижу, моя комната тебя удивила. Я не хочу вызывать у тебя жалость, Сет.

— А это не жалость. Сейчас ты вызываешь у меня ярость.

— Ты хочешь, чтобы я бросила свою работу, отказалась от верных доходов, от комнаты в Беркли с фиксированной оплатой, заполучить которую мне стоило больших трудов, чтобы я поселилась в твоей квартире, а потом, когда я тебе надоем, оказалась на улице? Весьма убедительно.

— Ирина, ты ничего не понимаешь!

— Еще как понимаю, Сет. Тебе нужна секретарша с доступом в постель.

— О господи! Я не собираюсь тебя умолять, но предупреждаю: я уже готов развернуться и исчезнуть из твоей жизни. Ты знаешь, как я к тебе отношусь, это очевидно даже для бабушки.

— Альмы? При чем тут твоя бабушка?

— Это была ее идея. Я хотел предложить тебе выйти за меня, да и все, но она говорит, нам лучше попробовать пожить вместе год или два. Так ты успеешь привыкнуть ко мне, а мои родители успеют свыкнуться с тем, что ты не еврейка и что ты бедная.

Ирина даже не пыталась сдерживать слезы. Она только спрятала лицо за сплетенными руками, побежденная головной болью, которая усилилась в последние часы, и смятая лавиной противоположных чувств: нежностью и благодарностью к Сету, стыдом за собственную неустроенность, неверием в будущее. Этот мужчина предлагает ей любовь, как в романах, но такая любовь не для нее. Она способна любить стариков из Ларк-Хаус, Альму Беласко, нескольких друзей вроде Тима, который в этот момент с тревогой смотрел на их столик из-за прилавка, бабушку с дедушкой, поселившихся в стволе секвойи, Неко, Софию и других питомцев из пансиона; Сета она любила больше всех, но все равно недостаточно.

— Что с тобой, Ирина? — растерялся парень.

— Ты тут совершенно ни при чем. Это все мое прошлое.

— Расскажи.

— Зачем? Это ничего не изменит, — ответила она, сморкаясь в бумажную салфетку.

— Это очень важно, Ирина. Вчера я хотел взять тебя за руку — и ты меня чуть не ударила. Конечно, ты права: я нажрался как свинья. Прости. Это больше не повторится, обещаю. Я люблю тебя уже три года, тебе это хорошо известно. Чего ты ждешь, что тебе нужно, чтобы меня полюбить? Берегись, Ирина, имей в виду: я ведь могу заполучить и другую девчонку из Молдавии: сотни таких эмигранток готовы выскочить замуж ради американского гражданства.

— Хорошая мысль, Сет.

— Ирина, со мной ты будешь счастлива. Я самый добрый чувак на свете, абсолютно безобидный.

— Ни один американский адвокат на мотоцикле не безобиден, Сет. Но да, я признаю, ты потрясающий человек.

— Так что, ты согласна?

— Я не могу. И если бы ты знал почему, то вылетел бы отсюда пулей.

— Дай-ка я угадаю: контрабанда экзотических животных вымирающих видов? Не имеет значения. Переселяйся ко мне, а потом разберешься.

Квартира Сета в современном здании в районе Эмбаркадеро, с консьержем и большими зеркалами в лифте, была такой незапятнанно-чистой, что казалась необитаемой. Не считая кожаного дивана салатного цвета, гигантского телевизора, стеклянного столика с аккуратными стопками журналов и книг и нескольких датских торшеров, в этой Сахаре с окнами во всю стену и темным паркетом больше ничего не было. Никаких ковров, картин, украшений и цветов. На кухне главенствующее положение занимали стол из черного гранита и сверкающая коллекция медных кастрюль и сковородок, которые никем не использовались, а просто висели на крючьях под потолком. Ирина из любопытства сунула нос в холодильник и обнаружила там апельсиновый сок, белое вино и обезжиренное молоко.

— Ты вообще ешь твердую пищу, Сет?

— Да, в гостях у моих стариков или в ресторанах. Здесь, как выражается моя мать, недостает женской руки. Ты умеешь готовить?

— Картошку и капусту.

Комната, которая, по словам Сета, ее заждалась, была такой же стерильной и аскетической, как и остальная квартира: там размещались только широкая кровать с покрывалом из грубого льна и подушками трех кофейных оттенков — что вовсе не оживляло интерьер, — ночной столик и металлический стул. На стене песочного цвета висела одна из черно-белых фотографий Альмы, сделанная Натаниэлем Беласко, однако в отличие от других снимков, на которых Ирина открыла для себя новую Альму, на этом была оставлена только половина ее сияющего лица в окружении туманной дымки. Это был единственный элемент декора, который Ирина заметила в пустыне Сета.

— Сколько ты здесь живешь? — спросила она.

— Четыре года. Тебе нравится?

— Вид впечатляющий.

— Квартира тебе кажется очень холодной, констатировал Сет. — Что ж, если хочешь что-то здесь поменять, нам придется

договариваться о деталях. Никаких кружавчиков и пастельных тонов, они не гармонируют с моей личностью, но я готов пойти на мелкие уступки в дизайне. Не прямо сейчас, а потом, когда ты будешь умолять меня на тебе жениться.

— Спасибо, но сейчас лучше подбрось меня до метро, мне пора возвращаться к себе. Боюсь, у меня грипп: все тело ломит.

— Ну нет уж, мисс. Давай закажем китайскую еду, посмотрим кино и подождем звонка доктора Каллета. Очень жаль, что у меня нет куриного бульона — это проверенное средство.

— Извини, а можно мне принять ванну? Я много лет этого не делала, пользуюсь душем для персонала в Ларк-Хаус.

Вечер был светлый, и через окно рядом с ванной открывалась панорама бурлящего города с потоком машин, с яхтами в бухте, с людьми на улицах: они передвигались пешком, на велосипедах, на роликах, сидели за столиками на тротуарах под оранжевыми тентами, а надо всем высилась башня Ферри-билдинг с часами. Ирину трясло. Она по уши погрузилась в горячую воду и ощутила, как расправляются задеревеневшие мускулы, как успокаиваются ноющие кости; она в очередной раз благословила деньги и щедрость семьи Беласко. Потом Сет из-за двери крикнул, что доставили еду, но девушка отмокала в ванне еще полчаса. В конце концов она неохотно оделась, ее покачивало и клонило в сон. От запаха картонных коробок с кисло-сладкой свининой, *чоу-мейн*^[15] и утки по-пекински ее затошнило. Ирина свернулась на диване, уснула и не просыпалась несколько часов, пока за окнами не стемнело. Сет подsunул ей под голову подушку, укутал покрывалом, а потом сидел на углу дивана, смотря второй фильм за этот вечер — шпионы, международная преступность и злодеи из русской мафии, — а ноги Ирины покоились у него на коленях.

— Я не хотел тебя будить. Звонил Каплет, сказал, что Неко хорошо перенес операцию, но у него большая опухоль в селезенке и это начало конца, — сообщил парень.

— Бедняжка, я надеюсь, он не страдает...

— Каплет не позволит ему страдать, Ирина. Как твоя голова — болит?

— Не знаю. Спать очень хочется. Ты ведь не подсыпал мне наркотик в чай, Сет?

— Подсыпал — кетамин. Почему бы тебе не залезть в постель и не поспать как положено? У тебя жар.

И Сет отнес Ирину в комнату с фотографией, снял с нее ботинки, помог лечь, укутал, а сам ушел досматривать кино. На следующий день Ирина проснулась поздно, хорошенько пропотев и заспав лихорадку; она чувствовала себя лучше, но в ногах до сих пор оставалась слабость. На черном кухонном столе ее ждала записка Сета: «Кофе в кофеварке, просто включи. Бабушка вернулась в Ларк-Хаус, и я рассказал ей про Неко. Она предупредит Фогта, что ты заболела и не выйдешь на работу. Отдыхай. Я позвоню позже. Целую. Твой будущий муж». Рядом на столе стоял лоток: куриный суп с вермишелью, коробочка малины и бумажный пакет со свежим хлебом из ближайшей пекарни.

Сет вернулся домой из суда еще до шести часов вечера, ему не терпелось увидеть Ирину. Он несколько раз звонил ей, чтобы удостовериться, что гостья не ушла, но боялся, что в последнюю минуту она поддастся порыву и все-таки исчезнет. Когда он думал об Ирине, первый образ, который приходил ему в голову, был заяц, готовый задать стрекача, а потом возникало ее бледное сосредоточенное личико, приоткрытый рот, круглые от изумления глаза — с таким видом она жадно впитывала истории Альмы. Как только Сет открыл дверь, он почувствовал присутствие Ирины. Еще не видя, он понял, что она здесь, что квартира обитаема: песок на стенах казался более теплым, на полу появился атласный блеск, которого он прежде не замечал, сам воздух сделался более дружелюбным. Девушка вышла ему навстречу на неверных ногах, с припухлой от сна глазами, с волосами, растрепанными, точно белесый парик. Сет распахнул объятия, и она впервые не отшатнулась. Они стояли, обнявшись, и это время для нее показалось вечностью, а для него пролетело, как вздох. Потом она взяла его за руку и подвела к дивану. «Нам нужно поговорить», — сказала она.

Кэтрин Хоуп, выслушав исповедь Ирины, взяла с нее обещание все рассказать Сету — не только чтобы с корнем вырвать это вредоносное растение, отравляющее девушку, но и потому, что Сет заслуживал знать правду.

В конце 2000 года агент Рон Уилкинс работал в сотрудничестве с двумя следователями из Канады, определяя происхождение сотен картинок, гулявших по интернету: это были фотографии девятилетней девочки, подвергавшейся такому запредельному насилию, таким извращенным надругательствам, что, возможно, ее уже не было в живых. Такие картинки очень полюбили коллекционерам детской порнографии: они покупали фото и видео анонимно, через незаконную международную сеть. Сексуальная эксплуатация детей не являлась чем-то новым, она столетиями процветала на фоне полной безнаказанности, однако агенты опирались на закон 1978 года, объявлявший такое поведение незаконным на территории Соединенных Штатов. После этого года производство и распространение фотографий и фильмов сократилось, потому что прибыли не оправдывали суровости наказания. А потом появился интернет, и рынок начал разрастаться неконтролируемо. По приблизительным подсчетам, существовали сотни тысяч веб-сайтов, посвященных детской порнографии, и более двадцати миллионов ее потребителей, половина из которых проживала в США. Задание агентов состояло в том, чтобы выявить клиентов подпольной сети, но еще важнее было бросить вызов производителям. Ключевым словом в деле о девочке со светлыми волосами, остренькими ушками и ямочкой на подбородке было имя Элис. Материал был недавний. Агенты подозревали, что Элис может оказаться старше, чем выглядит, поскольку производители порно старались, чтобы жертвы смотрелись как можно моложе, — таковы были запросы потребителей. Через пятнадцать месяцев интенсивного взаимодействия Уилкинс и канадцы вышли на след одного из коллекционеров, пластического хирурга из Монреаля. Его дом и клинику обыскали, компьютеры вывезли, обнаружили более шести сотен изображений, среди них две фотографии и одно видео с Элис. Хирурга арестовали, он согласился на сотрудничество в обмен на смягчение приговора. Получив необходимую информацию и контакты, Уилкинс принялся за работу. Сам здоровяк отзывался о себе как об ищейке, которая, унюхав след, уже ни на что не отвлекается, идет за добычей до конца и не успокаивается, пока не поймает. Уилкинс, прикинувшись любителем, скачал несколько снимков Элис, обработал на компьютере так, чтобы не было видно лица и они имели вид оригиналов, и с их помощью

получил доступ к сети, которой пользовался монреальский коллекционер. Он уже взял след, все остальное было вопросом обоняния.

Однажды ноябрьским вечером 2002 года Рон Уилкинс нажал кнопку звонка одного из домов в бедном районе на юге Далласа, и Элис открыла ему дверь. Агент узнал девочку с первого взгляда, ее было невозможно ни с кем перепутать. «Мне надо поговорить с твоими родителями», — сказал он со вздохом облегчения, потому что не был уверен, что застанет девочку живой. Был тот счастливый период, когда Джим Робинс работал в другом городе, дома оставались только мать и дочь. Агент показал значок ФБР и, не дожидаясь приглашения, толкнул дверь и прошагал в дом, прямым ходом в гостиную. Ирина часто будет вспоминать этот момент, словно заново его переживая: черный великан, запах сладких цветов, низкий распевный голос, большие ухоженные руки с розовыми ладонями. «Сколько тебе лет?» — спросил гигант. Радмила уже была под вторым стаканом водки и третьей бутылкой пива, но считала, что контролирует ситуацию. Она выступила с заявлением, что ее дочь — несовершеннолетняя и потому все вопросы следует обращать к ней. Уилкинс оборвал ее взмахом руки. «Мне скоро будет пятнадцать», — ответила Элис еле слышным голосом, точно ее застигли на месте преступления, и негр вздрогнул, потому что его единственной дочери, свету его очей, было столько же. Детство Элис прошло в лишениях, при недостатке белков, она поздно развилась и при своем низком росте и узкой фигурке выглядела намного младше своих лет. Уилкинс подсчитал, что сейчас она смотрится на двенадцать, а на первых появившихся в интернете снимках ей лет девять или десять. «Дай-ка я пообщаюсь с твоей мамой наедине», — смущенно попросил Уилкинс. Но в эти минуты Радмила вступила в агрессивную стадию опьянения; она завопила, что ее дочь имеет право услышать все, что собирается сказать инспектор. «Ведь верно, Елизавета?» Девочка кивнула, словно под гипнозом, не отрывая взгляда от стены. «Мне очень жаль, милая», — сказал Уилкинс и выложил на стол полдюжины фотографий. Вот каким образом Радмила узнала правду о том, что происходило в ее доме в течение более чем двух лет, и отказалась на это смотреть, и вот каким образом Элис узнала, что тысячи людей во всех частях света наблюдали за ее интимными играми с отчимом. Все

эти годы она чувствовала себя грязной, плохой и виноватой; увидев фотографии на столе, она захотела умереть. Никакой возможности искупить вину для нее не существовало.

Джим Робинс объяснял ей, что такие игры с папой или с дядями — обычное дело, что многие мальчики и девочки участвуют в них по доброй воле и с благодарностью. Такое случается только с особыми детьми, но об этом никто не рассказывает — это большая тайна, и она не должна никому про это говорить: ни подругам, ни учительницам и уж точно не докторам, иначе люди назовут ее грязной и грешной, она потеряет друзей и останется одна; даже собственная мать от нее откажется, ведь Радмила такая ревнивая. Почему она сопротивляется? Может, нужны подарочки? Нет? Ну ладно, тогда он будет платить ей как взрослой девушке — не прямо ей, а бабушке с дедушкой. Он сам возьмет на себя отправку денег в Молдавию от внучки, а она должна написать им письмо, только ничего не говорить Радмиле: это тоже будет их тайна для двоих. Иногда ее старикам требовался дополнительный перевод: они собирались чинить крышу или покупать козу. Никаких проблем: он ведь парень добрый и понимает, что жизнь в Молдавии нелегкая, хорошо хоть Элис повезло переехать в Америку. Но получать деньги ни за что нехорошо, их придется заработать, уговор? Она должна улыбаться, ведь ей это ничего не стоит, должна надевать одежду, которую выберет он, должна терпеть веревки и железо, должна пить джин, чтобы расслабиться, — с апельсиновым соком, чтобы не обжечь горло; скоро она привыкнет к этому вкусу — что, побольше сахару? Несмотря на алкоголь, наркотики и страх, девочка в какой-то момент заметила видеокамеры в камерке с инструментами — их «домике», куда нельзя было заходить никому, даже маме. Робинс поклялся, что снимки и видео — это дело частное, они будут принадлежать только ему, никто больше их не увидит, он сохранит их на память: эти изображения пригодятся ему через несколько лет, когда она уедет в колледж.

Как он будет по ней скучать!

Фотографии на столе и присутствие незнакомого негра с большими руками и печальными глазами доказывали, что отчим ее обманул. Все, что происходило в «домике», разгуливал по интернету и будет разгуливать и дальше, это невозможно забрать или уничтожить, это останется навсегда. Каждую минуту кто-то будет ее

насиловать, кто-нибудь в какой-нибудь точке земли будет мастурбировать на ее страдания. Всю оставшуюся жизнь, куда бы она ни пошла, ее могут узнать. И нет никакого выхода. Этот кошмар никогда не кончится. Запах алкоголя и вкус яблока всегда будут возвращать ее в «домик»; она будет не ходить, а прокрадываться, озираясь через плечо; чужие прикосновения всегда будут вызывать у нее оторопь.

В тот вечер после ухода Рона Уилкинса девочка закрылась в своей комнате, парализованная страхом и омерзением, уверенная, что отчим, когда вернется, ее убьет, как он и обещал сделать, если она хоть словом обмолвится об их играх. Единственным выходом была смерть — но только не от его рук, не медленное жестокое умерщвление, которое он так красочно расписывал, всегда добавляя новые детали.

Радмила тем временем залила в себя оставшуюся в бутылке водку, достигла бессознательного состояния и провела десять последующих часов, лежа на кухонном полу. Едва придя в себя, она обрушила град оплеух на дочь — стервозу и шлюху, из-за которой ее муж стал извращенцем. Эта сцена продолжалась недолго, поскольку вскоре прибыла патрульная машина с двумя полицейскими и социальной работницей, которых прислал Уилкинс. Радмилу арестовали, а девочку отвезли в детскую психиатрическую клинику — до того момента, как суд по делам несовершеннолетних решит, что с нею делать. Ни мать, ни отчима она не увидит.

Радмила успела предупредить Джима, что его разыскивают, и тот бежал из страны, однако он не учел, что связался с Роном Уилкинсом — агент потратил четыре года на поиски по всему свету, пока не повстречал Джима на Ямайке и не доставил в наручниках в Соединенные Штаты. Жертве Джима Робинса не пришлось общаться с ним на суде, потому что адвокаты выслушивали ее показания без публики, а судья освободила от присутствия на слушании дела. От судьи девушка узнала, что ее старики умерли, а заработанные ею деньги никуда не перечислялись. Джим Робинс был осужден на десять лет тюремного заключения без права на условно-досрочное освобождение.

— Ему осталось три года и два месяца. Когда он выйдет на свободу, он станет меня искать и мне будет негде спрятаться, — закончила Ирина.

— Тебе не придется прятаться. У него будет запретительный приказ. Если он к тебе приблизится — вернется в тюрьму. Я буду с тобой и позабочусь, чтобы этот приказ выполнялся, — пообещал он.

— Но, Сет, разве ты не понимаешь, что это невозможно? В любой момент кто-нибудь из твоего круга — партнер, друг, клиент, твой собственный отец — может меня узнать. Прямо сейчас меня видно на тысячах экранов.

— Нет, Ирина. Ты женщина двадцати шести лет, а по сети разгуливает Элис, девчонка, которой больше не существует. Ты больше не представляешь интереса для педофилов.

— Ошибаешься. Мне несколько раз приходилось убегать из городов, где я жила, потому что меня преследует какой-то грязный тип. Обращаться в полицию бессмысленно: они не могут помешать маньяку распространять мои фотографии. Я думала, что если перекрашусь в брюнетку или наложу макияж, смогу остаться незамеченной, но ничего не вышло: меня легко узнать по лицу и я не сильно переменялась за прошедшие годы. Сет, я никогда не смогу успокоиться. Если твоя семья может меня не принять, потому что я бедная и не еврейка, представь себе, как им будет обнаружить такое?

— Мы им скажем, Ирина. Им будет непросто с этим свыкнуться, но, думаю, они в конце концов полюбят тебя еще больше за все, что ты пережила. Это очень славные люди. У тебя было время для страданий, теперь должно начаться время выздоровления и прощения.

— Прощения, Сет?

— Если ты этого не сделаешь, ненависть тебя уничтожит. Почти все раны лечатся нежностью, Ирина. Ты должна полюбить сама себя и полюбить меня. Договорились?

— Точно так же сказала и Кэти.

— Прислушайся к ней, эта женщина много знает. Разреши мне тебе помочь. Мудрости у меня никакой нет, зато я хороший товарищ, и ты могла тысячу раз убедиться, что я страшный упрямец. Я никогда не соглашаюсь с поражением. Смирись, Ирина, я тебя в покое не оставлю. Чувствуешь, как бьется сердце? — Сет взял руку девушки и поднес к груди.

— Сет, это еще не всё.

— Это не всё?

— С тех пор как агент Уилкинс спас меня от отчима, никто ко мне не прикасался... Ты понимаешь, о чем я говорю. Я была одна, и это меня устраивает.

— Послушай, Ирина, это нужно переменить, но торопиться мы не будем. То, что случилось, не имеет ничего общего с любовью и никогда не повторится. И с нами это тоже не имеет ничего общего. Ты мне как-то сказала, что старики занимаются любовью без спешки. И это неплохая идея. Давай любить друг друга, как пара старичков, что скажешь?

— Не думаю, что у нас получится, Сет.

— Тогда нам придется походить к доктору. Давай, подруга, хватит уже хныкать. Есть хочешь? Причешись как-нибудь, мы отправляемся ужинать и обсуждать прегрешения моей бабушки, это всегда поднимает нам настроение.

ТИХУАНА

В те благословенные месяцы 1955 года, когда Альма с Ичимеи вольно предавались любви в убогом мотеле Мартинеса, она призналась ему, что бесплодна. Это было не столько ложью, сколько желанием и самообманом. Альма так сказала, чтобы сохранить непредсказуемость их движений на простынях, потому что верила, что диафрагма поможет избежать ненужных сюрпризов, и потому что ее менструации всегда были такие нерегулярные, что гинеколог, к которому ее несколько раз водила Лиллиан, диагностировал у нее кисту яичников, что могло сказаться на детородности. Альма все время откладывала операцию, как и многие другие важные дела, поскольку материнство в списке ее ценностей стояло на последнем месте. Она решила, что в течение молодости ей удастся не залететь каким-нибудь волшебным образом. Подобные неприятности происходили с женщинами из других слоев, без образования и денег. Она не замечала в себе перемен до десятой недели, потому что не следила за своими циклами, а когда что-то заметила, еще две недели надеялась на удачу. Альма предположила, что ошиблась в подсчетах; но уж если случилось самое страшное, дело разрешится посредством суровых физических нагрузок, подумала она и принялась повсюду разъезжать на велосипеде, яростно крутя педали. Альма поминутно проверяла, не появилась ли кровь на белье, и тревога ее росла с каждым днем, но она продолжала бегать на свидания с Ичимеи и заниматься любовью с такой же лихорадочной страстью, с какой гоняла вверх-вниз по холмистой дороге. В конце концов, когда Альма уже не могла оставлять без внимания набухшие груди, утреннюю тошноту и тревожные перепады настроения, она побежала не к Ичимеи, а к Натаниэлю, как привыкла поступать с самого детства. Чтобы тетя с дядей ни о чем случайно не догадались, Альма навестила кузена в адвокатской конторе «Беласко и Беласко», в том же офисе на улице Монтомери, который существовал с далекого 1920 года; то был патриархальный мавзолей юстиции: тяжеловесная мебель, полки юридических фолиантов в переплетах темно-зеленой кожи,

персидские ковры, скрадывающие звук шагов, так что говорить приходилось доверительным полусшепотом.

Натаниэль сидел за своим столом в жилете, с распущенным узлом галстука и всклокоченными волосами, вокруг него громоздились стопки документов и раскрытые книги, но, увидев сестру, он тотчас вскочил, чтобы ее обнять. Альма приникла к его шее, спрятав лицо, сразу почувствовав облегчение — наконец-то можно было поделиться своим несчастьем с человеком, который никогда ее не подводил. «Я беременна» — вот и все, что она тихонько сообщила. Не разжимая объятий, Натаниэль подвел сестру к дивану, и они сели рядышком. Альма рассказывала о любви, о мотеле и о том, что Ичимеи неповинен в ее беременности, это все она, и если Ичимеи узнает, он, несомненно, будет настаивать на свадьбе, чтобы взвалить на себя ответственность за дитя, но она все хорошо обдумала, и ей не хватает храбрости отказаться от всего, что всегда у нее было, и превратиться в жену Ичимеи; она его обожает, но ясно сознает, что невзгоды бедности убьют ее любовь. Альма оказалась перед дилеммой: либо выбрать полную материальных трудностей жизнь в японской общине, с которой у нее нет ничего общего, либо остаться под защитой привычной среды, — и страх неизвестности оказался сильнее; ей стыдно от собственной слабости, Ичимеи достоин безусловной любви, это потрясающий человек, мудрец, святой, чистая душа, чуткий и нежный любовник, в его руках она чувствует себя счастливой... Альма одну за другой нанизывала бессвязные фразы, шмыгая носом и сморкаясь, чтобы не разрыдаться, пытаясь сохранять видимость достоинства. Еще она добавила, что Ичимеи живет в духовном мире, он навсегда останется скромным садовником, вместо того чтобы развивать свой чудесный дар художника или превратить цветочный питомник в солидное предприятие; ничего подобного, он не стремится к большему, ему хватает доходов, достаточных, только чтобы прокормиться, ему наплевать на успех и процветание, ему важнее спокойствие и созерцание, но такие вещи не едят, а она не хочет заводить семью в деревянной лачуге с проржавевшей крышей и жить среди крестьян, с лопатой в руках. «Я знаю, Натаниэль, прости меня, ты тысячу раз предупреждал, а я тебя не слушала, ты был прав, теперь я вижу, что не могу выйти за Ичимеи, но я не могу и отказаться от своей любви, без него я сохну, как дерево в пустыне, я умру, и отныне

я стану очень-очень осторожной, мы будем предохраняться, это больше не повторится, обещаю, клянусь тебе, Нат!» Натаниэль слушал сестру, не перебивая, пока у нее не закончилось дыхание для жалоб, а голос не перешел в бормотание.

— Правильно ли я тебя понимаю, Альма? Ты беременна и не хочешь говорить Ичimei... — подытожил Натаниэль.

— И я не могу родить без замужества, Нат. Ты должен мне помочь. Ты единственный, к кому я могу обратиться.

— Аборт? Альма, это незаконно и опасно. На меня можешь не рассчитывать.

— Послушай, Нат. Я все подробно разузнала: это дело безопасное, без риска и стоит всего сотню долларов, но ты должен поехать со мной, потому что это в Тихуане.

— Тихуана? Но, Альма, в Мексике аборты тоже запрещены. Это просто безумие!

— Здесь это намного опаснее, Нат. Там есть врачи, которые делают это прямо под носом у полицейских, никому и дела нет.

Альма предъявила клочок бумаги с телефонным номером и добавила, что уже по нему звонила, общалась с неким Рамоном из Тихуаны. Собеседник говорил на ужасном английском, он спросил, кто дал ей этот телефон и знает ли она условия. Альма оставила свой номер, пообещала расплатиться наличными, они договорились, что через два дня Рамон заберет ее на своей машине в три часа дня, на определенном углу в Тихуане.

— А ты сказала этому Рамону, что явишься в сопровождении адвоката? — спросил Натаниэль, тем самым соглашаясь с ролью, которую предназначила для него Альма.

Они выехали на следующий день в шесть утра, на черном семейном «линкольне», который лучше годился для пятнадцатичасового путешествия, чем спортивный автомобиль. Поначалу Натаниэль не мог найти выхода для своей злости, хранил враждебное молчание, что есть силы сжимал руль и не отрывал взгляда от шоссе, однако стоило Альме попросить остановиться на стоянке грузовиков, чтобы сходить в туалет, и он сразу смягчился. Девушка провела в кабинке полчаса, а когда Натаниэль уже собирался идти за ней, вернулась к машине вся растрепанная. «По утрам я блюю,

Нат, но потом это проходит», — пояснила она. Оставшуюся часть пути брат старался ее развлекать, в итоге все закончилось пением самых прилипчивых песен Пэта Буна^[16], потому что других они не знали, а потом обессиленная Альма прижалась к брату, положила голову ему на плечо и задремала. В Сан-Диего они сделали остановку в отеле, чтобы поесть и отдохнуть. Портье принял их за семейную пару и предоставил номер с большой кроватью, на которой они улеглись, держась за руки, как в детстве. Впервые за несколько недель Альма спала без кошмаров, а Натаниэль пролежал без сна до рассвета, вдыхая аромат шампуня, которым пахли волосы его двоюродной сестры; он взвешивал риски, тосковал и нервничал, словно был отцом ребеночка, страшился встречи с полицейскими, переживал, что ввязался в позорную авантюру, вместо того чтобы подкупить врача в Калифорнии, где все можно достать по сходной цене, не дороже, чем в Тихуане. Когда сквозь щелку в шторах пробился первый луч зари, усталость победила все страхи, и проснулся Натаниэль только в девять, когда услышал, как Альму тошнит в ванной комнате. У них оставалось достаточно времени, чтобы, со всеми возможными задержками, пересечь границу и явиться на встречу с Рамоном.

Мексика встретила их знакомыми картинками. Альма и Натаниэль прежде не бывали в Тихуане и ожидали увидеть сонный поселок, а очутились в огромном городе, грохочущем и ярком, переполненном людьми и транспортом: автобусы-развалюхи и современные автомобили были здесь в равных правах с телегами и осликами. В одном и том же месте могли торговать мексиканскими продуктами и электротоварами, башмаками и музыкальными инструментами, автозапчастями и мебелью, птичками в клетках и пахучими лепешками. Воздух пропах жареным мясом и отбросами, сотрясался от мексиканской музыки, евангелических проповедей и воплей футбольных радиокomentаторов. Найти нужный угол оказалось непросто: на улицах не было табличек с названиями и номерами, приходилось спрашивать дорогу через каждые три квартала, но Натаниэль с Альмой не понимали указаний местных жителей, зачастую состоявших из неопределенного взмаха рукой с добавкой «ну и там еще свернете». Утомленные путники оставили «линкольн» возле заправки и пешком добрались до назначенного угла, который оказался пересечением четырех оживленных улиц. Они стояли на углу в

ожидании, под внимательным наблюдением бродячего пса и стайки оборванных детей-попрошак. Единственным ориентиром, который имелся у них помимо названия улицы, была лавка с костюмами для первого причастия, изображениями Девы Марии и католических святых и с неподобающим названием «Да здравствует Сапата!»^[17].

Когда прошло двадцать минут, Натаниэль решил, что их обманули и пора возвращаться, но Альма напомнила, что в этой стране пунктуальность не в чести, и вошла в «Сапату». Там она жестами попросила позвонить и набрала номер Рамона; после девяти гудков ей по-испански ответил женский голос, объясниться не удалось. Около четырех часов, когда уже и Альма согласилась уходить, на углу остановился «форд» модели 1949 года, горохового цвета, с затемненными задними стеклами — как и описывал Рамон. Спереди сидели двое: за рулем — молодой человек с рябым от оспы лицом, с хвостиком и кустистыми бакенбардами; второй вышел, чтобы пропустить американцев в машину, поскольку дверей было всего две. Вторым представился Рамоном. Лет ему было за тридцать, усики как две тонкие ниточки, набриолиненные волосы зачесаны назад, белая рубашка, джинсы, остроносые сапоги на каблуках. Оба мексиканца курили. «Деньги», — потребовал Рамон, как только приезжие сели в машину. Натаниэль заплатил, усатый пересчитал бумажки и сунул в карман. Мексиканцы не произнесли больше ни слова на всем протяжении пути, который Альме и Натаниэлю показался долгим; они решили, что повороты специально накручивают, чтобы их запутать, — это была напрасная предосторожность, ведь приезжие не знали города. Альма, прижавшись к Натаниэлю, прикидывала, как бы обернулась ситуация, если бы она приехала в одиночку, а Натаниэль боялся, что эти люди, уже с деньгами в кармане, легко могут их пристрелить и выбросить в овраг. Дома они никому не сказали, куда направляются, и могут пройти недели или месяцы, прежде чем семья узнает об их участии.

В конце концов «форд» остановился на какой-то улице; им велели ждать, парень с бакенбардами вышел, второй остался караулить их в машине. Водитель зашел в нешикарного вида типовой дом, один из многих подобных на этой улице. Квартал показался Натаниэлю бедным и грязным, хотя здесь не следовало судить по меркам Сан-Франциско. Водитель вернулся через несколько минут. Натаниэлю

приказали выйти, обыскали с ног до головы и повели в дом, держа под руки, но он, ругнувшись по-английски, резко вывернулся. Удивленный Рамон сделал примиряющий жест. «Спокойно, дружок, все в порядке», — рассмеялся он, сверкнув золотыми зубами. Он предложил сигарету, Натаниэль закурил. Второй помог Альме выйти из машины, и все вошли в дом, который, вопреки опасениям Натаниэля, не выглядел как бандитский притон, а походил на скромное семейное жилище — душное и темное, с низким потолком и маленькими окнами. В комнате на полу двое мальчишек играли в свинцовых солдатиков, из мебели там были стол со стульями и накрытый полиэтиленом диван, люстра была необычная, с бахромой, вентилятор грохотал, как лодочный мотор. Из кухни доносился запах вареного лука, женщина в черном что-то помешивала на сковороде — она обратила на пришедших столь же мало внимания, как и мальчишки. Водитель с бакенбардами предложил Натаниэлю стул, а сам отправился на кухню; Рамон тем временем повел Альму по короткому коридору в другую комнату, где вместо двери на пороге висело покрывало.

— Подождите! — остановил его Натаниэль. — Кто будет проводить операцию?

— Я, — ответил Рамон, который, по-видимому, единственный здесь хоть немного говорил по-английски.

— Вы что — врач? — спросил Натаниэль, глядя на его руки с длинными полированными ногтями.

Последовала еще одна обворожительная улыбка, еще одно подмигивание, новые успокаивающие жесты и несколько малопонятных фраз про большой опыт в подобных делах и про то, что дел всего-то на пятнадцать минут, никаких проблем. «Анестезия? Нет, приятель, тут ничего такого не надо, зато вот что поможет». Он протянул Альме бутылку текилы. Поскольку девушка колебалась и смотрела на бутылку с недоверием, Рамон сам хорошенько приложился, обтер горлышко рукавом и снова предложил напиток пациентке. Натаниэль увидел ужас на бледном лице кузины и за секунду принял самое важное решение в своей жизни.

— Рамон, мы передумали. Мы поженимся, и у нас будет ребенок. Деньги можете оставить себе. [\[19\]](#)

У Альмы впереди будет много лет, чтобы кропотливо исследовать свои поступки 1955 года. В этом году она окунулась в реальность и все старания справиться с терзавшими ее угрызениями оказались бесполезны: это был мучительный стыд за нелепую беременность; за то, что она любила Ичимеи меньше, чем себя; за ее страх перед бедностью; за пресмыкательство перед общественным мнением; за то, что приняла жертву Натаниэля; что не оказалась на высоте современной амазонки, которую из себя строила; за ее малодушный, несвободный характер — и еще за полдюжины эпитетов, к которым она себя приговорила. Альма знала, что отказалась от аборта, испугавшись боли и смерти от потери крови или инфекции, а совсем не из благоговения перед тем, кто зарождался у нее в животе. Она снова и снова рассматривала себя в зеркале своего шкафа, но больше не встречалась с той прежней Альмой, бесстрашной и чувственной, которую увидел бы Ичимеи, будь он рядом, — в зеркале отражалась трусливая, капризная, эгоистичная женщина. Оправдания совершенно не помогали, ничто не уменьшало боли от потери достоинства. Много лет спустя, когда любить человека другой расы и рожать детей вне брака вошло в моду, Альма скрепя сердце признает, что глубже всего в ней коренился предрассудок социального неравенства, от которого она так и не избавилась. Несмотря на упадок сил после путешествия в Тихуану, которое покончило с иллюзией любви и унизило ее до такой степени, что последним ее прибежищем сделалась невероятная гордость, Альма никогда не пересматривала своего решения скрыть правду от Ичимеи. Признаться означало предстать перед ним во всей своей трусости.

По возвращении из Тихуаны Альма назначила Ичимеи встречу в том же мотеле, но на более ранний час. Она вооружилась высокомерием и запаслась красивыми словами. Ичимеи впервые пришел раньше своей подруги. Он дождался ее в замызганной комнатухе, тараканьем царстве, которое они освещали пламенем любви. Они не виделись пять дней, и уже несколько недель какая-то пелена замутняла гармонию их свиданий; Ичимеи воспринимал это как угрозу, которая обволакивала их густым туманом, а Альма легкомысленно отнекивалась, обвиняя его в излишней подозрительности на почве ревности. Ичимеи замечал, что его любимая как-то переменялась: она сделалась тревожной, слишком

много и слишком быстро говорила, настроение у нее менялось поминутно, она переходила от кокетства и нежности к угрюмому молчанию или беспричинным рыданиям. Совершенно очевидно, Альма от него отгораживалась, хотя яростный накал страсти и пылкое желание получить один оргазм за другим свидетельствовали об обратном. Иногда, когда любовники, обнявшись, отдыхали после секса, щеки у Альмы были влажные. «Это слезы любви», — говорила она, но Ичимеи, который никогда не видел ее плачущей, принимал их за слезы разочарования, а постельную акробатику — за желание отвести ему глаза. Ичимеи со своим допотопным благоразумием пытался напрямую выяснить, что с ней происходит, но Альма отвечала на его вопросы издевательским смехом или совсем уж бесстыжими подначками, которые вроде бы начинались шутейно, но сильно его задевали. Девушка ускользала от него, как ящерица. Пять дней разлуки, которые Альма объяснила обязательным семейным путешествием, Ичимеи провел, замкнувшись в себе. Всю неделю он продолжал с полной самоотдачей обрабатывать землю и ухаживать за цветами, но двигался словно под гипнозом. Хейдеко, знавшая его лучше всех на свете, воздерживалась от вопросов и даже сама развезла урожай по магазинам Сан-Франциско. В тишине и спокойствии, склонившись над цветами, подставляя солнцу спину, Ичимеи предавался своим размышлениям, которые редко его подводили.

Альма смотрела на него в тусклом свете, пробивавшемся сквозь продранные шторы в съемной конуре, и ее вина снова раздирала ее изнутри. На один краткий миг она возненавидела этого мужчину, заставлявшего ее столкнуться с самой мерзостной ее ипостасью, но потом ее тотчас же окатило той волной любви и желания, которая всегда поднималась в его присутствии. Ичимеи, стоящий у окна, ждущий ее, исполненный нерушимой внутренней силы, нежности и мягкости, лишенный тщеславия, с покоем в душе; Ичимеи с его телом из прочного дерева, его жесткими волосами, его зелеными пальцами, его ласковыми глазами, его смехом, рождавшимся откуда-то из глубины, его умением заниматься любовью как будто в последний раз. Альма не смогла посмотреть ему в глаза и притворно закашлялась, чтобы погасить тревогу, сжигавшую ее изнутри. «Что с тобой, Альма?» — спросил Ичимеи, не прикасаясь к ней. И тогда она разразилась речью, которую заранее подготовила с дотошностью

сутяги: она его любит и будет любить до скончания дней, но у их отношений нет будущего, они невозможны, семья и знакомые начинают что-то подозревать и задают вопросы, они принадлежат к совершенно разным мирам и оба должны принять свою судьбу, она решила продолжать учебу в Лондоне, и им нужно расстаться.

Ичимеи воспринял эту канонаду со стойкостью человека, уже к ней готового. После слов Альмы накупило долгое молчание, и в этой паузе женщина подумала, что они могли бы еще раз заняться сумасшедшим сексом, устроить пылающее прощание, бросить чувствам последний подарок перед тем, как окончательно обрежут ниточку надежды, которую она начала вить еще во время их детских ласк в саду Си-Клифф. Альма начала расстегивать блузку, но Ичимеи ее остановил.

— Я понимаю, Альма, — сказал он.

— Прости, Ичимеи. Я напридумывала тысячу несуразиц, чтобы мы оставались вместе, как, например, обзавестись другим пристанищем для нашей любви, поуютней этого отвратительного мотеля, но я знаю, что это невозможно. Я больше не могу жить с этой тайной, мои нервы на пределе. Мы должны расстаться навсегда.

— Навсегда — это долго, Альма. Думаю, мы снова встретимся в лучших обстоятельствах или в лучшей жизни, — ответил Ичимеи, стараясь сохранять хладнокровие, но ледяная тоска перехлестнула через край его сердца, и голос его задрожал.

Они обнялись как бездомные сироты любви. У Альмы подгибались колени, она почти уже упала на крепкую грудь своего любовника, почти уже призналась во всем, вплоть до самых дальних уголков стыда, почти умоляла взять ее замуж, почти согласилась жить в хижине и растить полукровок, почти пообещала быть послушной женой, отказаться от живописи по шелку, от роскоши Си-Клифф и от блестящей будущности, которая полагалась ей по праву рождения, она готова была пожертвовать и большим ради него и ради соединявшей их редкостной любви. Возможно, Ичимеи все это почувствовал и в своем благородстве уберег от этой жертвы, запечатав рот чистым коротким поцелуем. Не выпуская Альму из объятий, он подвел ее к двери, а потом и к машине. Ичимеи еще раз поцеловал ее — в лоб — и пошел к своему рабочему грузовичку, не оборачиваясь на прощание.

11 июля 1969 года

Альма, наша любовь неизбежна. Я знал это всегда, но на протяжении многих лет пытался выколоть ее из своих мыслей, раз уж не мог освободить от нее сердце. Когда ты бросила меня, ничего не объяснив, я этого не понимал. Я чувствовал себя обманутым. Но во время первого путешествия в Японию у меня было время успокоиться, и в конце концов я признал, что потерял тебя в этой жизни. Я перестал терзаться бесполезными размышлениями о том, что же у нас пошло не так. Я не ждал, что судьба нас вновь соединит. Теперь, после четырнадцати лет разлуки, когда я думал о тебе каждый день из этих четырнадцати лет, я понимаю, что мы никогда не будем мужем и женой, но мы не можем и отказываться от чувства, которое нас наполняет. Я предлагаю тебе существование в мыльном пузыре без соприкосновения с миром на всю оставшуюся жизнь — и после смерти тоже. От нас зависит, будет ли эта любовь вечной.

Ичи

ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ

Альма Мендель и Натаниэль Беласко сочетались браком на закрытой церемонии в саду Си-Клифф; с утра было тепло и солнечно, но постепенно становилось все холоднее и темнее: набежавшие тучи отражали душевное состояние новобрачных. Под глазами у Альмы залегли мешки цвета баклажана, ночь она провела без сна, терзаемая тысячей сомнений, а как только увидела раввина, кинулась в ванную — ужас пробрал ее до кишок, но Натаниэль заперся вместе с невестой, уговорил сполоснуть лицо холодной водой и вообще держать себя в руках и всем улыбаться. «Ты не одна, Альма. Я с тобой и сейчас, и навсегда», — пообещал он. Раввин поначалу отказывался проводить обряд, поскольку новобрачные были двоюродные брат и сестра, но все-таки был вынужден примириться с ситуацией, когда Исаак Беласко, самый влиятельный член его общины, пояснил, что, если принять во внимание положение Альмы, не остается ничего лучшего, кроме как их поженить. Исаак поведал, что молодые люди любили друг друга с самого детства и их привязанность превратилась в страсть, когда Альма вернулась из Бостона, — подобные вещи случаются, таково уж человеческое естество, и в свете происшедшего их остается только благословить. Марта с Сарой предложили распространить какую-нибудь легенду, чтобы утихомирить сплетников: например, что польские Мендели удочерили Альму и поэтому она не является кровной родственницей, но Исаак не согласился. Они не могут усугублять случившееся столь явной ложью. В глубине души Исаак был рад соединению двух людей, которых он любил больше всех на свете, если не считать жены. И он был тысячу раз за то, чтобы Альма вышла за Натаниэля и осталась накрепко привязана к его семье, а не искала себе мужа на стороне, — тогда девушка останется при нем. Лиллиан предостерегала, что от кровосмесительных связей рождаются дефективные дети, но Исаак заявил, что это невежественное суеверие, такое явление научно обосновано только для закрытых общин, где кровосмешение повторяется из поколения в поколение. У Натаниэля с Альмой был другой случай.

После бракосочетания, на котором присутствовали только члены семьи, служащий бюро регистрации и домашняя прислуга, Беласко устроили торжественный ужин в большой столовой, которой пользовались только в особых случаях. Повариха с помощницами, горничные и шофер робели, сидя за одним столом с хозяевами, а прислуживали в этот день официанты из «Ernie's» — самого роскошного ресторана в городе, который предоставил и еду. Это была идея Исаака: он таким образом решил публично подтвердить, что с этого дня Натаниэль и Альма являются мужем и женой. Домашней прислуге, знавшей новобрачных как членов одной семьи, было непросто свыкнуться с переменой; одна горничная, проработавшая у Беласко четыре года, вообще считала их братом и сестрой, потому что ей не говорили, что они двоюродные. Ужин начался в кладбищенском молчании, собравшиеся уставились в тарелки, все чувствовали себя неловко, но атмосфера оживлялась с каждым бокалом, который Исаак предлагал осушить за здоровье молодой четы. Веселый, жизнерадостный, подливавший вино себе и другим, Исаак казался здоровой и молодой версией того старика, в какого он превратился за последние годы. Лиллиан боялась, как бы у мужа не прихватило сердце, и дергала его под столом за брючину, призывая успокоиться. В завершение торжества новобрачные разрезали кремово-марципанный торт тем же серебряным ножом, которым много лет назад резали торт на своей свадьбе Исаак и Лиллиан. Простившись с каждым из приглашенных, они уехали из Си-Клифф на такси, потому что шофер уже порядком нагрузился и, не скрывая слез, что-то напевал на своем родном ирландском языке.

Свою первую ночь они провели в номере для новобрачных в Палас-отеле (там же, где Альма когда-то страдала на балах дебютанток) — с шампанским, цветами и конфетами. На следующий день они собирались лететь в Нью-Йорк, а оттуда на две недели в Европу — это путешествие было навязано им Исааком Беласко, хотя никому из двоих ехать не хотелось. У Натаниэля было в работе несколько судебных дел, и он не хотел оставлять контору, но отец купил авиабилеты, засунул ему в карман и убедил ехать, объяснив, что медовый месяц — это традиционная уловка: о поспешной свадьбе уже много судачат, не стоит добавлять новый повод. Альма переоделась в ванной и вернулась в комнату в ночной рубашке и шелковом халате с

кружевами, который Лиллиан купила для нее, второпях собирая положенное приданое. Женщина приняла театральную позу, чтобы покрасоваться перед Натаниэлем, который ждал ее, не раздеваясь, сидя на банкетке в изножье кровати.

— Смотри во все глаза, Нат, другой возможности восхититься мной у тебя не будет. Рубашка уже жмет на талии. Не думаю, что смогу натянуть ее еще раз.

Муж расслышал в голосе Альмы дрожь, которую она не смогла скрыть за кокетливым комментарием, и похлопал по банкетке, приглашая сесть рядом.

— Альма, я не строю иллюзий. Я знаю, что ты любишь Ичимеи.

— Я и тебя тоже люблю, Нат, не знаю, как и объяснить. В твоей жизни наверняка была дюжина женщин — странно, что ты меня ни с кем не знакомил. Когда-то ты сказал, что если влюбишься, я первая об этом узнаю. После рождения ребенка мы разведемся, и ты будешь свободен.

— Альма, я не отказывался ради тебя от большой любви. И мне кажется крайне невежливым, что ты в нашу первую брачную ночь говоришь о разводе.

— Не шути, Нат. Скажи мне честно: я тебя вообще привлекаю? Как женщина, я имею в виду.

— До сих пор я считал тебя своей младшей сестрой, но при совместной жизни это может перемениться. Ты бы хотела?

— Не знаю. Я растеряна, опечалена, раздражена, у меня в голове кавардак, а в животе ребеночек. Ты заключил ужасную сделку, когда брал меня в жены.

— Это мы еще поглядим, но я хочу, чтобы ты Нала, я буду хорошим отцом для мальчика или для девочки.

— У него будут азиатские черты, Нат. Как мы это объясним?

— Альма, мы не будем ничего объяснять, а спрашивать никто не осмелится. Высоко поднятая голова и рот на замке — вот лучшая тактика. Единственный, у кого есть право задать вопрос, — это Ичимеи Фукуда.

— Я никогда больше его не увижу, Нат. Спасибо, тысячу раз спасибо за то, что ты для меня делаешь. Ты самый благородный человек на свете, и я постараюсь быть тебе хорошей супругой. Несколько дней назад я думала, что без Ичимеи умру, но теперь мне

кажется, что с твоей помощью я смогу выжить. Я тебя не подведу. Клянусь, я всегда буду тебе верна.

— Тише, Альма! Не будем давать обещаний, которых, возможно, не сумеем исполнить. Мы пойдем по этой дороге вместе, шаг за шагом, день за днем, с самыми лучшими побуждениями. Вот единственное, что мы с тобой можем друг другу пообещать.

Исаак Беласко решительно отверг идею о собственном доме для новобрачных: в Си-Клифф было предостаточно места, а дом таких размеров строился специально, чтобы все поколения их семейства жили под одной крышей. К тому же Альме следовало вести себя осторожно, она нуждалась в заботе, в компании Лиллиан и двоюродных сестер; обустроить новый дом и следить за ним — это слишком большое напряжение, постановил Исаак. В качестве неопровержимого аргумента патриарх прибег к эмоциональному шантажу: он хочет провести рядом с Альмой и Натаниэлем оставшийся ему недолгий век, а потом они будут поддерживать Лиллиан в ее вдовстве. Супруги согласились с таким решением: они и дальше будут спать в синей комнате, единственная перемена — это вместо одной кровати появятся две, разделенные ночным столиком: Натаниэль выставил на продажу свой пентхаус и вернулся под отчий кров. В его прежней холостяцкой комнате он разместил стол, свои книги, пластинки и диван. Все в доме знали, что распписание супругов не благоприятствует интимным встречам: она вставала в полдень и рано уходила спать, а он трудился как каторжный, поздно возвращался из конторы, запирался у себя с книгами и коллекцией классической музыки, ложился за полночь, спал очень мало и уходил из дома до того, как она просыпалась; по выходным он играл в теннис, бегал трусцой на гору Тамальпайс, под парусом бороздил бухту и возвращался загорелый, потный и умиротворенный. Также было замечено, что Натаниэль обычно ночует на диване у себя в кабинете, но это объясняли тем, что Альме необходим покой. Натаниэль проявлял столько заботы, она так сильно от него зависела, их отношения отличались таким доверием и добросердечием, что только Лиллиан подозревала в их семейной жизни какую-то странность.

— Как у тебя дела с моим сыном? — спросила тетя Лиллиан на второй неделе их домашней жизни, после свадебного путешествия,

когда шел уже четвертый месяц беременности.

— Почему вы спрашиваете, тетушка?

— Потому что вы друг с другом нежны как прежде, ничего не переменилось. Любовь без страсти — это как пицца без соли.

— Вам бы хотелось, чтобы мы проявляли нашу страсть публично? — рассмеялась Альма.

— Моя любовь к Исааку — это самое драгоценное, что у меня есть, Альма. Того же я желаю и для вас: чтобы вы были влюблены друг в друга, как мы с Исааком.

— А почему вы думаете, что у нас не так, тетушка Лиллиан?

— Альма, ты сейчас в лучшей поре беременности. Между четвертым и седьмым месяцем женщина чувствует себя сильной, чувственной и полной энергии. Никто об этом не говорит, врачи замалчивают, но это состояние вроде постоянной течки. Так бывало, когда я носила трех своих детей: вообще не давала Исааку прохода. Вела себя просто неприлично!

— Откуда вам знать, что у нас происходит за закрытыми дверями?

— Альма, не отвечай вопросом на вопрос!

По другую сторону бухты Сан-Франциско Ичимеи замуровал себя в долгий период немоты, полностью отдавшись страданиям преданной любви. Он погрузился в уход за цветами, и те, в утешение садовнику, росли такие яркие и ароматные, как никогда прежде. Ичимеи узнал про свадьбу Альмы, потому что Мегуми в парикмахерской листала дамский журнал и увидела в разделе светской хроники фотографии Альмы и Натаниэля Беласко в праздничных нарядах во главе стола на ежегодном банкете их семейного фонда. Подпись гласила, что они недавно вернулись из свадебного путешествия по Италии, и расписывала роскошь платья Альмы, создательница которого вдохновлялась драпированными туниками Древней Греции. Как сообщалось в журнале, Натаниэль и Альма — это самая обсуждаемая пара года. Даже не подозревая, что вгоняет копьё в грудь брата, Мегуми вырезала страничку и забрала с собой. Ичимеи изучил заметку, не выказав никаких эмоций. Он уже несколько недель безуспешно пытался понять, что случилось с Альмой в последние месяцы, что произошло в мотеле их необузданной любви. Молодому человеку казалось, что он пережил совершенно исключительный опыт, их страсть была достойна романа, то была новая встреча двух душ,

предназначенных друг для друга, вместе идущих сквозь время, — пока он упивался этой восхитительной ясностью, она планировала свадьбу с другим. Измена была такой непомерной, что не помещалась у Ичимеи в груди и ему было трудно дышать. В кругу Альмы и Натаниэля супружество означало больше, нежели соединение двух людей, — это была система, экономическая и клановая стратегия. Невозможно было представить, чтобы Альма готовила свое замужество и при этом ничем себя не выдала; очевидное было у него под носом, но он, слепой и глухой, ничего не замечал. Теперь-то он мог связать концы с концами и объяснить себе несообразности в поведении Альмы последнего времени, ее вздорность, перепады настроения, увиливание от ответов, коварные уловки для отвлечения внимания, кувырканье в постели, чтобы заниматься сексом, не глядя в глаза. Лживость ее была столь абсолютна, сеть обманов столь запутанна и прочна, причиненное зло столь непоправимо, что оставалось лишь признать: он совершенно не знает Альму, эта женщина ему чужая. Той, которую он любил, никогда не существовало, он создал ее из мечтаний.

Не в силах выносить такое бессмысленное, сомнамбулическое состояние сына, Хейдеко Фукуда решила, что пора отвезти его в Японию, на поиски корней, а при небольшом везении — еще и невесты. Путешествие поможет стряхнуть придавившую сына тяжесть, причины которой не могли обнаружить ни она, ни Мегуми. По возрасту Ичимеи был слишком молод для создания семьи, однако он обладал разумением старца; Хейдеко решила вмешаться как можно скорее и выбрать себе невестку раньше, чем ее сыном завладеет тлетворная американская привычка жениться из-за любовного миража. Мегуми была полностью погружена в учебу, но все-таки согласилась взять на себя надзор за двумя соотечественниками, нанятыми в питомник на время поездки. Девушка собиралась попросить у Бойда Андерсона в качестве последнего любовного подвига, чтобы он все бросил на Гавайях, перебрался в Мартинес и занялся цветоводством, но Хейдеко до сих пор отказывалась произносить имя упрямого возлюбленного дочери и называла его не иначе как охранником из концентрационного лагеря. Должно было пройти еще пять лет, должен был родиться ее первый внук, Чарльз Андерсон, сын Мегуми и Бойда, и только тогда Хейдеко впервые заговорит с этим белым дьяволом.

Мать организовала путешествие, не спрашивая мнения Ичimei. Объявила, что они должны исполнить непреложный долг и почтить предков Такао, как она обещала мужу перед смертью, чтобы он мог уйти спокойно. Сам Такао при жизни не смог этого сделать, и теперь долг паломничества возложен на них. Им нужно посетить сто храмов, чтобы в каждом из них совершить приношения и рассеять по ветру частицы пепла Такао. Ичimei возражал, но только на словах, потому что в глубине души ему было все равно, где находиться — что здесь, что там; географическое положение не повлияет на процесс внутреннего очищения, который его сейчас занимал.

В Японии Хейдеко сообщила сыну, что ее первый долг — не перед покойным супругом, а перед престарелыми родителями, если они еще живы, и перед братьями и сестрами, которых она не видела с 1922 года. Сына с собой Хейдеко не пригласила, небрежно попрощалась, как будто выходила из дома за покупками, и даже не поинтересовалась, чем Ичimei собирается заниматься в ее отсутствие. Сын передал матери все деньги, которые у них с собой были. Он посмотрел вслед ее поезду, оставил чемодан на вокзале и отправился в путь как был, взяв с собой лишь зубную щетку и клеенчатую сумку с пеплом отца. В карте нужды не было, потому что весь маршрут он запомнил наизусть. Первый день молодой человек прошагал на пустой желудок, к вечеру добрался до маленького синтоистского святилища и улегся под его стеной. Ичimei уже начинал засыпать, когда к нему подошел нищенствующий монах и сказал, что в святилище всегда есть чай и рисовые лепешки для паломников. Так Ичimei прожил четыре следующих месяца. Днем он шел, пока не валился с ног от усталости, ничего не ел, пока кто-нибудь ему не предлагал, спал там, где его заставляла ночь. Ему ни разу не пришлось просить, ни разу не потребовались деньги. Он освободился от мыслей, получал удовольствие от пейзажей и от собственной усталости, а потребность двигаться вперед выпалывала дурные воспоминания об Альме. Когда Ичimei завершил свою миссию и посетил сто храмов, клеенчатая сумка его была пуста и темные чувства, омрачавшие начало его пути, рассеялись.

2 августа 1994 года

Жить в неуверенности, без прочности, без планов и целей, отдаваться полету подобно птице на ветру — вот чему я научился во время паломничества. Тебя удивляет, что в шестьдесят два года я до сих пор способен ни с того ни с сего отправиться странствовать без маршрута и багажа, как мальчишка-автостопщик, что я исчезаю на неопределенное время, не звоню и не пишу, и что по возвращении не могу рассказать тебе, где я был. Альма, это никакая не тайна. Я иду, вот и все. Чтобы жить в дороге, мне нужно очень мало, почти ничего. Ах, свобода! Я ухожу, но всегда уношу тебя в своей памяти.

Ичи

ОСЕНЬ

Ленни Билл пришел к Альме в Ларк-Хаус через день после того, как она не явилась на свидание в парк, на их скамейку. Дверь открыла Ирина, перед началом своей смены помогавшая хозяйке одеться.

— Я тебя ждал, Альма. Ты опоздала, — сказал Ленни.

— Жизнь слишком коротка для пунктуальности, — ответила она со вздохом.

Вот уже несколько дней Ирина приходила пораньше, чтобы накормить ее завтраком, проследить за ее мытьем в душе и одеть, но ни хозяйка, ни помощница об этом не говорили, потому что иначе следовало бы признать, что Альма больше не может обходиться без помощи и должна перейти на второй уровень или вернуться к семье в Си-Клифф. Женщины предпочитали воспринимать эту внезапную слабость как временное неудобство. Сет предлагал Ирине бросить работу в Ларк-Хаус, отказаться от комнаты, которую он называл крысятником, и окончательно переехать к нему, однако девушка одной ногой оставалась в Беркли, чтобы не угодить в ловушку зависимости, пугавшую ее не меньше, чем Альму пугала мысль о втором уровне в Ларк-Хаус. Когда она попробовала объяснить это Сету, такое сравнение оскорбило парня.

Отсутствие Неко подействовало на Альму как инфаркт: у нее стала болеть грудь. Она то и дело принимала за своего кота то диванную подушку, то завернувшийся угол ковра, то небрежно повешенное пальто, то тень от дерева за окном. На протяжении восемнадцати лет Неко был ее компаньоном. Чтобы не разговаривать сама с собой, она разговаривала с ним, оставаясь в спокойной уверенности, что он ничего не ответит, но в своей кошачьей мудрости все понимает. Хозяйку и питомца роднило сходство темпераментов: оба были высокомерными ленивыми одиночками. Альма любила его не только за внешнюю непривлекательность, но и за изъяны, которые оставило время: залысины в шерстке, искривленный хвост, брюшко бонвивана. Ей не хватало кота в постели: трудно стало засыпать, не чувствуя тяжести Неко под боком или в ногах. Не считая Кирстен, этот кот был единственным существом, которое могло к ней приласкаться.

Ирине тоже этого хотелось бы: сделать Альме массаж, помыть голову, подровнять ногти — в общем, найти способ стать ей ближе физически, но такой интимности эта женщина никому не позволяла. Для Ирины подобные прикосновения к другим старушкам из Ларк-Хаус были вполне естественны; постепенно она начинала хотеть такого контакта и с Сетом. Девушка попробовала заместить отсутствие Неко в постели Альмы теплой грелкой, но от этого нелепого средства боль утраты становилась только горше, и когда Ирина предложила хозяйке сходить в Общество защиты животных и раздобыть нового кота, Альма объяснила, что не может заводить животное, которое проживет дольше ее самой. Неко был ее последним котом.

В тот день София, собака Ленни, осталась ждать на пороге, как делала она, когда Неко был жив и защищал свою территорию; София мела по полу хвостом, дожидаясь прогулки, однако Альма была так измотана одеванием, что не могла подняться с дивана. «Оставляю вас в хороших руках, Альма», — попрощалась Ирина. Ленни с беспокойством отметил перемены во внешности подруги и в самой квартире, которая давно не проветривалась и пропахла благовонными палочками и умирающими гардениями.

— Что с тобой, дорогая?

— Ничего серьезного. Наверно, что-то с ушами, и от этого я теряю равновесие. А иногда в груди как будто слон трубит.

— А что говорит твой доктор?

— Никаких докторов, анализов и больниц! Стоит в это ввязаться — и больше уже не вылезешь. И никаких Беласко! Они все драматизируют, сразу устроят мне веселую жизнь.

— Не вздумай умирать раньше меня, Альма. Вспомни, о чем мы договаривались. Я приехал сюда, чтобы умереть у тебя на руках, а не наоборот, — хмыкнул Ленни.

— Я и не забываю. Но если у меня не получится, ты можешь обратиться к Кэти.

Эта дружба, случившаяся поздно и смакуемая, как выдержанное вино, придавала цвет реальности, которая для обоих неотвратимо теряла былую яркость. Альма по складу характера была одиночкой, никогда не ощущавшей своего одиночества. Она прожила жизнь, укоренившись в семье Беласко, под защитой дяди с тетей, в просторном особняке Си-Клифф, за который отвечали другие люди

свекровь, мажордом, невестка, — вечно пребывая на положении гостя. Альма, где бы ни оказалась, повсюду чувствовала себя другой, невключенной, но это не составляло для нее проблемы — наоборот, служило причиной для гордости, потому что поддерживало ее самомнение загадочной нелюдимой художницы, неясно в чем, но превосходящей прочих смертных. Альма не чувствовала потребности сливаться с окружающими — людей в целом она почитала глупыми, при возможности жестокими, а в лучшем случае сентиментальными; эти суждения она остерегалась высказывать прилюдно, но к старости еще больше в них укрепились. Подводя итог, Альма видела, что за восемьдесят с лишком лет любила очень немногих, зато пылко, идеализируя любимых с отчаянной романтичностью, отменявшей все свидетельства реальности. Альма не страдала от разрушительных влюбленностей в юности, через университет прошла в одиночку, путешествовала и работала одна, не заводила партнеров и компаньонов — только подчиненных; все это она заменила сумасшедшей любовью к Ичimei Фукуде и безусловной дружбой с Натаниэлем Беласко, которого вспоминала не как мужа, а как самого близкого друга. На последнем этапе жизни у нее был Ичimei, ее легендарный возлюбленный, внук Сет, Ирина, Ленни и Кэти — за много лет эти люди ближе всех подошли к дружбе с нею; благодаря им Альма была избавлена от скуки, одного из страшнейших бичей старости. Прочие постояльцы Ларк-Хаус были для Альмы как вид на бухту: художница наслаждалась им издали, не замочив ног. В течение полувека эта женщина была заметной фигурой в маленьком высшем обществе Сан-Франциско, она появлялась в опере, на благотворительных вечерах и на обязательных публичных мероприятиях, оберегаемая непреодолимой дистанцией, которую устанавливала сразу же, первыми словами приветствия. Ленни Биллу она как-то сказала, что не выносит шума, пустой болтовни и индивидуальных особенностей — только неясное сочувствие к страдающему человечеству спасает ее от психопатии. Легко сострадать несчастным, которых не знаешь. Человеческие особи ей не нравились, она предпочитала котов. Людей она переносила в малых дозах, группы больше трех уже вызывали у нее несварение. Альма Беласко всегда избегала объединений, клубов и политических партий, не сражалась ни за какое дело, хотя бы и почитая его правым, —

феминизм, гражданские права или мир на планете. «Я не выхожу защищать китов, чтобы не оказаться среди экологов», — говорила она. Альма никогда не жертвовала собой ради другого человека или идеала, самоотречение не входило в число ее добродетелей. Кроме Натаниэля во время его болезни, ей не приходилось ни за кем ухаживать, даже за собственным сыном. Материнство не явилось для нее тем ураганом обожания и тревоги, который якобы подхватывает всех матерей, — то была спокойная, сдержанная нежность. Ларри присутствовал в ее жизни основательно и безусловно, она любила сына со смесью абсолютного доверия и давней привычки — это было удобное чувство, которое почти ничего от нее не требовало. Альма любила Исаака и Лиллиан Беласко, восхищалась ими, продолжала называть дядюшкой и тетушкой и после того, как они стали для нее свекром и свекровью, но к ней не перешло ничего от их деятельной доброты и потребности в служении.

— К счастью, Фонд Беласко занимается обустройством зеленых зон, а не помощью попрошайкам и сиротам, поэтому я могла творить добро, не приближаясь к осчастливленным, — сказала она Ленни.

— Лучше бы тебе помалкивать. Не знай я тебя — подумал бы, что ты чудовищное порождение нарциссизма.

— Если я не такая, то это благодаря Ичимеи и Натаниэлю, которые научили меня давать и принимать. Без них я бы погрязла в безразличии.

— Многие художники — интроверты, Альма. Им необходимо обособиться, чтобы творить.

— Не ищи для меня оправданий. Дело в том, что чем старше я становлюсь, тем больше мне нравятся мои недостатки. Старость — лучшее время, чтобы быть и заниматься тем, что тебе нравится. Скоро меня никто не сможет выносить. Признайся, Ленни, ты о чем-нибудь жалеешь?

— Конечно. О безумствах, которые я совершил, о том, что отказался от сигарет и коктейлей, что стал вегетарианцем и убивался на спортивных тренажерах. Все равно же помру, но буду при этом в хорошей форме, — рассмеялся он.

— Я не хочу, чтобы ты умирал...

— Я тоже, но тут не выбирают.

— Когда мы познакомились, ты пил как лошадь.

— Сейчас у меня тридцать лет трезвости. Мне кажется, я столько пил, чтобы не думать. Я был гиперактивный, с трудом мог усидеть на месте, чтобы постричь ногти на ногах. В молодости я был стадным животным. Всегда среди людей и шума, но даже так я чувствовал себя одиноким. Страх одиночества сформировал мой характер, Альма. Я нуждался в принятии и любви.

— Ты говоришь в прошедшем времени. Теперь у тебя все не так?

— Я изменился. Молодые годы я провел в поисках одобрения и приключений, пока не влюбился по-настоящему. А потом мое сердце оказалось разбито, и я десять лет пытался сложить осколки вместе.

— Получилось?

— Можно сказать, что да, благодаря психологическому шведскому столу: терапия была индивидуальная, групповая, гештальт-терапия, биодинамическая — в общем, все, что нашлось под рукой, включая лечение криком.

— Это что еще за чертовщина?

— Я на сорок пять минут запирался с женщиной-психологом, орал как резаный и лупил кулаком подушку.

— Не верю.

— Именно так. И представь, платил за это. Я проходил терапию несколько лет. Это был тернистый путь, Альма, но я научился разбираться в себе и смотреть в глаза своему одиночеству. Оно меня больше не путает.

— Кое-что из этого сильно помогло бы нам с Натаниэлем, но нам не приходило в голову попробовать. В наших кругах к таким средствам не прибегали. Когда психология вошла в моду, для нас это было уже поздно.

Неожиданно перестали приходить анонимные посылки с гардениями, которые Альма получала по понедельникам — именно теперь, когда они бы ее сильно порадовали, но она как будто не заметила перемены.

После своей недавней вылазки Альма почти не выходила из квартиры. Если бы не Ирина, Сет, Ленни и Кэти, которые не давали ей застыть в неподвижности, она бы превратилась в затворницу. Альма утратила интерес к чтению, телесериалам, йоге, саду Виктора Викашева и прочим делам, которые недавно заполняли ее день. Ела

она без аппетита и, если бы не бдительность Ирины, могла бы несколько дней жить на яблоках и зеленом чае. Женщина никому не сказала, что по временам у нее колет в сердце, туманится взгляд и она не может справиться с простейшими обиходными делами. Квартира, прежде идеально соответствовавшая ее потребностям, увеличилась в размерах, расположение помещений переменилось, и когда Альма полагала, что находится возле туалета, она оказывалась в общем коридоре, который успел удлиниться и перекрутиться, так что ей было непросто отыскать собственную дверь — ведь все они стали одинаковыми; пол бугрился, так что Альме приходилось держаться за стены, чтобы не упасть; выключатели тоже не оставались на своих местах, и в темноте их было трудно обнаружить; выросли новые ящики и полочки, и на них перекочевывали самые привычные предметы; фотографии без человеческого вмешательства перепутывались в альбомах. Она ничего не могла найти: определенно, уборщица и Ирина все от нее прятали.

Альма понимала, что навряд ли мироздание взялось играть с ней в прятки: вероятнее было, что ее мозгу не хватает кислорода. Она высовывалась из окна, чтобы выполнить дыхательные упражнения по взятому в библиотеке учебнику, но откладывала посещение кардиолога, как советовала Кэти, потому что продолжала верить, что, если подождать, все приступы пройдут сами собой.

Альме исполнялось восемьдесят два года, она была стара, но отказывалась переступить порог преклонного возраста. Она не собиралась сидеть в тени своих лет, устремив взгляд в никуда, а мысли — в свое воображаемое прошлое. Альма уже дважды падала, но без серьезных последствий — только синяки; настало время допустить, чтобы ее время от времени поддерживали под локоть и помогали ходить; но она кое-как подкармливала остатки самолюбия и боролась с искушением сдаться на милость удобной лени. Женщину страшила возможность оказаться на втором уровне, где она будет лишена своей приватности и сиделки начнут помогать в отпращивании самых интимных потребностей. «Доброй ночи, Смерть», — просила Альма перед сном в слабой надежде не проснуться; это был бы самый элегантный способ ухода, сопоставимый разве что с тем, чтобы навсегда уснуть в объятьях Ичимеи после занятий любовью. Вообще-то, она не считала, что заслуживает такого подарка: жизнь ее

сложилась хорошо, так что не было причин, чтобы и конец оказался таким же хорошим. Страх смерти пропал еще тридцать лет назад, когда она пришла как подруга и забрала Натаниэля. Альма сама тогда призвала смерть и отдала мужа в ее руки. Сету она про это не рассказывала, он и так упрекал бабушку в мрачных мыслях, но с Ленни эта тема возникала нередко; они подолгу изучали вероятности, ожидающие за чертой, бессмертие души и возможных безобидных спутников-духов.

С Ириной Альма могла говорить о чем угодно, эта девочка умела слушать, но возраст еще наделял ее иллюзией бессмертия, и она не умела по-настоящему проникнуться чувствами тех, кто прошел почти весь путь. Девушка не могла представить себе мужество, потребное, чтобы стареть без лишнего страха; ее познания о возрасте лежали в области теории. Теорией являлось и все, что публиковалось на тему так называемого третьего возраста, — все эти глубокомысленные книжонки и учебники самопомощи из библиотеки, написанные людьми, которые не были стариками. Даже женщины-психологи из Ларк-Хаус были молодые. Что могли они знать, несмотря на свои многочисленные дипломы, обо всем, что теряется с годами? Способности, энергия, независимость, места, люди. Хотя, если честно, Альма скучала не по людям, а по Натаниэлю. С семьей она виделась достаточно и была благодарна, что ее навещают нечасто. Невестка считала Ларк-Хаус пристанищем постаревших коммунистов и торчков. Альма предпочитала общаться со своими по телефону и встречаться на более комфортной почве в Си-Клифф или на прогулках, когда ее приглашали присоединиться. Жаловаться ей было не на что: ее маленькая семья, состоящая только из Ларри, Дорис, Полин и Сета, никогда ее не оставляла. Альма не причисляла себя к брошенным старикам, которых было так много в Ларк-Хаус.

Художница больше не могла откладывать решение закрыть мастерскую, которую давно уже держала только ради Кирстен. Она объяснила Сету, что у ее помощницы имеются определенные интеллектуальные ограничения, но она приходила в мастерскую много лет, это была единственная работа в ее жизни, и она всегда справлялась со своими обязанностями безукоризненно. «Сет, я должна ее защитить, это самое малое, что я могу для нее сделать, но я не в состоянии сражаться с каждой мелочью, это по твоей части, не зря же

ты адвокат». У Кирстен была страховка, пенсия и сбережения; Альма открыла на ее имя счет и каждый год клала определенную сумму на экстренные случаи, но таковых не происходило, и деньги приносили хорошую прибыль. Сет договорился с братом Кирстен об обеспечении ее финансового будущего, а с Гансом Фоггом — что Кирстен будет работать помощницей Кэтрин Хоуп в центре лечения боли. Сомнения директора, стоит ли нанимать сотрудника с синдромом Дауна, тотчас разрешились, когда ему пояснили, что жалованье платить не нужно: работу Кирстен в Ларк-Хаус будет субсидировать Фонд Беласко.

ГАРДЕНИИ

Во второй понедельник без гардений Сет принес три цветка в коробке с собой — как он сказал, в память о Неко. Недавняя смерть кота сказалась на телесной апатии Альмы, давящий запах гардений тоже не способствовал бодрости. Сет опустил цветы в тарелку с водой, приготовил чай и уселся рядом с бабушкой на диван.

— Почему больше нет цветов от Ичимеи Фукуды, бабушка? — спросил он безразличным тоном.

— Что ты знаешь про Ичимеи? — встревожилась Альма.

— Я знаю достаточно. Предполагаю, что этот ваш друг как-то связан с письмами и цветами, которые вы получаете, и с вашими отъездами из Ларк-Хаус. Вы, разумеется, вольны делать что хотите, но мне кажется, вы не в том возрасте, чтобы путешествовать в одиночку или в сомнительной компании.

— Ты за мной шпионил! Да как ты смеешь совать нос в мою жизнь?

— Бабушка, я за вас беспокоюсь. Вероятно, я к вам привязался, несмотря на то что вы такая ворчунья. Вам нечего скрывать, вы можете довериться мне и Ирине. Мы ваши союзники в любом сумасбродстве, что бы вы ни выдумали.

— Никакое это не сумасбродство!

— Ну конечно. Прошу прощения. Я знаю, это любовь всей вашей жизни. Ирина случайно услышала один ваш разговор с Ленни Биллом.

К этому времени Альма и вся семья Беласко знали, что Ирина живет у Сета если не постоянно, то по крайней мере несколько дней в неделю. Дорис и Ларри воздерживались от недоброжелательных замечаний, надеясь, что трогательная эмигрантка из Молдавии — очередное скоротечное приключение их сына, но Ирину у себя принимали с ледяной вежливостью, так что девушка больше не показывалась на воскресных обедах в Си-Клифф, на которые Альма и Сет упорно ее затаскивали. Зато Подин, третируя всех без исключения спортивных подружек Сета, раскрыла Ирине свои объятия. «Поздравляю, братец. Ирина такая энергичная, да и характером покруче тебя. Она сумеет с тобой управиться».

— Почему вы мне сами не расскажете, бабушка? — попросил Сет. — У меня нет ни задатков сыщика, ни желания за вами следить!

Чашечка с чаем угрожала вывалиться из дрожащей руки Альмы, внук забрал ее и поставил на стол. Первый гнев рассеялся, его место заняло страшное изнеможение, бессознательное желание освободиться, признать перед внуком свои ошибки, рассказать, что она изъедена изнутри, постепенно умирает, — да и в добрый час, ведь она больше не справляется со своей усталостью, а умрет довольная и влюбленная, это больше, чем можно просить в восемьдесят с лишним лет, после большой жизни, большой любви и стольких проглоченных слез.

— Позови Ирину. Я не хочу повторять дважды, — сказала она Сету.

Ирина получила эсэмэску, когда сидела в кабинете Ганса Фогта вместе с Кэтрин Хоуп, Лупитой Фариас, главной сиделкой и главной медсестрой: они обсуждали вопрос добровольного ухода — эвфемизм, заменяющий термин «самоубийство», запрещенный директором. Обсуждался случай Хелен Демпси, третий уровень, восемьдесят девять лет, рецидивирующий рак, без семьи и без сил для прохождения очередной химиотерапии. Согласно инструкциям, содержимое вводится вместе с алкоголем и конец наступает мирно, во сне. «Это, наверно, барбитураты», — сказала Кэти. «Или крысиный яд», — добавила Лупита. Директор желал знать, как, черт побери, Хелен Демпси это заказала, так что никто не узнал; вообще-то, персонал должен быть начеку. Было бы крайне нежелательно, чтобы поползли слухи о самоубийцах в Ларк-Хаус, это обернется катастрофой для репутации заведения. В случае подозрительных смертей, как это было с Жаком Девином, персонал старался избегать скрупулезного расследования — подробности лучше было не вскрывать. Служащие обвиняли во всем призраки Эмили и ее сына, которые забирали к себе отчаявшихся, потому что всякий раз, как кто-нибудь умирал, будь то по естественной или незаконной причине, гаитянин Жан-Даниэль неизменно наталкивался на девушку под розовым тюлем и ее несчастного отпрыска. От этих встреч волосы у него вставали дыбом. Жан-Даниэль просил, чтобы в Ларк-Хаус пригласили его соотечественницу, парикмахершу по мирской профессии и жрицу вуду

по призыванию, которая может отправить мать и дитя в иной мир, где им и надлежит пребывать, но у Ганса Фогта не было в бюджете средств на такие расходы: он и так с трудом поддерживал общину на плаву с помощью сомнительных финансовых ухищрений. Ирина пребывала не в лучшем состоянии, чтобы обсуждать добровольный уход: девушка тихонько всхлипывала, потому что всего два дня назад держала на руках Неко, которому сделали милосердную инъекцию, положившую конец его старческим недугам. Альма и Сет не смогли проводить кота в последний путь — одна из-за скорби, другой из-за трусости. Они оставили Ирину в квартире одну встречать ветеринара. Приехал не доктор Каплет, у которого в последний момент возникли семейные проблемы, а нервная близорукая девушка с видом недавней студентки. И все-таки она проявила себя как умелый и сострадательный работник: кот начал похрапывать, не понимая, что это конец. Сет должен был отвезти труп на кладбище домашних животных, но пока Неко лежал в полиэтиленовом пакете в морозильнике Альмы. У Лупиты Фариас был знакомый мексиканский таксидермист, который мог сохранить его как живого, набитого паклей и со стеклянными глазами, или, наоборот, очистить и отполировать череп, водрузить его на маленький пьедестал в роли украшения. Лупита предложила Сету с Ириной устроить Альме сюрприз, но им показалось, что старушка не оценит такой жест должным образом.

«В Ларк-Хаус мы считаем своим долгом пресекать любые попытки добровольного ухода, это всем ясно?» в третий или четвертый раз объявил Ганс Фогт, устремив строгий, предупреждающий взгляд на Хоуп, потому что именно к ней приходили пациенты с хроническими болями, самые неблагополучные. Директор подозревал, и не без оснований, что эти женщины знают больше, чем готовы ему открыть. Когда Ирина увидела в телефоне сообщение от Сета, она перебила начальника: «Прошу прощения, мистер Фогт, это срочно». И заработала таким образом право убежать в пять часов, покинув директора на середине фразы.

Девушка застала Альму сидящей в постели, с укутанными шалью ногами — это внук ее так устроил, заметив, как она ослабела. Бледная, без помады на губах, она выглядела сгорбленной старушкой. «Откройте окно, в этом тонком боливийском воздухе я задыхаюсь», —

попросила она. Ирина разъяснила Сету, что его бабушка не бредит, она имеет в виду нехватку воздуха, звон в ушах и слабость в теле, а похожие ощущения она испытывала много лет назад, когда страдала от горной болезни в Ла-Пасе, на высоте 3600 метров. Сет предположил, что сейчас такие симптомы связаны не с боливийским воздухом, а с лежащим в морозильнике котом.

Альма начала с того, что взяла с них клятву хранить ее тайны даже после смерти, а потом заново пересказала им всю историю, потому что решила, что лучше будет протянуть эту нить с самого начала. Она рассказала о прощании с родителями в Данцигском порту, о прибытии в Сан-Франциско и как она ухватила Натаниэля за руку, быть может предчувствуя, что никогда больше ее не выпустит; дальше был момент знакомства с Ичимеи — самый ценный из моментов, хранящихся в ее памяти, а потом началось продвижение по дороге прошлого — с такой прозрачной ясностью, как будто Альма читала вслух. Все сомнения Сета в здравомыслии бабушки разом исчезли. В течение трех прошедших лет, пока он вытягивал из нее материал для книги, Альма успела выказать свое повествовательное мастерство, чувство ритма и умение поддерживать напряжение, виртуозность в чередовании лучезарных и самых трагических эпизодов, света и тени, как на фотографиях Натаниэля Беласко, однако до того вечера Альма не давала внуку шанса восхититься ею в марафоне, где требовалось рассчитывать силы. С небольшими перерывами на чай и печенье Альма говорила в течение нескольких часов. Спустилась ночь, но никто даже не заметил: бабушка говорила, молодые внимали. Она рассказала о новой встрече с Ичимеи в двадцать два года, после двенадцати лет разлуки, проснувшаяся детская любовь столкнула их с неодолимой силой, хотя оба и знали, что эта любовь обречена — и действительно, она не продлилась и года. Страсть беспредельна и вечна в веках, говорила старушка, но обстоятельства и привычки все время меняются, и через шестьдесят лет трудно понять, почему препятствия, с которыми они тогда столкнулись, казались непреодолимыми. Если бы ей снова стать молодой, но знать о себе столько, сколько сейчас, она поступила бы точно так же, так и не решилась бы сделать ради Ичимеи решительный шаг, условности снова оказались бы сильнее; Альма никогда не была отважной и уважала правила. Свой единственный вызов она бросила в семьдесят

восемь лет, когда покинула Си-Клифф и перебралась в Ларк-Хаус. В двадцать два года, предчувствуя, что времени им отпущено мало, они с Ичимеи упивались любовью, как будто хотели проглотить друг друга без остатка, но чем больше они себя изнуряли, тем ненасытнее становилось желание, и ошибается тот, кто сказал, что любой огонь рано или поздно потухнет: страсть может разгораться, как пожар, пока судьба не погасит ее в одночасье, но даже тогда остаются жаркие угли, готовые пылать, как только появится приток кислорода. Альма рассказала про Тихуану и про свадьбу с Натаниэлем и как протекли следующие семь лет, как она не увидела Ичимеи на похоронах свекра и подумала о нем без тоски, потому что не надеялась на новую встречу, а потом прошло еще семь лет, пока они не смогли наконец претворить любовь, которую делят до сих пор.

— Так, значит, бабушка, мой папа — не сын Натаниэля? А я в таком случае — внук Ичимеи? Говори наконец, я Фукуда или Беласко? — не выдержал Сет.

— Если бы ты был Фукуда, то был бы похож на японца, разве не так? Ты Беласко.

НЕРОДИВШИЙСЯ РЕБЕНОК

В первые месяцы после замужества Альма была так поглощена своей беременностью, что ярость на себя из-за отказа от Ичимеи сменилась терпимым ощущением неудобства, наподобие камушка в ботинке. Женщина погрузилась в коровье блаженство, укрылась в ласковой заботе Натаниэля и в предоставленном ей гнездышке. Хотя Марта и Сара уже принесли семье внуков, Лиллиан с Исааком ждали этого ребенка так, как будто он царских кровей, ведь он будет носить фамилию Беласко. Будущей матери выделили самую солнечную комнату с детской мебелью и героями Уолта Диснея, которых изобразил на стенах приглашенный из Лос-Анджелеса художник. Исаак и Лиллиан всячески обхаживали Альму, удовлетворяя ее малейшие прихоти. На шестом месяце она чересчур располнела, давление поднялось, по лицу высыпали пятна, ноги отяжелели, головная боль сделалась постоянной спутницей, туфли перестали налезать, так что приходилось расхаживать в пляжных шлепанцах; но с самого первого шевеления жизни в ее животе она влюбилась в носимое ею создание, которое не принадлежало ни Натаниэлю, ни Ичимеи, только ей одной. Альма хотела сына, чтобы назвать его Исааком и подарить свекру потомка, который продолжит род Беласко. Никто никогда не узнает что у него другая кровь, это она обещала Натаниэлю. Терзаемая чувством вины, женщина не забывала, что, если бы не вмешался Натаниэль, этот ребенок закончил бы свое существование на помойке в Тихуане. Одновременно с тем, как росла ее нежность к ребенку, рос и ужас перед переменами в ее теле, хотя Натаниэль и заверял, что она выглядит потрясающе, прекрасна как никогда, и продолжал закармливать апельсиновыми конфетами и другими вкусностями. Их отношения так и остались братско-сестринскими. Он, щеголеватый и чистоплотный, пользовался ванной рядом со своим кабинетом на другом краю дома и в присутствии Альмы не раздевался, зато она утратила всякий стыд перед ним, приняла всю нелепость своего состояния и делилась с мужем подробностями о самых низменных недомоганиях, о нервных срывах и страхах материнства, доверяясь ему, как никогда прежде. В этот

период Альма нарушала заложенные отцом фундаментальные принципы: не жаловаться, не просить, никому не доверять. Натаниэль превратился в центр ее существования, под его крылом она чувствовала себя довольной, безопасной и нужной. И вот между ними возникла асимметричная близость, которая обоим казалась естественной, поскольку соответствовала их характерам. Если они когда-то и упоминали об этом перекосе, то чтобы договориться, что после родов, когда Альма придет в себя, они попробуют жить как нормальная супружеская чета, однако никто из двоих не горел желанием начинать. Между тем Альма отыскала для себя идеальное место, чтобы положить голову и подремать, — у Натаниэля на плече, под подбородком. «Ты свободен, можешь крутить с другими женщинами, Наг. Только прошу тебя хранить это в тайне, чтобы я не попала в унижительное положение», — много раз говорила Альма, а он всегда отвечал поцелуем и шуткой. Хотя ей так и не удалось избавиться от следа, который Ичимеи оставил в ее душе и теле, она ревновала Натаниэля; за ним охотилось с полдюжины женщин, и его женитьба, как виделось Альме, некоторых из них не отпугнет, а, наоборот, может подстегнуть.

Семья находилась в доме на озере Тахо, куда Беласко ездили зимой кататься на лыжах. Было одиннадцать утра, в гостиной пили горячий сидр, дожидаясь, когда снаружи уляжется буря, как вдруг на пороге появилась Альма, босая и в ночной рубашке, нетвердо стоящая на ногах. Лиллиан кинулась поддержать невестку, но та отстранилась, пытаясь сфокусировать взгляд.

«Передайте моему брату Самуэлю, что у меня мозги закипели», — пробормотала она. Исаак стал звать Натаниэля, попробовал усадить ее на диван, но Альма как будто приросла к полу; она стояла, тяжелая как тумба, обхватив голову двумя руками и неся околесицу про Самуэля, Польшу и бриллианты за подкладкой пальто. Натаниэль подошел вовремя, чтобы увидеть, как его жена затряслась в конвульсиях и рухнула без чувств.

Приступ эклампсии случился на двадцать девятой неделе беременности и продлился минуту и пятнадцать секунд. Никто из троих присутствовавших при этом не понял, что происходит, — Беласко решили, что это эпилепсия: Натаниэль догадался только уложить Альму на бок, удерживать, чтобы она ничего себе не

повредила, и при помощи ложки не давая закрыть рот. Страшные конвульсии вскоре прекратились, женщина проснулась изможденной и потерянной, не понимала, где находится и кто рядом с ней, подвывала от головной боли и спазмов в животе. Ее отнесли в машину, укутали одеялами и, скользя на обледенелой дороге, доставили в больницу, где дежурный врач, специалист по переломам и ушибам лыжников, не знал, что с ней делать, — только попытался понизить давление. «Скорая помощь» ехала от Сан-Франциско до Тахо семь часов, преодолевая шквалистый ветер и опасности на скользкой дороге. Когда наконец Альму осмотрел акушер, он предупредил родственников о грозящей опасности новых конвульсий или инсульта. На пяти с половиной месяцах у ребенка нет никаких шансов выжить, до искусственных родов нужно ждать еще шесть недель, но за это время и мать, и дитя могут умереть.словно услышав предостережение врача, ребенок через несколько минут перестал шевелиться, избавив Натаниэля от принятия жестокого решения. Альму срочно отвезли в операционную.

Натаниэль был единственный, кто видел ребенка. Он принял его на руки, дрожа от усталости и скорби, отвернул складки пеленки и увидел малюсенькое существо, сморщенное и синее, с кожей тонкой и прозрачной, словно луковая кожура, но полностью сформировавшееся, с приоткрытыми глазками. Натаниэль поднес его к лицу и приник к голове долгим поцелуем. Холод обжег ему губы, он почувствовал трепет безмолвного плача, который зародился в ногах, сотрясая все его тело, и излился слезами. Натаниэль Беласко рыдал и верил, что рыдает по мертвому ребенку и по Альме, но то был плач по себе самому, по его размеренной упорядоченной жизни, по тяжести всех ответственностей, которую ему никогда не удавалось скинуть, по одиночеству, угнетавшему его с самого рождения, по любви, о которой он тоскует, но никогда не найдет, по предательским картам, которые ему выпали, и по всем проклятым трещинам своей судьбы.

Через семь месяцев после вынужденного аборта Натаниэль увез Альму в турне по Европе, чтобы отвлечь от одуряющей тоски, завладевшей всем ее существом. Натаниэль был сыт по горло рассказами о брате Самуэле из польского детства, о воспитательнице, являвшейся ей в кошмарах, о каком-то платье из бирюзового бархата, о

Вере Ньюман в совиных очках, о двух вредящих одноклассницах, о книгах, которые она прочитала, названия забыла, но судьба героев ее по-прежнему удручала, — и другими бесполезными воспоминаниями. Экскурсионная поездка могла бы воскресить вдохновение и вернуть Альму к ее шелкам и краскам, подумал Натаниэль, а если увлечение живописью вернется, он предложит ей поучиться в Королевской академии художеств, древнейшей школе искусств в Британии. Он полагал, что лучшее лечение для Альмы — это оказаться подальше от Сан-Франциско, от всей семьи Беласко и от него самого в частности. Имя Ичимеи в их разговорах не возникало, и Натаниэль верил, что Альма, верная своему обещанию, с ним никак не общается. Он решил проводить больше времени с женой, сократил рабочее расписание и по возможности изучал дела и готовил свои выступления дома. Супруги продолжали спать в разных комнатах, но перестали притворяться, что ночуют вместе. Кровать Натаниэля официально переехала в его холостяцкое обиталище и заняла место посреди обоев с охотничьими сценами, лошадьми, собаками и лисами. Поддерживая друг друга в бессоннице, супруги возвысились над всеми искушениями чувственности. Они вместе до глубокой ночи читали в гостиной, сидя на одном диване, укрывшись общим пледом. Иногда по воскресеньям, когда погода не давала выйти в бухту под парусом, Натаниэлю удавалось сводить Альму в кино, или же они устраивали сиесту бок о бок на диване их бессонницы, заменявшем супружеское ложе, которого у них не было.

Маршрут путешествия пролегал от Дании до Греции, включая круиз по Дунаю и заход в Турцию, он был рассчитан на два месяца и завершился Лондоном, где супругам предстояло расстаться. На второй неделе, гуляя за руку с мужем по римским переулкам, после изысканного обеда с двумя бутылками лучшего кьянти, Альма вдруг остановилась под фонарем, схватила Натаниэля за рубашку, рывком притянула к себе и поцеловала в губы. «Я хочу, чтобы ты со мной переспал», — приказала она. Той ночью они занимались любовью в бывшем дворце, переделанном в гостиницу, опьяненные вином и романтикой этого лета, открывая то, что давно знали друг о друге, ощущая, что творят запретное деяние. Альма была обязана своими познаниями о плотской любви и собственном теле Ичимеи, который компенсировал отсутствие опыта волшебной интуицией — той же,

какая помогала ему оживить увядающее растение. В их тараканьем мотеле Альма была музыкальным инструментом в любящих руках Ичимеи. Ничего подобного с Натаниэлем она не пережила. Они совокуплялись торопливо, оба были смущены и неуклюжи, как школьники-прогульщики, и не успевали друг друга изучить, обнюхаться, вместе посмеяться и подышать в такт; а потом ими овладела необъяснимая тоска, которую они пытались скрыть, молча куря, укрывшись простынями в желтом свете луны, подглядывавшей через окно.

На следующий день они до изнеможения бродили среди руин, взбирались по лестницам из тысячелетних камней, разглядывали соборы, теряли друг друга за статуями и преувеличенно гигантскими фонтанами. Вечером они опять слишком много выпили, вернулись во дворец, пошатываясь, и снова занялись любовью, без большого желания, но из самых лучших побуждений. И так день за днем, ночь за ночью они обходили города и путешествовали по водам в рамках запланированного турне, устанавливая рутинные семейные отношения, которых прежде так старательно избегали, — до тех пор, пока для них не стало естественным пользоваться одной ванной и просыпаться на одной подушке.

В Лондоне Альма не осталась. Она вернулась в Сан-Франциско со стопками буклетов и почтовыми открытками из музеев, книгами по искусству и фотографиями живописных уголков, сделанными Натаниэлем; голова ее была полна расцветками, рисунками и дизайнерскими решениями, турецкими коврами, греческими кувшинами, бельгийскими гобеленами, картинами всех эпох, иконами из драгоценных камней, изможденными Мадоннами и голодающими святыми; но также фруктово-овощными рынками, рыбачьими лодками, бельем на балконах в узких проулках, доминошниками в тавернах, детьми на пляжах, сворами бесхозных собак, печальными ослами и древней черепицей в городах, сонных от времени и неизменности. Все это найдет свое воплощение в ее шелках с широкими полосами ярких цветов. В то время у Альмы имелась мастерская на восемьсот квадратных метров в промышленном районе Сан-Франциско, она много месяцев пребывала в запустении, и теперь художница решила возродить ее к жизни. И принялась за работу. Она по целым неделям не вспоминала про Ичимеи и про потерянного ребенка. По

возвращении из Европы интимная близость супругов сошла почти на нет: у каждого нашлись свои дела, закончились бессонные ночи с чтением на диване, но дружеская нежность, которая была между ними всегда, никуда не исчезла. Альма теперь редко спала, положив голову на определенное место между плечом и подбородком мужа, где прежде чувствовала себя в безопасности. Они перестали ночевать на одной простыне и пользоваться одной ванной; Натаниэль уходил к себе в кабинет, а Альма оставалась одна в своей синей спальне. Если они иногда и занимались любовью — то исключительно по стечению обстоятельств и всегда при избытке алкоголя в крови.

— Альма, я хочу избавить тебя от обязательства хранить мне верность. Так выходит несправедливо, — сказал Натаниэль однажды ночью, когда они сидели в садовой беседке, любовались звездопадом и курили марихуану. — Ты молода и полна жизни, ты заслуживаешь больше приключений, чем я способен тебе дать.

— А ты? Кто-то предложил тебе приключения и тебе нужна свобода? Я никогда ведь и не запрещала, Нат.

— Альма, речь не обо мне.

— Нат, ты освобождаешь меня от обещания не в самый подходящий момент. Я беременна, и на сей раз единственный возможный отец — это ты. Я собиралась рассказать тебе, когда буду абсолютно уверена.

Исаак и Лиллиан Беласко восприняли новость с таким же восторгом, как и в первый раз, подновили комнату, в которой прежде собирались разместить другого младенца, и приготовились его любить. «Если это мальчик и он родится после моей смерти, надеюсь, ему дадут мое имя, но если я буду еще жив, то не смейте: это принесет ему несчастье. В таком случае я хочу, чтобы его звали Лоренс Франклин Беласко, как моего отца и великого президента Рузвельта, да покоятся они с миром», — попросил отец семейства. Исаак медленно и неотвратимо слабел, но держался, потому что не мог оставить Лиллиан: жена превратилась в его тень. Лиллиан почти совсем оглохла, но слух ей был и не нужен. Старушка научилась безошибочно толковать чужое молчание, ее невозможно было обмануть, что-нибудь утаить, она развила в себе потрясающую способность угадывать, что ей собираются сказать, и отвечать раньше, чем слова будут произнесены. У Лиллиан были две навязчивые идеи: поправить

здоровье своего мужа и добиться, чтобы Натаниэль с Альмой полюбили друг друга, как то и полагается. В обоих случаях она прибегала к альтернативной терапии, включавшей в себя магнетизированные матрасы, целительные эликсиры и афродизиаки. Калифорния, идущая в авангарде практического ведовства, обладала широким рынком по продаже надежды и утешения. Исаак смирился, носил на шее кристаллы, пил сок люцерны и скорпионовую настойку, да и Натаниэль с Альмой терпели растирания с возбуждающим маслом из иланг-иланга^[18], китайские супчики из акульих плавников и другие алхимические снадобья, с помощью которых Лиллиан старалась воспламенить их тепленькую любовь.

Лоренс Франклин Беласко родился весной без единой проблемы из списка тех, которые предрекали врачи, учитывая эклампсию, от которой мать страдала в прошлый раз. С самого первого дня имя оказалось ему велико, и все стали звать его Ларри. Мальчик вырос здоровым, толстым и самодостаточным, не нуждался в особенных заботах, он был такой спокойный и благополучный, что мог заснуть где-нибудь под столом, и никто часами не замечал его отсутствия. Родители вверили сына Ларри попечению бабушки с дедушкой и сменявших друг друга нянек и уделяли ему не много внимания: в Си-Клифф хватало взрослых, чтобы за ним присмотреть. Мальчик не спал в своей кровати, его попеременно брали то Исаак, то Лиллиан, которых он называл «па» и «ма»; к родителям он адресовался более формально: «папа» и «мама». Натаниэль проводил мало времени дома: он превратился в самого известного в городе адвоката, зарабатывал хорошие деньги, а в свободное время занимался спортом и совершенствовался в искусстве фотографии. Как отец, он ждал, чтобы Ларри немного подрос, и тогда он откроет для сына все радости парусного спорта — и, конечно, не догадывался, что этот день никогда не настанет. Поскольку свекор со свекровью забрали мальчика под свою опеку, Альма начала путешествовать в поисках тем для новых работ, не терзаясь, что бросила сына. В первые годы художница планировала путешествия покороче, чтобы не расставаться с Ларри надолго, но быстро поняла, что это не имеет значения, потому что после каждого возвращения — хоть краткого, хоть длительного — сын встречал ее одинаково вежливым рукопожатием вместо столь желанных ею пылких объятий. Уязвленная мать сделала вывод, что

Ларри домашнего кота любит больше, чем ее, и после этого отправилась на Дальний Восток, в Южную Америку и другие неблизкие края.

ПАТРИАРХ

Ларри Беласко провел первые четыре года своей жизни, обласканный бабушкой и дедушкой, лелеемый, словно орхидея, не зная отказа в любых капризах. Такая система, которая, без сомнения, непоправимо испортила бы характер менее уравновешенного ребенка, сделала Ларри доброжелательным, услужливым и нескандальным. Его миролюбивый темперамент не переменился, когда в 1962 году умер его дедушка Исаак, один из столпов, поддерживавших фантастическую вселенную, в которой мальчик жил до той поры. Здоровье Исаака улучшилось с рождением его любимца. «Внутри мне двадцать лет, Лиллиан, так что за хреновина случилась с моим телом?» Деду хватало энергии, чтобы каждый день водить Ларри на прогулку, обучать ботаническим премудростям и покупать питомцев, о которых он сам мечтал в детстве: говорящего попугая, рыбок в аквариуме, кролика, который навсегда затерялся где-то среди мебели, как только Ларри открыл клетку, ушастого пса — первого из многих поколений кокер-спаниелей, которые будут жить в семье в течение последующих лет. У докторов не находилось объяснения очевидному улучшению здоровья Исаака, но Лиллиан приписывала его целительной магии и эзотерическим искусствам, в которых она сделалась экспертом. В ту ночь была очередь дедушки брать Ларри к себе в постель, а день выдался счастливым. Вечер мальчик провел в парке Золотые Ворота, катаясь на прокатной лошади: дедушка в седле, а он спереди, между его надежных рук. Они вернулись порозовевшие на солнце, пахнущие потом и воодушевленные идеей приобрести лошадь и пони, чтобы кататься вдвоем. Лиллиан ждала их возле жаровни в саду, оставалось только положить на решетку колбаски и маршмеллоу^[19], у деда с внуком это был излюбленный ужин. Потом бабушка выкупала Ларри, уложила его спать в мужниной комнате и читала ему сказку, пока мальчик не заснул. Лиллиан выпила свою рюмочку хереса с опийной настойкой и легла в кровать. Проснулась она в семь утра, потому что Ларри тряс ее за плечо: «Ма, ма, там па упал!» Исаак лежал в ванной. Потребовались совместные усилия Натаниэля и шофера, чтобы поднять холодное, окоченевшее, налившееся свинцом тело и положить

его на кровать. Мужчины хотели избавить от этого зрелища Лиллиан, но она вытолкала всех из комнаты, заперлась изнутри и не открывала, пока не завершила медленное омовение супруга, не натерла его лосьоном и одеколоном, не произвела осмотр этого тела, которое знала лучше собственного и которое так любила. Лиллиан удивилась, что ничего в нем не постарело, все сохранилось таким же, каким виделось ей всегда: перед ней лежал тот же высокий юноша, который со смехом подхватывал ее на руки, с бронзовой кожей после садовых работ, с роскошной черной шевелюрой двадцатичетырехлетнего парня и красивыми ладонями доброго человека. Когда Лиллиан открыла дверь в комнату, она была спокойна. Семья опасалась, что без мужа Лиллиан стремительно зачахнет от горя, но она доказала, что смерть — не фатальное препятствие для общения между теми, кто любит по-настоящему.

Много лет спустя, на второй сессии психотерапии, когда жена угрожала его бросить, Ларри вспомнит образ дедушки, лежащего на полу в ванной, как самый значительный момент своего детства, а образ завернутого в саван отца как конец молодости и насильственный перенос в зрелость. Во время первого события ему было четыре года, во время второго — двадцать шесть. Психолог спросил с ноткой сомнения в голосе, имеются ли у него другие воспоминания из четырехлетнего возраста, и Ларри для начала перечислил имена всех слуг и домашних животных в Си-Клифф, а закончил названиями сказок, которые читала ему бабушка, и цветом халата, который был на ней, когда она ослепла, через несколько часов после смерти мужа. Эти первые четыре года под крылом бабушки с дедушкой были самым счастливым временем его жизни, и он бережно хранил в памяти каждую мелочь.

У Лиллиан диагностировали временную истерическую слепоту, однако ни одно из этих прилагательных не оказалось верным. Ларри был ее поводырем, пока в шесть лет не пошел в детский сад, а потом она управлялась сама, потому что ни от кого зависеть не желала. Бабушка знала наизусть дом в Си-Клифф и все, что в нем находилось, передвигалась уверенно и даже вторгалась на кухню, чтобы испечь печенюшек для внука. К тому же ее водил за руку Исаак, как утверждала старушка полувшутку-полувсерьез. Желая угодить своему невидимому супругу, Лиллиан начала одеваться только в лиловое,

потому что она была в лиловом в 1914 году, когда с ним познакомилась, и потому что такое постоянство помогало ей каждый день выбирать одежду вслепую. Лиллиан не допускала отношения к себе как к инвалиду и никогда не жаловалась на изоляцию в своей глухоте и слепоте. До самой смерти бабушки в 1973 году Ларри получал от нее безусловную любовь; по словам психолога, спасшего его от развода, он не мог рассчитывать на такую любовь со стороны супруги: в браке нет ничего безусловного.

Питомник цветов и комнатных растений семьи Фукуда значился в телефонных справочниках, и Альма время от времени проверяла, не переменялся ли адрес, но ни разу не поддавалась искушению позвонить Ичimei. Ей стоило больших трудов прийти в себя после разбитой любви, и она боялась, что, если услышит его голос, снова потонет в этом море без берегов. Все эти годы чувства ее дремали: избавившись от одержимости Ичimei, она перенесла в свои кисти чувственность, которую знала с ним и никогда не знала с Натаниэлем. Все это изменилось на вторых похоронах ее свекра, когда Альма разглядела в огромной толпе неповторимое лицо Ичimei, который выглядел таким же молодым, каким она его запомнила. Ичimei шел в сопровождении трех женщин, лица двух из них Альма смутно вспомнила, хотя и не видела много лет, а молодая девушка выделялась в толпе, потому что не соблюдала строгий траурный стиль. Маленькая группа держалась чуть поодаль, но по окончании церемонии, когда скорбящие начали расходиться, Альма выпустила локоть Натаниэля и прошла вслед за японцами к проспекту, где рядами стояли автомобили. Она громко выкрикнула имя Ичimei, все четверо обернулись.

— Миссис Беласко, — поздоровался Ичimei и вежливо поклонился.

— Ичimei, — повторила она в оцепенении.

— Моя матушка, Хейдеко Фукуда, моя сестра, Мегуми Андерсон, моя супруга, Дельфина, — представил он.

Женщины тоже поклонились. Желудок Альмы свело жестокой судорогой, дыхание прервалось, она, не таясь, разглядывала Дельфину, которая ничего не замечала, потому что смотрела в землю, как то и полагается по правилам вежливости. Девушка была молода, свежа и миловидна, без избыточного макияжа, модного в те годы, в костюме с

короткой светло-серой юбкой, в круглой шляпке в стиле Жаклин Кеннеди, прическа тоже была как у первой леди. При таком американском наряде азиатское лицо выглядело несообразно.

— Спасибо, что пришли, — сумела выговорить Альма, когда восстановилось дыхание.

— Мистер Исаак Беласко был нашим благодетелем, мы навсегда сохраним нашу признательность. Благодаря ему мы смогли вернуться в Калифорнию, он дал деньги на наш питомник и помог нам преуспеть, — с чувством произнесла Мегуми.

Альма знала об этом и раньше — ей рассказывали Натаниэль и Ичимей, однако торжественный облик этой семьи утвердил ее в мысли, что свекор был необыкновенным человеком. Она любила его больше, чем любила бы собственного отца, если бы его не отняла война. Исаак Беласко был абсолютной противоположностью Баруха Менделя: великодушный, терпимый, всегда готовый отдавать. Боль утраты, которую она до этого момента не ощущала в полной мере из-за смятения, в котором пребывали сейчас все Беласко, ударила по женщине со всей мощью. Глаза увлажнились, но Альма проглотила слезы и рыдания, вот уже несколько дней рвущиеся наружу. Теперь она заметила, что Дельфина смотрит на нее так же пристально, как она сама смотрела несколько минут назад. Альме показалось, что она различает в светлых глазах девушки вдумчивое любопытство, как будто та все знает о роли, которую Альма сыграла в прошлом Ичимей. От такого разглядывания ей стало неловко.

— Примите наши самые искренние соболезнования, миссис Беласко, — сказал Ичимей, снова беря за руку мать, чтобы идти дальше.

— Альма. Я до сих пор Альма, — прошептала она.

— Прощай, Альма, — ответил он.

Альма две недели ждала, что Ичимей с ней свяжется: с нетерпением просматривала почту и вздрагивала от каждого телефонного звонка, выдумывала для его молчания тысячу оправданий, только самое логичное не приходило ей в голову: Ичимей женат. Она отказывалась думать о Дельфине: маленькой, худой, стройной, более красивой и молодой, чем она, с внимательным взглядом и с рукой, лежащей на талии Ичимей. Как-то в субботу она поехала на машине в Мартинес, надев большие солнечные очки и

укрыв голову платком. Она трижды проехала мимо питомника семьи Фукуда, но выйти так и не решилась. Во второй понедельник Альма не выдержала пытки тоской и позвонила по номеру, на который столько смотрела в телефонном справочнике, что уже выучила наизусть. «Фукуда. Цветы и комнатные растения, к вашим услугам». Голос был женский, и Альма не сомневалась, что он принадлежит Дельфине, хотя та при их единственной встрече не проронила ни слова. Альма повесила трубку. Потом звонила еще несколько раз, молясь, чтобы подошел Ичimei, но всегда натыкалась на приветливый голос Дельфины и вешала трубку. Один раз женщины молчали на линии почти минуту, а потом Дельфина мягко спросила: «Чем я могу вам помочь, миссис Беласко?» Альма испугалась, тут же оборвала звонок и поклялась больше никогда не искать Ичimei. А через три дня ей по почте доставили конверт, надписанный черными чернилами, каллиграфическим почерком Ичimei. Женщина заперлась в своей комнате, дрожа от тоски и надежды, прижимая конверт к груди.

В письме Ичimei снова приносил соболезнования по поводу смерти Исаака Беласко и открывал, как всколыхнулись его чувства, когда он увидел ее после стольких лет, — хотя он и знал о ее профессиональных достижениях, участии в благотворительности и часто видел ее фотографии в газетах. Ичimei писал, что Мегуми стала замужней дамой, у нее с Бойдом Андерсоном растет сын Чарльз, а Хейдеко два раза ездила в Японию, где обучилась искусству икебаны. В последнем абзаце он сообщал, что женат на Дельфине Акимуре — такой же, как и он, японке-американке второго поколения. Дельфине был год, когда ее семью интернировали в Топаз, но он не помнит, чтобы ее там видел, они познакомились много позже. Его жена учительница, но оставила школу, чтобы заниматься питомником, и под ее управлением дела идут успешно; скоро они откроют свой магазин в Сан-Франциско.

В своем письме Ичimei прощался, не намекая на возможность встречи или на то, что ждет ответа. Никаких воспоминаний о прошлом, которое они прожили вместе. То было формальное информативное письмо, без поэтических оборотов и философских рассуждений в отличие от других, которые она получала во время их короткого романа; не было даже рисунка, которым ее возлюбленный иногда сопровождал свои послания. Единственным утешением для

Альмы, перечитавшей письмо, было, что Ичимеи нигде не упомянул про ее телефонные звонки, о которых Дельфина ему, несомненно, рассказала. Женщина истолковала все правильно: это было прощение Ичимеи и скрытое предупреждение, что он не хочет никаких контактов.

За семь следующих размеренных лет ничего существенного в жизни Альмы не произошло. Ее частые и интересные путешествия в конце концов слились в ее памяти в одно-единственное странствие Марко Поло, как выражался Натаниэль, никогда не выказывавший неудовольствия по поводу отлучек жены. Они чувствовали себя друг с другом так по-животному комфортно, словно близнецы, которые никогда не расставались. Они могли читать мысли, предугадывать настроение или желания другого, заканчивать начатую фразу. Их приязнь была вне обсуждений, об этом не стоило даже говорить, это было само собой, как и их необыкновенная дружба. Супругов объединяла социальная ответственность, любовь к живописи и музыке, походы в изысканные рестораны, коллекция вин, которую они понемножку начали формировать, радость от семейных каникул вместе с Ларри. Мальчик вырос таким послушным и доброжелательным, что порой родители сомневались, нормально ли это. Они пошучивали между собой, подальше от Лиллиан, которая не допускала критических замечаний в адрес внука, что в будущем парень преподнесет им какой-нибудь ужасный сюрприз: вступит в секту или кого-то укокошит; не мог же он пройти по жизни без единого потрясения, как сытая морская свинка. Как только Ларри вошел в сознательный возраст, его начали возить по свету, устраивая раз в год незабываемые экскурсии. Родители побывали с ним на Галапагосских островах, на Амазонке, на нескольких сафари в Африке, и эти путешествия Ларри позднее повторит с собственными детьми. Среди самых волшебных воспоминаний его детства — кормление жирафа с ладони в одном из кенийских заповедников, этот длинный синий шершавый язык, ласковые глаза с опереточными ресницами, густой запах свежескошенной травы. У Натаниэля и Альмы было собственное пространство в большом особняке Си-Клифф, где они жили, как в шикарном отеле, не зная хозяйственных забот, потому что все шестеренки домашнего управления смазывала Лиллиан. Славная

женщина продолжала вторгаться в их жизнь и регулярно допытывалась, насколько они влюблены друг в друга, но им вовсе не докучала, обоим нравилась эта очаровательная особенность. Если Альма находилась в Си-Клифф, супруги договаривались о совместных планах на вечер: например, чего-нибудь выпить и обсудить прошедший день. Они поздравляли друг друга с успехами на работе и не позволяли себе задавать вопросы, если это не было совершенно необходимо, словно догадываясь, что хрупкое равновесие в их отношениях может моментально разрушиться от одного неуместного признания. Натаниэль с Альмой добровольно признали, что каждый имеет свой тайный мир и свое личное время, за которое не обязательно отчитываться. Их умолчания не были ложью. Поскольку их любовные встречи случались так редко, что их можно было не считать, Альма предполагала, что у ее мужа есть другие женщины, ведь мысль о целомудренной жизни выглядела нелепо, однако Натаниэль уважал обещание хранить свои победы в тайне и не ставить жену в унижительное положение. Что касается Альмы, в своих путешествиях она позволяла себе приключения, ведь возможностей всегда хватало, ей достаточно было намекнуть, чтобы получить отклик; но такие забавы всегда приносили ей меньше ожидаемого и только выбивали из колеи. Сейчас ведь самый возраст для активной сексуальной жизни, рассуждала она, это так же важно для здоровья и самочувствия, как спорт и сбалансированная диета, она не должна позволять своему телу сохнуть. Если взглянуть с такой точки зрения, секс из подарка для чувств превращался в еще одну обязанность. Эротизм, в понимании Альмы, требовал времени и доверия, наслаждение не давалось ей легко, на одну ночь поддельной или быстротечной влюбленности, с незнакомым мужчиной, которого она больше никогда не увидит. В самый разгар сексуальной революции, в эпоху свободной любви, когда в Калифорнии легко меняли партнеров и половина американцев безнаказанно спала с другой половиной, Альма продолжала думать об Ичimei. Не раз и не два она задавалась вопросом: что, если это только повод, чтобы оправдать собственную фригидность, однако когда она наконец вновь соединилась с Ичimei, таких вопросов больше себе не задавала и не искала утешения в чужих объятиях.

12 сентября 1978 года

Ты говорила, что из покоя рождается вдохновение, а из движения возникает творчество. Живопись, Альма, — это движение, вот отчего мне так нравятся твои недавние работы, выполненные как бы небрежно, но я ведь знаю, сколько внутреннего спокойствия требуется, чтобы владеть кистью так, как владеешь ты. Мне особенно нравятся твои деревья, так грациозно роняющие листья. Вот так и мне хотелось бы расстаться со своими листьями теперь, осенью моей жизни, легко и изящно. Зачем мы держимся за то, что в любом случае потеряем? Наверно, я имею в виду молодость, о которой мы с тобой так часто говорили.

В четверг я приготовлю для тебя ванну с морской водой и солью — мне их прислали из Японии.

Ичи

САМУЭЛЬ МЕНДЕЛЬ

Альма и Самуэль Мендель встретились в Париже весной 1967 года. Для женщины это была предпоследняя остановка после двухмесячного пребывания в Киото, где она обучалась живописи в стиле *суми-э* (обсидиановые чернила по белой бумаге) под строгим руководством учителя каллиграфии, заставлявшего ее тысячу раз повторять один и тот же штрих, пока не будет достигнуто идеальное сочетание легкости и силы — только тогда ученица могла переходить к новому движению. В Японии Альма бывала несколько раз. Эта страна ее завораживала, в особенности Киото и некоторые горные деревушки, где она повсюду находила следы Ичimei. Свободные скользящие штрихи *суми-э*, проведенные вертикальной кистью, позволяли художнице выражать себя с великой экономией и оригинальностью: никаких деталей, только главное. Этот стиль Вера Ньюман уже опробовала на своих птицах, бабочках, цветах и абстрактных рисунках. В те годы Вера развила международную индустрию, она продавала на миллионы, на нее работали сотни художников, ее имя носили художественные галереи, двадцать тысяч магазинов по всему миру предлагали ее линии модной одежды, бижутерию и украшения для дома; но такое массовое производство в задачи Альмы не входило. Она хранила верность принципу эксклюзивности. После двух месяцев черных штрихов художница готовилась вернуться в Сан-Франциско и экспериментировать с цветом.

Для ее брата Самуэля это было первое путешествие в Париж после войны. В громоздком багаже Альмы одну сумку целиком занимали свернутые рисунки и сотни фотографий картин и каллиграмм для поиска новых идей. У Самуэля багаж был минимальный. Он прилетел из Израиля в камуфляжных штанах и кожаной куртке, в армейских ботинках и с легким рюкзаком, в котором лежали две смены белья. В сорок пять лет Самуэль продолжал жить как солдат, с бритой головой и задубевшей, как подметка, кожей. Для брата с сестрой эта встреча была как паломничество в прошлое. Время и регулярная переписка помогали им возвращать дружбу, ведь оба они обладали эпистолярным талантом. Альма была натренирована с

юности, когда с головой уходила в свои дневники; Самуэль, в личном общении скупой на слова и недоверчивый, в письмах умел быть красноречивым и дружелюбным.

В Париже они взяли напрокат машину, и Самуэль повез сестру в деревню, где он погиб в первый раз; маршрут указывала Альма — она не забыла, как проезжала по этим местам в пятидесятые годы вместе с тетей и дядей. С тех пор Европа поднялась из пепла, и женщине было трудно узнать деревню, которая была скопищем развалин, мусора и ветхих домишек, а теперь отстроилась и окружила себя виноградниками и лавандовыми полями, которые в это время года сияли под солнцем. Даже кладбище имело солидный вид. Там были мраморные плиты и ангелы, железные кресты и решетки, мрачные деревья, воробьи, голуби и тишина. Приветливая юная смотрительница повела их по узким тропинкам, ища табличку, которую Беласко установили много лет назад. Она была на месте: «Самуэль Мендель, 1922–1944, пилот Королевских ВВС Великобритании». Под ней была табличка поменьше, тоже бронзовая: «Погиб, сражаясь за Францию и свободу». Самуэль снял берет и, довольный увиденным, почесал голову.

— Металл, кажется, недавно полировали? — заметил он.

— Это мой дедушка. Он ухаживает за могилами солдат. Он же повесил и вторую табличку. Понимаете, дедушка участвовал в Сопротивлении.

— Да что вы! Как его зовут?

— Клотэр Марино.

— Жаль, что я с ним не знаком, — сказал Самуэль.

— Вы тоже были в Сопротивлении?

— Да, какое-то время.

— Тогда вы должны зайти к нам в гости и выпить рюмочку, мой дедушка будет рад вас видеть, мсье...

— Самуэль Мендель.

Девушка на секунду замерла, потом наклонилась, перечитав имя на табличке, и обернулась к нему с удивлением.

— Да, это я. Как видите, я не окончательно умер, — сказал Самуэль.

В итоге они вчетвером сидели на кухне соседнего дома, пили перно и ели багет с колбасками. Клотэр Марино, низенький и

круглый, обладатель громогласного смеха и чесночного запаха, крепко обнял приезжих, и был рад отвечать на расспросы Самуэля, которого он называл *mon frère*^[20], и не уставал наполнять его стакан. Самуэль убедился, что Клотэр был не из числа тех героев, которые расплодились уже после Перемирия. Он слышал про сбитый возле деревни английский самолет, про спасение одного из летчиков, был знаком с двумя сельчанами, которые его прятали, и знал имена остальных. Француз слушал историю Самуэля, вытирая глаза и сморкаясь в тот же синий платок, который носил на шее и использовал, чтобы промокнуть пот на лбу или обтереть жирные руки. «У моего дедушки глаза всегда на мокром месте», — зачем-то пояснила внучка.

Самуэль сказал хозяину, что в Соппротивлении его имя было Жан Вальжан и что несколько месяцев он провел в помутнении рассудка, потому что ударился головой при падении из самолета, но постепенно воспоминания начали к нему возвращаться. В его голове жили размытые образы: большой дом, служанки в черных передниках и белых чепцах, но семью он не помнил. Он думал, что если после войны хоть что-то останется на своих местах, он отправится на поиски своих корней в Польшу, потому что на польском он складывал, вычитал, сквернословил и видел сны; где-то в этой стране должен был стоять дом, запечатлевшийся в его памяти.

— Мне пришлось дожидаться окончания войны, чтобы узнать собственное имя и судьбу моей семьи. В сорок четвертом году поражение немцев уже было предсказуемо, вы помните, мсье Мартино? Ситуация на Восточном фронте неожиданно перевернулась, чего никак не ожидали англичане с американцами. Они полагали, что Красная армия — это банды недисциплинированных крестьян, голодающих и плохо вооруженных, неспособных противостоять Гитлеру.

— Прекрасно помню, *mon frère*, — подхватил Мартино. — После битвы под Сталинградом миф о непобедимости Гитлера начал рассыпаться, и у нас появилась какая-то надежда. Нужно признать, именно русские сломили моральный дух и хребет немцам в тысяча девятьсот сорок третьем году.

— Поражение под Сталинградом заставило их откатиться до самого Берлина, — добавил Самуэль.

— А потом произошла высадка союзников в Нормандии, в июне сорок четвертого, а через два месяца освободили Париж. Ах! Это был незабываемый день!

— Я попал в плен. Мою группу уничтожило СС, и те мои товарищи, что выжили, получили по пуле в затылок, как только сдались. Я не попался случайно — уходил за едой. А лучше сказать — бегал по окрестным домам в поисках, чем бы поживиться. Мы даже собак и кошек ели — все, что ни попадалось.

Самуэль рассказывал, что эти месяцы войны были для него хуже всех. Одиноким, потерянным, голодным, без связи с Сопротивлением, он жил по ночам, питался червивой землей и ворованной едой, пока в конце сентября его не взяли. Четыре последующих месяца он провел на принудительных работах, сначала в Моновице, потом в Освенциме, где уже погибли миллион двести тысяч мужчин, женщин и детей. В январе, когда русские неотвратимо наступали, фашисты получили приказ избавиться от свидетелей происходившего в лагере. Узников вывели и отправили в путь по снегу, без зимней одежды и питания, в сторону Германии. Тех, кто остался в лагере из-за крайней слабости, следовало казнить, однако эсэсовцы, спеша унести ноги от русских, не успели уничтожить все следы, и семь тысяч узников остались живы. Среди них был и Самуэль.

— Не думаю, что русские шли с целью освободить нас, — объяснял Самуэль. — Войска Украинского фронта проходили рядом, они открыли ворота лагеря. Те из нас, кто еще мог передвигаться, выползли наружу. Никто нас не останавливал. Никто нам не помогал. Никто не предложил и куска хлеба. Нас отовсюду выгоняли.

— Я знаю, *mon frère*. Здесь, во Франции, никто не помогал евреям, говорю это с великим стыдом. Но подумайте: это ведь были ужасные времена, мы все голодали, а в таких обстоятельствах не до человечности.

— Палестинским сионистам тоже не нравились выжившие в концлагерях: мы были отбросами, непригодными для войны.

Самуэль рассказывал, что сионисты искали молодых, сильных, здоровых людей — отважных воинов, способных противостоять арабам, и упорных тружеников для обработки иссохшей земли. Но одним из немногих воспоминаний о прошлой жизни у Самуэля был полет, и это помогло ему эмигрировать. Он превратился в солдата,

летчика и шпиона. Был телохранителем Бен Гуриона во время создания государства Израиль в 1948 году, а еще через год стал одним из первых агентов Моссада.

Брат с сестрой заночевали в деревенской гостинице, а на следующий день вернулись в Париж и полетели в Варшаву. В Польше они безрезультатно искали следы родителей; нашли только их имена в Еврейском фонде жертв Трешлинки. Вместе прошли они по бывшему лагерю Освенцим, где Самуэль надеялся примириться с прошлым, но это оказалось паломничеством к его самым тяжелым кошмарам, только укрепившим уверенность, что человеческие существа — самые жестокие звери на земле.

— Немцы — это не раса психопатов, Альма. Это нормальные люди, как ты и я, но с фанатизмом, властью и безнаказанностью кто угодно может превратиться в зверя, как эсэсовцы в Освенциме, — сказал Самуэль.

— Ты думаешь, что в других обстоятельствах тоже вел бы себя как зверь?

— Я не думаю, Альма, я знаю. Я всю жизнь был военным. Участвовал в боевых действиях. Я допрашивал пленных. Многих пленных. Но мне кажется, детали ты знать не захочешь.

НАТАНИЭЛЬ

Тайный недуг, который в конце концов свел Натаниэля Беласко в могилу, выслеживал его многие годы, так что никто, и даже сам Натаниэль, об этом не догадывался. Первые симптомы совпали с эпидемией гриппа, которая в ту зиму обрушилась на жителей Сан-Франциско, и исчезли через две недели. Они вернулись лишь спустя много лет и принесли с собой страшную усталость: несколько дней адвокат еле волочил ноги и ходил сгорбившись, как будто тащил на спине мешок с песком. Натаниэль не уменьшил число своих рабочих часов, но время плохо ему поддавалось. Документы на письменном столе накапливались, как будто плодились и размножались по ночам. Натаниэль терял профессиональную хватку, теперь он старательно изучал дела, которые раньше сумел бы разрешить с закрытыми глазами, и мог напрочь забыть только что прочитанное. От бессонницы он страдал всю жизнь, сейчас же она осложнилась повышением температуры и холодным потом. «Мы оба вошли в тяжелый период менопаузы», — смеясь, говорил он Альме, но жену эта шутка не забавляла. Натаниэль перестал заниматься спортом, яхта простаивала на берегу, и чайки вили в ней гнезда. Ему стало больно I питать, он начал терять вес, пропал аппетит. Альма взбивали мужу муссы с протеиновым порошком — он выпивал их через силу, а потом выблевывал тайком, чтобы она не видела. Когда на коже высыпали язвы, их семейный врач — такая же древняя реликвия, как мебель, купленная Исааком Беласко в 1914 году, последовательно лечивший Натаниэля от анемии, желудочной инфекции, мигрени и депрессии, — отправил его к специалисту-онкологу.

Перепуганная Альма осознала, как сильно любит Натаниэля, как нуждается в нем, и изготавилась дать бой болезни, судьбе, богам и дьяволам. Женщина оставила живопись, уволила помощников по мастерской и сама появлялась там только по разу в месяц, чтобы проверить работу уборщиц. Огромная студия, озаренная мутным светом, проникающим сквозь пыльные стекла, погрузилась в кладбищенский покой. Всякое движение внезапно оборвалось, и мастерская застыла во времени, готовая, как при стоп-кадре в кино,

вернуться к жизни в любой момент; длинные столы были прикрыты полотном, рулоны ткани стояли столбиками, как стройные часовые, а другие, уже расписанные, висели на мольбертах, образцы рисунков и цветов смотрели со стен, повсюду были банки и бутылочки, валики, большие и малые кисти, упрямый бормотун-вентилятор бесперебойно гонял по воздуху стойкий аромат краски и растворителя.

Закончились путешествия, годами приносившие Альме вдохновение и свободу. Оказавшись кие привычной среды, Альма избавлялась от старой кожи и возрождалась свежая, любопытная, готовая к приключению, открытая предложениям нового дня, без планов и страхов. И эта кочевница Альма становилась настолько реальной, что порой женщина удивлялась, видя свое отражение в зеркалах ее путевых гостиниц: она не ожидала встретиться с тем же лицом, которое было у нее в Сан-Франциско. Ичimei она тоже перестала видеть.

Они случайно встретились через семь лет после похорон Исаака Беласко и за четырнадцать лет до того, как в полной мере дала о себе знать болезнь Натаниэля, это случилось на ежегодной выставке в Обществе орхидей, среди тысяч зрителей. Ичimei заметил ее первым и подошел поздороваться. Он был один. Поговорили об орхидеях — на выставке было представлено два экземпляра из питомника Фукуда, а потом пошли обедать в ближайший ресторан. За едой болтали о том о сем: Альма о своих недавних поездках, о новых проектах и о Ларри; Ичimei — о растениях и двух своих детях, двухлетнем Микки и восьмимесячном малютке Питере. О Натаниэле и Дельфине не было сказано ни слова. Обед растянулся на два часа: обоим было что рассказать друг другу, но говорили они неуверенно и с оглядкой, не прикасаясь к прошлому, точно скользя по хрупкому льду, изучая друг друга, подмечая перемены, пытаясь разгадать намерения другого, сознавая, что жаркая сила притяжения между ними ничуть не ослабла. Им исполнилось по тридцать семь лет, по Альме это было видно лучше: черты лица заострились, она стала более худой, угловатой и уверенной в себе, а Ичimei не переменился, он до сих пор выглядел как серьезный подросток с тихим голосом и деликатными манерами, все с той же способностью обволакивать собеседника своим присутствием. Альма видела перед собой восьмилетнего мальчика из теплицы в Си-Клифф, десятилетнего паренька, который отдал ей

своего кота Неко и исчез, неутомимого любовника из тараканьего мотеля, мужчину в трауре на похоронах ее тестя — все они были одинаковы, словно наложенные картинки на прозрачной бумаге. Ичimei был неизменен и вечен. Любовь и вожделение жгли Альме кожу, она хотела протянуть руки через стол и потрогать его, подойти поближе, сунуть нос в его волосы и удостовериться, что они до сих пор пахнут землей и травой, признаться, что без него она живет как сомнамбула, никто и ничто не в силах заполнить страшную пустоту его отсутствия, что она бы все отдала, лишь бы вновь оказаться обнаженной в его руках, и ничто, кроме него, не имеет значения. Ичimei проводил ее до стоянки. Они шли медленно, кругами, чтобы отдалить момент расставания. На шестом уровне автостоянки Альма достала ключ и предложила Ичimei проводить ее до машины, до которой было рукой подать. Он согласился. В уютном полумраке машины они поцеловались, вновь узнавая друг друга.

В последовавшие за этой встречей годы им пришлось содержать свою любовь в изоляции от всего остального, что было в их жизни, не позволяя ей касаться Натаниэля и Дельфины. Когда они были вместе, больше ничего не существовало, а когда прощались в гостинице, где наполнялись друг другом, становилось ясно, что вплоть до следующей встречи не будет никакого общения — только на бумаге. Альма хранила эти письма, как сокровища, хотя Ичimei в них придерживался свойственного его расе сдержанного тона, что составляло контраст с доказательствами нежной любви и пылкой страсти, которые она получала наедине. Сентиментальность была неотъемлемой чертой Ичimei, для японца было обычным делом собирать угощение на пикник в восхитительных деревянных коробочках, подарить гардении, потому что Альме нравился этот аромат, который она ни за что не потерпела бы в духах, устроить для нее чайную церемонию, посвятить ей стихотворение или рисунок. Иногда наедине он называл ее «моя малышка», но никогда такого не писал. У Альмы не было необходимости объясняться с мужем, потому что оба они обладали независимостью, и она никогда не спрашивала своего любовника, как ему удастся оставлять в неведении Дельфину, с которой они вместе и жили, и работали. Альма знала, что Ичimei любит свою жену, что он хороший отец и семьянин, что у него особое положение в японской общине: его считают учителем и приглашают наставить сбившихся с

пути, примирить врагов и выступить справедливым судьей в споре. А мужчина испепеляющей любви, эротических выдумок, нетерпения, алчности и веселья, откровенных признаний шепотом во время перерыва между двумя вспышками, бесконечных поцелуев и сводящего с ума наслаждения — этот мужчина существовал только для нее.

Письма начали приходить после их встречи среди орхидей; их стало еще больше, когда Натаниэль заболел. На время, которое казалось им бесконечным, эта переписка пришла на смену их тайным встречам. От Альмы шли бесстыдные отчаянные письма женщины, тоскующей в разлуке; письма Ичимеи были как спокойная прозрачная вода, но между строк билась такая же страсть. Письма открывали Альме необыкновенную ткань души Ичимеи, его чувства, мечты, тревоги и идеалы; она смогла лучше узнать его, больше любить и желать по этим посланиям, нежели по их любовным встречам. Письма Ичимеи сделались для нее столь важны, что когда она стала вдовой и свободной, когда они могли говорить по телефону, видеться часто и даже путешествовать вместе, они продолжали друг другу писать. Ичимеи неукоснительно исполнял уговор уничтожить прочитанное, но Альма сохранила его письма и часто перечитывала.

18 июля 1984 года

Я знаю, как ты страдаешь, и мне горько, что я не могу тебе помочь. Я сейчас пишу тебе и знаю, что ты отчаянно торгуешься с болезнью своего мужа. Ты ведь не можешь управлять этим процессом, Альма, можешь лишь с великим мужеством при нем присутствовать.

Наша разлука причиняет много боли. Мы привыкли к нашим священным четвергам, к ужинам на двоих, к прогулкам в парке, к нашим коротким приключениям по выходным. Почему мне кажется, что мир выцвел? Звуки долетают издалека, словно под сурдинку, еда отдает мылом. Столько месяцев без тебя! Я купил такой же одеколон, чтобы чувствовать твой запах. Я утешаюсь писанием стихов, которые когда-нибудь тебе подарю, потому что они про тебя.

А ты упрекаешь меня в романтичности!

Годы духовных упражнений не пошли мне на пользу, ведь я не могу справиться с возжелением. Я жду твоих писем, твоего голоса в телефоне, представляю, как ты бежишь мне навстречу... Иногда любовь ранит.

Ичи

Натаниэль и Альма заняли две комнаты, где раньше жили Лиллиан и Исаак, соединенные дверью, которая так долго стояла открытой, что уже и не закрывалась. У них снова была одна бессонница на двоих, как сразу после свадьбы; они лежали рядышком на диване или на кровати, Альма читала, держа книгу в одной руке, а другой глядя Натаниэля, а он отдыхал с закрытыми глазами, и в его груди при каждом вздохе булькало. В одну из таких долгих ночей оказалось, что оба плачут — молча, чтобы не мешать другому. Сначала Альма почувствовала, что щеки у мужа влажные, и тут же Натаниэль заметил, что Альма плачет, и это было столь редкое явление, что он приподнялся, чтобы проверить, действительно ли это слезы. Натаниэль не помнил, чтобы жена при нем плакала, даже в самые тяжелые минуты.

— Ты умираешь, это правда? — прошептала она.

— Да, Альма, но не надо по мне плакать.

— Я плачу не по тебе, а по себе. И по нам, по всему, чего тебе не сказала, по недомолвкам, обманам, по изменам и по времени, которое у тебя украла.

— Господи, что за вздор! Твоя любовь к Ичимеи не была изменой, Альма. Иногда бывают необходимы недомолвки и обманы, как бывают и истины, о которых лучше молчать.

— Ты знаешь про Ичимеи? И давно?

— Всегда. Сердце — оно большое, можно любить не одного человека.

— Расскажи о себе, Нат. Я никогда не лезла в твои секреты, которых, я так думаю, немало, чтобы не открывать тебе свои.

— Альма, мы так друг друга любили! Жениться всегда надо на лучшей подруге. Я знаю тебя лучше всех. То, чего ты мне не говорила, я могу угадать; но вот ты меня не знаешь.

И тогда Натаниэль начал говорить про Ленни Билла. В остаток этой долгой бессонной ночи они рассказали друг другу обо всем с торопливостью людей, понимающих, что вместе они будут уже недолго.

С тех пор как Натаниэль себя помнил, он относился к людям одного с собой пола со смесью восхищения, страха и желания: сначала это были товарищи по школе, потом другие мужчины, и, наконец, Ленни, с которым они составляли пару в течение восьми лет. Натаниэль боролся со своими чувствами, разрываясь между влечениями сердца и неумолимым голосом рассудка. В школе, когда сам мальчик еще не мог определить свои чувства, другие дети интуитивно видели в нем другого и карали его битьем, насмешками и остракизмом. Эти годы, проведенные в плену у извергов, были худшими в его жизни. Когда школа закончилась, юноша, терзаемый предрассудками и неукротимым жаром молодости, обратил внимание, что он не уникален, как ему казалось раньше: Натаниэль повсюду встречал мужчин, смотревших ему прямо в глаза с предложением или мольбой. Его посвятил в таинство другой студент Гарварда. Натаниэль узнал, что гомосексуальность — это параллельный мир, который сосуществует с допустимой реальностью. Он познакомился с очень разными людьми. В университете это были преподаватели, ученые, студенты, один раввин и один футболист; за его пределами — моряки, рабочие, чиновники, политики, бизнесмены и умалишенные. Этот мир был гостеприимный и многоликий, но в то же время секретный, если учесть вечное сопротивление безжалостному суду общества, морали и закона. Геев не допускали в гостиницы, клубы и церкви, не обслуживали в барах, их могли выгнать из публичного места, обвинив — с причиной или без — в предосудительном поведении; бары и клубы для голубых были мафиозным сообществом. Вернувшись в Сан-Франциско с дипломом адвоката под мышкой, Натаниэль обнаружил первые признаки зарождающейся гей-культуры, которая открыто проявит себя лишь через несколько лет. Когда начали возникать общественные движения шестидесятых годов, в их числе и Фронт освобождения геев, Натаниэль был женат на Альме, а его сыну Ларри было десять лет. «Я женился на тебе не для того, чтобы скрыть мою гомосексуальность, а из-за дружбы и любви», — сказал он Альме

в ту ночь. Для него это были годы шизофрении: безупречная и успешная общественная жизнь и другая — незаконная и тайная. Натаниэль познакомился с Ленни Биллом в 1976 году в мужской турецкой бане, самом подходящем месте для эксцессов, но совершенно неподходящем для зарождения любви.

Натаниэль приближался к пятидесяти годам; Ленни был на шесть лет моложе и красив, как статуя римского божества, бесцеремонен, экзальтирован и порочен — полная противоположность Натаниэлю. Физическое влечение возникло моментально. Мужчины заперлись в одном из отделений и до рассвета предавались наслаждению, поборцовски атакуя друг друга, барахтаясь в бреду и переплетаясь телами. Они условились о свидании в гостинице на следующий день и явились туда порознь. Ленни принес марихуану и кокаин, но Натаниэль попросил обойтись без наркотиков: он хотел пережить новый опыт при полной ясности рассудка. Через неделю оба уже знали, что костер желания был всего лишь началом грандиозной любви, и, не противясь, отдались одной цели: прожить эту любовь во всей полноте. Они сняли квартиру в центре города, оборудовали ее минимальным набором мебели и лучшей музыкальной аппаратурой, договорившись, что бывать там могут лишь они двое. Натаниэль завершил поиски, начатые тридцать пять лет назад, однако внешне его жизнь ничуть не переменилась: он оставался образцовым буржуа, никто не подозревал о его тайне, никто не заметил, что его рабочее время и часы, отведенные спорту, значительно сократились. Ленни сильно изменился под влиянием своего возлюбленного. Он впервые замедлил свое кипучее существование и отважился заменить шум и лихорадочную активность созерцанием недавно обретенного счастья. Если Ленни был не с Натаниэлем, он о нем думал. Он больше не ходил в бани и гей-клубы, друзьям редко удавалось соблазнить его каким-нибудь праздником, новые знакомства потеряли свою прелесть, потому что ему хватало Натаниэля — это было солнце, средоточие его жизни. Ленни утвердился в спокойствии этой любви с рвением пуританина. В музыке, еде и напитках он теперь предпочитал то же, что и Натаниэль, носил кашемировые свитера, пальто из верблюжьей шерсти, пользовался тем же лосьоном для бритья. Натаниэль провел в свой офис персональную телефонную линию, и номер знал только Ленни;

они вместе ходили под парусом, устраивали походы, встречались в городах, где их никто не знал.

Поначалу необъяснимая болезнь Натаниэля не мешала их отношениям с Ленни: симптомы были разные и непредсказуемые, они возникали и проходили без причины, без видимой связи между собой. Потом, когда адвокат начал блекнуть и таять, превращаясь в призрак прежнего Натаниэля, когда он был вынужден признать, что не со всем справляется и нуждается в помощи, — тогда развлечениям пришел конец. Натаниэль утратил вкус к жизни, почувствовал, что все вокруг него становится бледным и зыбким, отдался ностальгии, точно старик, которому стыдно за многое, что он сделал, и за очень многое, чего так и не сделал. Натаниэль знал, что жизнь его укорачивается, и ему было страшно. Ленни не позволял другу впасть в депрессию, поддерживал его фальшивым оптимизмом и верностью в любви, которая в это время испытаний выросла и окрепла. Мужчины встречались в своей квартирке, чтобы утешать друг друга. Натаниэлю не хватало сил и желания заниматься любовью, но Ленни об этом и не просил, ему было достаточно тех моментов близости, когда он мог помочь дрожащему от лихорадки другу, покормить его йогуртом с детской ложечки, полежать с ним рядом, слушая музыку, протереть бальзамом струпья, поддержать его в туалете. В конце концов Натаниэль перестал выходить из дома, и Альма взяла роль сиделки на себя и выполняла ее с той же настойчивой нежностью — но она была всего лишь подругой и женой, а Ленни — его великой любовью. Вот что поняла Альма той ночью взаимных признаний.

Утром, когда Натаниэлю наконец удалось заснуть, Альма нашла в справочнике номер Ленни Билла, позвонила и умоляла его приехать и помогать. Вместе им будет легче переносить тоску этой агонии — так она сказала. Не прошло и сорока минут, а Ленни был уже у них. Альма пошла открывать еще в пижаме и халате. Он увидел перед собой женщину, опустошенную бессонницей, усталостью и страданием; она увидела красивого мужчину с влажными после душа волосами и самыми голубыми на свете глазами, которые теперь были красны.

— Меня зовут Ленни Билл, миссис, — смущенно пробормотал он.

— Пожалуйста, называйте меня Альма. Вы у себя дома, Ленни, — ответила она.

Ленни Билл хотел протянуть ей руку, но рукопожатия не случилось: они, дрожа, обняли друг друга.

Ленни начал бывать в Си-Клифф ежедневно, после работы в стоматологической клинике. Всем — Ларри и Дорис, прислуге, друзьям и знакомым, посещавшим дом, — было объявлено, что Ленни — медбрат. Никто ни о чем не спрашивал. Альма пригласила плотника починить заклинившую дверь между двумя комнатами, и теперь мужчины могли оставаться наедине. Она чувствовала громадное облегчение, когда при появлении Ленни у мужа загорался взгляд. Вечером они втроем пили чай с английскими булочками и, если Натаниэль был в настроении, играли в карты. К тому времени уже появился диагноз, страшнее которого не было: СПИД. Беда обрела имя лишь два года назад, но уже было известно, что это смертный приговор: одни умирали раньше, другие позже, вопрос был только во времени. Альма не собиралась выяснять, почему это случилось с Натаниэлем, а не с Ленни, но если бы и начала, никто не дал бы ей однозначного ответа. Случаи заболевания умножались с такой быстротой, что уже начались разговоры о мировой эпидемии и о Божьей каре за кощунственное мужеложство. Слово «СПИД» произносили шепотом, нельзя было говорить о заболевании внутри семьи или сообщества — это было равносильно признанию в недопустимых извращениях. Официальное объяснение, даже для членов семьи, состояло в том, что у Натаниэля рак. Поскольку традиционная наука не могла ничего предложить, Ленни отправился в Мексику на поиски таинственных наркотиков, которые в итоге ничем не помогли, а Альма хваталась за любые предложения альтернативной медицины — от акупунктуры, травок и притираний из Чайна-тауна до ванн из колдовской грязи в банях Калистоги^[21]. И для нее обрели смысл все нелепые выдумки Лиллиан, и она пожалела, что выкинула статуэтку Барона Субботы.

Через девять месяцев от тела Натаниэля остался только скелет, воздух почти не проникал в непроходимый лабиринт легких, появились язвы на коже и неутолимая жажда, голос пропал, а рассудок плутал в кошмарном бреду. И в одно тоскливое воскресенье, когда дома никого не было, Альма и Ленни взялись за руки в полутьме закрытой комнаты и попросили Натаниэля прекратить борьбу и уйти спокойно. Они больше не могли смотреть на его мучения. В чудесный

момент просветления Натаниэль открыл затуманенные болью глаза и шевельнул губами, складывая одно немое слово: спасибо. Оно было истолковано правильно, как приказ. Ленни поцеловал страдальца в губы, а потом влил смертельную дозу морфина в его отравленную кровь. Альма, стоявшая на коленях по другую сторону кровати, тихо рассказывала мужу, как сильно она и Ленни его любят, сколько всего он дал им и многим другим, его всегда будут помнить и ничто их не разлучит.

В Парк-Хаус, за манговым чаем и общими воспоминаниями Альма и Ленни силились понять, почему они прожили тридцать лет, не пытаясь вновь найти друг друга. Ленни закрыл Натаниэлю глаза и помог Альме привести в порядок тело, чтобы в достойном виде предъявить его Ларри и Дорис, уничтожил следы происшедшего, простился с вдовой и ушел. Они провели вместе долгие месяцы в интимной близости общего страдания, неуверенности и надежды, ни разу не видели друг друга при свете дня — только внутри этой опочивальни, пропахшей мятой и смертью гораздо раньше, чем Натаниэль окончательно умер. Они вместе проводили бессонные ночи, отгоняя тоску разбавленным виски или косячком марихуаны; в такие ночи они пересказали друг другу свои жизни, выкопали из-под земли тайны и тревоги и по-настоящему узнали друг друга. Перед лицом этой размеренной агонии не было места никакому притворству — они открывались как есть, догола. И несмотря на это — или, быть может, именно поэтому, — они полюбили друг друга с такой прозрачной и безнадежной нежностью, которая требовала расставания, потому что не выдержала бы неизбежного износа повседневности.

— Странная у нас была дружба, — сказала Альма.

— Натаниэль был так благодарен нам обоим за то, что мы с ним, что однажды попросил меня жениться на тебе, когда ты овдоеешь.

— Гениальная идея! Почему ты не сделал мне предложение, Ленни? Из нас бы вышла хорошая пара, мы бы друг друга поддерживали и прикрывали спину, как было у нас с Натаниэлем.

— Альма, я же гей.

— Как и Натаниэль. У нас с тобой был бы белый брак, без постели; ты имел бы свою личную жизнь, я была бы с Ичимей. Это

очень удобно: нам не пришлось бы выносить наши любовные истории на публику.

— Еще не поздно. Альма Беласко, ты выйдешь за меня замуж?

— Но ведь ты говорил, что скоро умрешь? Я не хочу овдоветь во второй раз.

Они весело расхохотались, и смех надоумил их сходить в столовую и проверить, есть ли что-нибудь соблазнительное в меню. Альма взяла Лен-ни под руку, и они отправились по застекленному коридору в сторону главного корпуса — бывшего особняка шоколадного магната, чувствуя себя постаревшими и довольными, недоумевая, почему люди так много говорят о печалях и горестях и так мало — о счастье. «Что делать с этим счастьем, которое приходит к нам без всякой причины, которое не требует никаких условий?» — спросила Альма. Они двигались мелкими неуверенными шажками, поддерживая друг друга, замерзшие, потому что кончалась осень, ошарашенные, потому что воспоминания о любви нахлынули яростным потоком, тонущие в этом общем счастье. Альма успела показать Ленни на промелькнувший в парке розовый тюль, но уже темнело, и, возможно, это была не Эмили, предвестница беды, а просто мираж, каких так много в Ларк-Хаус.

ЯПОНСКИЙ ЛЮБОВНИК

В пятницу Ирина Башили приехала в Ларк-Хаус пораньше, чтобы перед началом смены заглянуть к Альме. Помогать ей одеваться уже не было необходимости, но Альма была рада, когда девушка заходила к ней на первую чашку утреннего чая. «Выходи за моего внука, Ирина, ты окажешь честь всем Беласко», — часто повторяла она. Ирина могла бы ответить, что до сих пор не справилась с кошмарами из своего прошлого, но умерла бы от стыда при малейшем намеке на те события. Как рассказать бабушке Сета, что порождения ее памяти, обычно сидящие по своим норам, высовывают ящеричьи головы наружу, как только она собирается заняться любовью с ее внуком? Сет понимал, что девушка не готова к разговору, и перестал настаивать на совместном походе к психиатру; сейчас ему хватало и того, что Ирина открыла ему свою тайну. Время у них есть. Ирина предложила ему сильнодействующее средство: вместе посмотреть видео, отснятые ее отчимом, которые до сих пор гуляют по сети и будут мучить ее до окончания дней, но Сет опасался, что если выпустить этих уродливых тварей на свободу, их не удастся контролировать. Его метод лечения состоял в том, чтобы продвигаться постепенно, с любовью и юмором, поэтому они с Ириной как будто танцевали: два шага вперед — шаг назад; они уже спали в одной постели и иногда просыпались в объятиях друг друга.

В то утро Ирина не обнаружила в квартире ни Альмы, ни ее сумки для тайных вылазок, ни шелковых ночных рубашек. Впервые на месте не оказалось и портрета Ичимеи. Девушка поняла, что и машины на стоянке тоже не будет, но особенно не встревожилась: Альма уже хорошо стояла на ногах, а Ичимеи, как подумала Ирина, где-то ее поджидал. Старушка будет не одна.

В субботу у Ирины не было смены в Ларк-Хаус, и она проспала до девяти — такую роскошь она теперь могла себе позволить по выходным, с тех пор как переселилась к Сету и перестала мыть собак. Парень разбудил ее чашкой кофе с молоком и уселся рядом на постель, чтобы прикинуть планы на день. Сет вернулся из спортзала, сразу после душа, с мокрыми волосами, все еще возбужденный после

тренировки; парень не знал, что сегодня у них не будет никаких общих дел, что этот день станет прощальным. Именно в этот момент позвонил Ларри Беласко. Он сказал сыну, что бабушкин автомобиль пошел юзом на загородном шоссе и съехал в овраг глубиной в пятнадцать метров.

— Она в отделении интенсивной терапии Центральной больницы округа Марин, — сообщил Ларри.

— Состояние тяжелое? — с тревогой спросил Сет.

— Тяжелое. Машина вообще всмятку. Не знаю, что моя мать делала в этих местах.

— Папа, она была одна?

— Да.

В больнице они застали Альму в сознании и ясном уме, несмотря на лекарства, капавшие в ее вену, которые, по словам врача, свалили бы и быка. Подушек безопасности в ее машине не было. Будь ее автомобиль побольше, повреждения, возможно, оказались бы не столь значительны, но маленький «смарт» лимонно-зеленого цвета развалился на куски, а водительницу зажало между ремнем и креслом. В холле рядом с палатой собралась вся семья Беласко; Ларри шепотом объяснил Сету, что можно прибегнуть к крайней мере: открыть в теле Альмы канал, вернуть сместившиеся органы на прежние позиции и оставить канал открытым на несколько дней, пока не спадет воспаление и не возникнут условия для хирургического вмешательства. Тогда можно думать о сращении переломов. Это очень рискованный метод и для молодого пациента, а с женщиной, которой за восемьдесят, риск еще больше; хирург, принявший Альму в больницу, не решался взять на себя ответственность. Кэтрин Хоуп, которая прибыла незамедлительно вместе с Ленни Биллом, считала, что столь серьезное вмешательство опасно и бесполезно; следует просто предоставить Альме возможный в ее обстоятельствах комфорт и ждать конца, который не замедлит наступить. Ирина оставила семью и Кэти, спорящих, стоит ли перевозить Альму в Си-Клифф, и незаметно пробралась в палату.

— Вам больно? — шепотом спросила девушка. — Хотите, я позвоню Ичimei?

Альму подключили к кислородному шлангу, но дышала она сама. Слабым жестом она подозвала Ирину поближе. Ирина не хотела

думать об израненном теле, прикрытом каркасом из палок и простыней; она сосредоточилась на лице, которое не пострадало и как будто похорошело.

— Кирстен, — прошептала Альма.

— Вы хотите, чтобы я нашла Кирстен? — удивилась Ирина.

— И скажи им, чтобы они меня не трогали, — отчетливо произнесла Альма, прежде чем обессилела и закрыла глаза.

Сет позвонил брату Кирстен, и в тот же вечер ее привезли в больницу. Женщина села на единственный стул в палате, никуда не торопясь, ожидая новых указаний, — так же терпеливо она вела себя и в мастерской, до того, как начала работать с Кэтрин Хоуп в центре лечения боли. Позже, с последними лучами солнца за окном, Альма еще раз вернулась из наркотической летаргии. Женщина оглядела собравшихся вокруг нее, силясь узнать этих людей: членов семьи, Ирину, Ленни, Кэти; старушка как будто оживилась, найдя взглядом Кирстен. Та подошла к кровати, взяла Альму за руку, свободную от капельницы, и принялась покрывать ее влажными поцелуями от пальцев до локтя, встревоженно интересуясь, не заболела ли хозяйка, поправится ли, и повторяя, как сильно ее любит. Ларри хотел помешать, но Альма издала слабый стон, давая понять, чтобы их оставили вдвоем.

В первую и вторую ночь с Альмой, сменяя друг друга, сидели Ларри, Дорис и Сет, однако на третью ночь Ирина поняла, что семья уже на пределе сил, и вызвалась подежурить в палате; ее хозяйка больше ничего не говорила с самого появления Кирстен и пребывала в полудреме, дрожа, как усталая собака, которая прощается с жизнью. Жить непросто и умирать непросто, подумала Ирина. Врач уверял, что Альма не чувствует боли, до такой степени она обколота.

С наступлением ночи шум на больничном этаже постепенно смолк. В палате царил мягкий полумрак, но в коридорах продолжал гореть яркий свет, из сестринской доходило голубое мерцание мониторов. Шепот кондиционера, натужное дыхание лежащей женщины, порой осторожные шаги и приглушенные голоса по ту сторону двери — вот и все звуки, что могла слышать Ирина. Девушке выдали плед и подушечку, чтобы обеспечить максимальный комфорт, но спать сидя на стуле в жарком помещении не было никакой возможности. Ирина села на пол, оперлась спиной о стену, думая об

Альме, которая еще три дня назад была пылкой женщиной, устремившейся на встречу с любимым, а теперь умирала на своем последнем ложе. Ненадолго вынырнув из галлюциногенного тумана, Альма попросила накрасить ей губы, потому что скоро к ней придет Ичимеи. Ирина пришла в страшное волнение, на нее накатила волна любви к этой восхитительной старухе, то была нежность внучки, дочери, сестры, и слезы катились по ее щекам, и от них намокали шея и рубашка. Ирина хотела, чтобы Альма поскорее ушла и больше не страдала, но в то же время хотела, чтобы Альма не уходила никогда, чтобы чудесным образом встали на место ее перепутанные органы и сломанные кости, чтобы она воскресла, и они вместе вернулись в Ларк-Хаус, и жизнь их продолжалась как прежде. Она бы уделяла Альме больше времени, ходила бы с ней повсюду, выведала бы все секреты из ее тайника, раздобыла нового кота точь-в-точь как Неко и устроила бы так, чтобы свежие гардении доставлялись каждую неделю, но не стала бы открывать хозяйке, кто их присылает. Те, кого Ирине не хватало, собирались здесь, чтобы поддержать девушку в ее скорби: землистого цвета бабушка с дедушкой, Жак Девин со своим топазовым скарабеем, старики, умершие в Ларк-Хаус в последние три года, Неко с искривленным хвостом и довольным храпом и даже ее мать, Радмила, которую она уже простила и о которой много лет ничего не слышала. В этот момент ей хотелось, чтобы рядом оказался Сет — она представила бы его всем, с кем в этой компании он еще не знаком, и отдохнула бы, держась за его руку. Девушка задремала в уголке, ей было тоскливо и грустно. Она не слышала шагов медсестры, которая время от времени проверяла состояние Альмы, меняла капельницу, добавляла новые препараты, измеряла температуру и давление.

В самый темный час ночи, в тот таинственный час истончившегося времени, когда раздвигается завеса между нашим миром и миром духов, явился наконец посетитель, которого так ждала Альма. Резиновые подошвы его тапочек не производили шума, и был он такой незаметный, что Ирина проснулась только от тихого вскрика Альмы: «Ичи!» Гость стоял возле постели, склонившись к лежащей, Ирина видела его только в Профиль, но узнала бы с любой точки и в любое время, потому что и сама его ждала. Ичимеи выглядел именно так, как она воображала, рассматривая портрет в серебряной рамке:

небольшого роста, с крепкими плечами, с жесткими пепельными волосами, с зеленоватой от мерцающего экрана кожей, с благородным спокойным лицом. Ичимеи! Девушке показалось, что Альма открыла глаза и повторила это имя, хотя уверенности и не было; она поняла, что прощаться они должны наедине. Ирина осторожно встала, чтобы их не беспокоить, и выскользнула из палаты, закрыв за собой дверь. Она ждала в коридоре, сначала прохаживалась, разминая затекшие ноги, выпила два стаканчика воды из кулера возле лифта» а потом вернулась на свой сторожевой пост рядом с дверью.

В четыре утра появилась дежурная медсестра, большая негритянка, пахнувшая свежим хлебом, но Ирина преградила ей путь. «Пожалуйста, пусть они еще немножко побудут вдвоем!» — попросила девушка и сбивчиво затараторила о возлюбленном, который пришел проводить Альму в последнее путешествие. Не нужно им мешать! «В эти часы посетителей не бывает» — удивленно ответила медсестра, без долгих церемоний отодвинула Ирину и распахнула дверь. Ичимеи ушел, и воздух в палате пах его отсутствием.

Альма ушла вместе с ним.

Бдение по Альме заняло несколько часов и прошло в узком кругу, в Си-Клифф, где она провела почти всю свою жизнь. Простой сосновый гроб поставили в главной столовой, зажгли восемнадцать свечей в тех самых серебряных менорах, которые семья использовала на ритуальных праздниках. Беласко, хотя и не были религиозны, решили строго придерживаться погребальных обрядов, предписанных их раввином. Альма много раз говорила, что хочет отправиться из постели на кладбище, никаких ритуалов в синагоге. Две благочестивые женщины из братства *Хевра Кадиша* омыли ее тело и обрядили в простой саван из белого льна без карманов, что символизировало равенство перед смертью и отказ от всех материальных благ. Ирина невидимой тенью стояла на траурной церемонии позади Сета, который оступел от боли и не мог поверить, что бессмертная бабушка неожиданно его покинула. Члены семьи попеременно находились рядом с ней до самого путешествия на кладбище, чтобы дать душе Альмы время отрешиться от всего и попрощаться. Цветов не было, это сочли легкомыслием, но одну гардению Ирина на кладбище взяла. Раввин прочитал короткую молитву: «*Барух Даян а-Эмет*»

(«Благословен Судья праведный»). Гроб опустили в землю рядом с могилой Исаака Беласко, и когда члены семьи подошли бросить по горсти земли, Ирина перекинула своей подруге гардению. В этот вечер начался обряд *шивá* — семь дней скорби и отдыха. Ларри и Дорис неожиданно попросили Ирину остаться с ними, чтобы утешать Сета. Ирина, как и все в семье, прикрепила на грудь лоскут ткани, символ траура.

На седьмой день, закончив принимать соболезнующих, которые приходили в Си-Клифф каждый вечер, семья Беласко вошла в привычный ритм, каждый вернулся к своей жизни. Через месяц после похорон они зажгут свечу в память об Альме, а через год устроят скромную церемонию и разместят на могиле табличку с именем покойницы. К этому времени большинство тех, кто ее знал, будут вспоминать о ней нечасто: Альма продолжит жить в расписанных ею тканях, в упрямой памяти Сета, в сердцах Ирины Басили и Кирстен, которая так и не поймет, куда подевалась хозяйка. Пока длилась *шива*, Ирина и Сет с нетерпением ждали появления Ичимеи Фукуды, однако прошло шесть дней, а он так и не пришел.

Первое, что сделала Ирина по окончании траурной недели, — она отправилась в Ларк-Хаус за вещами Альмы. От Ганса Фогта она получила разрешение отлучиться на несколько дней, но скоро ей предстояло вернуться к работе. Квартира была в том же состоянии, как и перед отъездом Альмы, потому что Лупита Фариас решила не делать уборку, пока семья не откажется от этого жилья. Немногочисленная мебель, купленная для этих двух комнат, исходя не из декоративных, а утилитарных задач, переходила в Магазин забытых вещей — за исключением кресла персикового цвета, на котором провел свои последние годы кот: Ирина решила подарить его Кэти, потому что знала, как оно ей нравится. Девушка складывала в чемоданы одежду: широкие штаны, льняные рубашки, длинные жилеты из шерсти викунии, шелковые шарфы — вопрошая себя, кому все это достанется, мечтая стать такой же высокой и сильной, как Альма, чтобы носить ее одежду, быть как она, чтобы красить губы красным и прыскаться ее мужским одеколоном с бергамотом и апельсином. Остальное Ирина уложила в коробки — шофер семьи Беласко заберет их потом. В коробки попали альбомы, содержащие всю жизнь Альмы, документы, несколько книг, мрачный пейзаж Топазы — в общем-то, и все. Ирина

поняла, что Альма подготовила свой уход с всегдашней своей серьезностью, отделалась от необязательного, чтобы остаться с самым необходимым, привела в порядок имущество и воспоминания. За неделю *шива* Ирина успела оплакать хозяйку, но сейчас, завершая ее присутствие в Ларк-Хаус, снова прощалась с нею, как будто еще раз ее хоронила. Девушка тоскливо уселась посреди коробок и чемоданов и открыла сумку, которую Альма всегда брала в свои вылазки; полицейские вытащили ее из разбитого «смарта», а Ирина забрала из больницы. Внутри лежали ее тонкие ночные рубашки, лосьон, кремы, две смены белья и портрет Ичимеи в серебряной рамке. Стекло треснуло. Ирина осторожно вытащила кусочки и достала карточку, прощаясь и с этим таинственным любовником. И тогда ей на колени выпало письмо, которое Альма хранила за фотографией.

В этот момент кто-то толкнул приоткрытую дверь и робко просунул голову. Это была Кирстен. Ирина встала, и женщина обняла ее с тем пылом, который всегда вкладывала в свои приветствия.

— Где Альма? — спросила она.

— На небесах. — Это был единственный ответ, который пришел ей в голову.

— Когда она вернется?

— Кирстен, она не вернется.

— Больше никогда?

— Никогда.

По невинному лицу Кирстен промелькнула тень печали или озабоченности, женщина сняла очки, промокнула их краем футболки, снова надела и наклонилась к Ирине, чтобы лучше ее видеть.

— Ты правду говоришь, не вернется?

— Правду. Но здесь у тебя много друзей, Кирстен, и мы все тебя очень любим.

Женщина сделала ей знак подождать и застучала плоскими ступнями по коридору в сторону дома шоколадного магната, где находился центр лечения боли. Через пятнадцать минут она вернулась с рюкзаком за спиной, задыхаясь от спешки, которую ее большое сердце переносило с трудом. Кирстен закрыла дверь в квартиру, задвинула засов, тщательно зашторила окна, обернулась к Ирине и приложила палец к губам. Проделав все это, Кирстен передала девушке рюкзак и застыла в ожидании с руками за спиной и

заговорщицкой улыбкой на лице, покачиваясь на пятках. «Тебе», — сказала она.

Ирина открыла рюкзак, увидела связки бумаги, перехваченные резинками, и сразу же поняла, что это письма, которые регулярно получала Альма, а они с Сетом так долго искали, — письма Ичимеи. Они не исчезли навсегда в банковском сейфе, как боялись молодые люди; они хранились в самом надежном месте на свете — рюкзаке Кирстен. Ирина поняла, что Альма, почувствовав неизбежность смерти, возложила на Кирстен их сбережение и указала, кому их передать. Но почему ей? Почему не сыну, не внуку, а именно ей? Ирина восприняла этот выбор как посмертное послание Альмы, как способ показать, насколько она доверяла своей помощнице, как сильно любила. Девушка почувствовала, что в груди ее что-то ломается, трескается, как глиняный кувшин, а ее благодарное сердце растет, расширяется, трепещет, словно актиния в морской воде. И от этого доказательства дружбы Ирина ощутила себя таким же достойным существом, каким была во времена своей невинности; призраки прошлого начали отступать, и кошмарная власть отснятых отчимом видео стала уменьшаться до своих реальных размеров: это была только дохлятина для безымянных пользователей, без личности, без души, без силы.

— Боже мой, Кирстен! Представь, я прожила большую часть жизни, боясь того, чего нет.

— Тебе, — повторила Кирстен, указав на разбросанное по полу содержимое рюкзака.

В тот вечер, когда Сет вернулся домой, Ирина бросилась ему на шею и поцеловала с новой радостью, не очень уместной в дни траура.

— Сет, у меня для тебя сюрприз, — объявила она.

— У меня тоже. Но давай начнем с тебя.

Ирина нетерпеливо подвела его к гранитному столу на кухне, на котором лежали связки бумаги.

— Это письма Альмы. Я ждала тебя, чтобы их открыть.

На связках были проставлены номера от одного до одиннадцати. В каждой оказалось по десять конвертов, за исключением номера один, содержавшего шесть писем и несколько рисунков. Ирина и Сет сели на диван и просмотрели письма в том порядке, какой установила их

покойная хозяйка. Посланий было сто четырнадцать — одни из них короткие, другие подлиннее, в одних содержалось больше сведений, в других меньше, а подпись оставалась неизменной: «Ичи». Письма из первой связки, написанные карандашом, на клетчатой бумаге, детским почерком, пришли из Танфорана и Топаза и были так почерканы цензурой, что содержание терялось. В рисунках уже намечался лаконичный стиль и четкие линии, отличавшие картину, которая сопровождала Альму в Ларк-Хаус. Чтобы прочитать всю переписку, потребуется несколько дней, но при первом беглом осмотре выяснилось, что остальные письма относятся к разным датам после 1969 года: то были сорок лет нерегулярной переписки с одной-единственной постоянной: все письма были любовные.

— А за фотографией Ичимеи я нашла письмо от января две тысячи десятого года. Смотри: здесь только давние, адресованные в усадьбу Си-Клифф. Где же письма, которые приходили в Ларк-Хаус в последние три года?

— Думаю, это они и есть, Ирина.

— Как это?

— Бабушка всю жизнь собирала письма Ичимеи, приходившие в Си-Клифф, — ведь тем она и жила. А потом, переехав в Ларк-Хаус, она начала с регулярными промежутками отправлять эти письма самой себе в тех желтых конвертах, которые мы видели. Она их получала, читала и сохраняла, как будто они недавние.

— Зачем это могло понадобиться, Сет? Альма была в своем уме. Она не выказывала никаких признаков слабоумия.

— Вот это и есть самое необыкновенное. Ирина, она это делала в ясном уме и с практическим смыслом: поддерживала иллюзию, что великая любовь всей ее жизни еще жива. Эта старуха, на вид как будто бронированная, в глубине души была безнадежным романтиком. Уверен, она и в гардении сама себе посылала раз в неделю, и из пансиона сбегала не с любовником: она в одиночку навещала домик на Пойнт-Рейес, чтобы еще раз пережить их былые свидания, чтобы мечтать о них, раз уж с Ичимеи их повторить невозможно.

— Но почему невозможно? Она возвращалась со свидания с Ичимеи, когда случилась авария. Ичимеи приходил в больницу попрощаться, я видела, как он ее целовал, я знаю, что они любили друг друга, Сет.

— Ирина, ты не могла его видеть. Я удивился, когда этот человек никак не проявил себя после бабушкиной кончины, хотя об этом писали в газетах. Если Ичимеи любил ее так, как мы думали, он появился бы на похоронах или принес нам соболезнования на *шива*. Тогда я решил его разыскать: мне хотелось познакомиться и разрешить кое-какие сомнения касательно бабушки. И сделать это было очень легко: сегодня я съездил в питомник Фукуда.

— Он и сейчас есть?

— Да. Им заведует Питер Фукуда, один из детей Ичимеи. Когда я назвал свою фамилию, он принял меня очень любезно, поскольку слышал про семью Беласко. Питер позвал свою мать. Дельфина оказалась такой приветливой и красивой, ее азиатское лицо как будто не подвержено старости.

— Дельфина — это жена Ичимеи. Альма нам рассказывала, что познакомилась с ней на похоронах Исаака Беласко.

— Ирина, она не жена Ичимеи, она его вдова. Ичимеи умер от инфаркта три года назад.

— Сет, это невозможно!

— Он умер примерно в то время, когда бабушка переехала в Ларк-Хаус. Быть может, эти события связаны. Мне кажется, что письмо 2010 года, последнее из полученных Альмой, было прощальным.

— Но я видела Ичимеи в больнице!

— Ты видела то, что хотела видеть, Ирина.

— Нет, Сет. Я уверена, это был он. Вот что там случилось: Альма так сильно любила Ичимеи, что смогла призвать его к себе.

8 января 2010 года

Как все-таки изобильна и взбалмошна наша вселенная, Альма! Все крутится и крутится! Неизменно в ней только то, что все меняется. Это чудо, которое мы можем оценить лишь из состояния покоя. В моей жизни наступил очень интересный этап. Душа моя с изумлением наблюдает за переменами в моем теле, но созерцание это происходит не из какой-то отдаленной точки, а изнутри. В этом процессе душа и тело участвуют вместе. Вчера ты говорила, что тоскуешь по юношеской иллюзии бессмертия. А я — нет. Я наслаждаюсь своим бытием зрелого мужчины — чтобы не говорить «старого». Если мне

суждено умереть через три дня, что сумел бы я сделать за этот срок? Ничего! Освободился бы от всего, кроме любви.

Мы часто говорили, что наша любовь — это судьба, мы любили друг друга в прошлой жизни, наши встречи продолжатся и в будущем. Или, быть может, не существует ни прошлого, ни будущего и все происходит одновременно в бесконечных измерениях вселенной. В таком случае мы постоянно вместе, навсегда.

Быть живым — это потрясающе. Нам все еще по шестнадцать лет, моя Альма.

Ичи

notes

Примечания

Перевод И. Чежеговой. В испанском тексте Альенде заменяет «блаженство» («bien») на «любовь» («amor»). Хуана Инес де да Крус (1651–1695) — мексиканская поэтесса. — *Здесь и далее примеч. перев.*

Малкольм Икс (1925–1965) — афроамериканский исламский духовный лидер и борец за права человека. Когда он вышел из религиозной и националистической организации «Нация ислама», бывшие соратники его застрелили.

Ольмеки — доацтекское племя, создатели первой крупной цивилизации на территории Мексики; оставили после себя много каменных голов.

4

Дуэнде — испанский фольклорный домовый.

5

В 1937 году.

Линди-хоп — свинговый танец, появившийся в Нью-Йорке в 1920-1930-х годах.

Эра Водолея — астрологическая концепция, согласно которой на смену Эры Рыб (ассоциируемой с христианством) приходит новая эпоха, в которой будут господствовать учения, представляющие синтез различных вероучений и современных научных достижений.

И Цзин — древнекитайский (ок. 700 г. до н. э.) философский трактат.

9

То есть с 1848 года.

Открыт в 1992 году в Лос-Анджелесе, в квартале Маленький Токио.

Мени — заимствованная из идиша характеристика благородного мужчины.

Рука Фатимы — защитный амулет в форме ладони, которым пользуются евреи и арабы.

Дармсала — город в Индии, религиозный центр.

«*Линкольн*» (2012) — биографический фильм Стивена Спилберга.

Чоу-мейн — жареная лапша с мясом и овощами.

Пэт Бун (р. 1934) — американский поп-певец, звезда пятидесятых.

Эмилиано Сапата (1879–1919) — вождь крестьянского движения на юге Мексики в период Мексиканской революции 1910–1911 годов и по сей день признанный герой для латиноамериканских анархистов.

Иланг-иланг — южноазиатское дерево, дающее эфирное масло.

Маршмеллоу — маленькие конфетки, похожие на зефир.

Мой брат, братец (фр.).

Калистога — город в Калифорнии, в округе Напа.